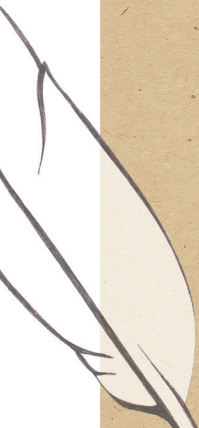


ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга семнадцатая
(1 - 2009)

„Partner“ Verlag
2009



Главные редакторы:

Даниил Чкония
Лариса Щиголь

Редколлегия:

Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/>(Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Лариса Миллер. Простыми словами. <i>Стихи</i>	2
Леонид Гиршович. Убийство на пляже... <i>Повесть</i>	8
Владимир Берязев. Через полночную страну... <i>Стихи</i>	59
Александр Ушаров. Мясо. <i>Повесть</i>	67
Рафаэль Шустерович. Третья ходка. <i>Стихи</i>	117
Александр Руденко. Из цикла «Мужик Фёдор». <i>Новеллы</i>	124
Как поссорились мужик Фёдор и Патрикей Болотников	
Мужик Фёдор и политика	
Мужик Фёдор и пёс Персик	
Мужик Фёдор и метель	
Наталия Заякина. <i>Два рассказа</i>	149
Рубикон	
Открытие	
Баадур Чхатарашвили. Фима приехал. <i>Рассказ</i>	154
Сергей Луцкий. Деревенские картинки. <i>Миниатюры, эссе</i>	157

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

Алексей Макушинский. В психушке. Из советских воспоминаний	166
---	-----

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Борис Хазанов. Письмо к писателю	175
Александр Иличевский. <i>Три эссе</i>	176
Чистый смысл	
Гуш-мулла	
Маршрут. Движение стекла	
Александр Мелихов. Послание к евреям	181
Елена Травина. Миф о короле Артуре: творение Западного мира	183

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр Мелихов. Опередивший время	196
Борис Вайль. Проблемы истории... «Патриот-изменник»	198

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Лариса Щиголь. Литературные шуточки	202
Коротко об авторах	207

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

* * *

Сделай хоть что-нибудь, Господи, сделай.
Чёрным он кажется – день этот белый.
Столько печали и столько тоски,
Будто бы крайние сроки близки,
Будто бы больше не будет просвета.
Падает снег серебристого цвета,
Падает снег и ложится шурша,
И безымянная плачет душа.

* * *

Ты смертный. Ты живой.
Ты слабый. Дунь – и нету.
Удел привычный твой –
Кружить по белу свету.

Непрочен, уязвим
Живёшь, как свечка тая,
Дыханием своим
Озябших согревая.

* * *

Устала жить у неба на виду,
Просвеченная вешними лучами.
Пожалуюсь, а ты пожмёшь плечами.
Сочувствия в тебе я не найду.

Так безнадежны жалобы мои.
В бесслезном плаче толку никакого.
Устала жить. Но это так не ново.
Сказал поэт: «Скрывайся и таи».

Что ни мгновенье – ярче небеса.
Чуть не до ночи длится пытка светом.
Твержу себе: молчи, молчи об этом,
Молчи и слушай птичьи голоса.

* * *

День добрый, – шепчу я. День добрый, – шепчу
И жмусь к твоему, мой любимый, плечу.

День добрый. Он милостив. Он пощадит.
Он столько счастливых мгновений родит.
Он нас приласкает весенним лучом,
И мы не попросим его ни о чём.

* * *

И тайна исчезла. Ушла. Не простилась.
И всё, что маячило, только помстилось.
И всё, что руки моей робко касалось,
Приснилось, почудилось, лишь показалось.

Живу как живётся. Чудес не бывает.
И время не лечит. Оно убивает.
Лишает надежды последней, неясной,
Играя с ухмылкой бритвой опасной.

* * *

Не знаю, что дальше. Не знаю, не знаю.
Чуть слышно пою. Еле слышно стенаю.
На что-то надеюсь, чего-то робею.
А небо весеннее всё голубее.
Не знаю, что дальше и много ль осталось.
А облако в озере тихом купалось,
И я в тишине на него загляделась...
И где моя жизнь? И куда она делась?

* * *

Всё с нуля – серёжки, почки.
Нежен день. Нежнее мочки,
Мочки розовой, ушной.
Ночи нету. Свет сплошной.
Свет такой, что льются слёзы.
Не менять бы вечно позы
И стоять бы замерев
Средь щебечущих деревьев.

* * *

Сквозь гиблое время на утлых лодчонках.
А вёсла – они у младенца в ручонках.
Шанс выжить совсем невелик.
Но тема – она у любого в печёнках.
Уж лучше про солнечный блик,
Который на вёслах скрипучих играет,
Про день, что до полночи не умирает,
Про тихие всплески воды,
Про то, как невидимый кто-то стирает
От утлой лодчонки следы.

* * *

Как голубь тих июньский день,
И долго он на нет не сходит.

На нас с тобой покой нисходит,
Небесная надёжна сень.

Не будем рваться никуда.
Вода и дерево, и солнце,
Крыльцо, ступени, три оконца
На бесконечные года.

* * *

По тропам солнечным, по саду
Ты походи, а я присяду
В ажурной ласковой тени.
Какие сказочные дни!
Сирени пенистой оттенки
Бесчисленны. Снимаем пенки
С июньских многоцветных дней,
И новый прежнего длинней.

* * *

Что делать с этим белым днём,
С его лучами и тенями,
С его небесными краями,
Как позаботиться о нём,
Чтоб не расстроился, не сник,
Уйдя ни с чем во тьму и морок,
Чтоб знал, что и любим, и дорог
Его меняющийся лик?

* * *

Мир, как ни странно, не ветшает.
Он краски разные мешает
И, будто новенький, блестит,
И новый дождик шелестит,
И, птичье слушая коленце,
Мир засыпает сном младенца.

* * *

Вода и солнце, ветер, время...
Как знать, что будет с нами всеми,
Пересечём какие воды
В эпоху долгого исхода,
И где тот чаемый, желанный,
Далёкий край обетованный,
Который все сердца тревожит,
Куда никто попасть не может.

* * *

Я простыми, простыми словами
Целый день говорю с деревьями.
С деревьями, цветами, травой.
Чтобы вышла беседа живой,

Отвечайте, шуршите, скрипите,
Не теряйте, пожалуйста, нити,
Убедите в течение дня,
Что не можете жить без меня.

* * *

День умирал, благословляя
Нас дальше жить и умоляя
Не забывать, чем был для нас
День долгий, прежде чем погас.

День умирал за лесом, полем,
За старой крышей, крытой толем,
Держась за мир лучом одним,
Прося светло проститься с ним.

* * *

Уже который день подряд
Я совершаю свой обряд:
Иду с утра в лесок соседний.
Дай Бог, сегодня не последний
Мой день и завтра не конец.
А на пути моём птенец
Сидит и встречи не боится,
А рядом кружит мама-птица.
Я осторожно прохожу.
Я тоже по земле кружу,
Боясь за близких и не зная,
Куда ведёт тропа земная.
Зато мне ведомо, что здесь
Лес тих и безопасен весь
И что приду тропою здешней
Домой, где блюдечко с черешней.

* * *

Паутинка летает по лесу.
Всё тяжёлое – ну его к бесу.
Светел лес, паутинка легка,
Жизнь воздушна и даль далека.
И ничто нам не давит на плечи.
С мотыльком мимолётные встречи
Не способны нарушить покой
Полупризрачной жизни такой.

* * *

А дождь, который лил да лил,
Меня совсем заговорил,
Замучил длинными речами.
Он вёл их днями и ночами
На языке, ему родном.
Всё об одном да об одном

Бубнил он. В этом монологе
Я мало поняла в итоге.
Но вряд ли, навевая сон,
Нуждался в слушателе он.

* * *

Поверь, всё кончится добром,
И будут ангелы пером
Твоим водить. Крылами будут
Тебя касаться. Не забудут
Тебя всечасно привечать,
И откровения печать
На каждое мгновенье ляжет,
И грешный мир себя покажет
Лишь с наилучшей стороны,
И в море чуткой тишины
Способен будет зарождаться
Лишь чистый звук. Дожить. Дождаться.

* * *

Довольно печалиться. Хватит тужить.
Ведь надо ещё и до снега дожить.
Ведь надо ещё и потом продержаться.
Опавшие листья на землю ложатся,
Хотя ещё лето по календарю.
Бог знает, о чём я с собой говорю.
В начале, в конце, в середине недели
По лесу брожу без особенной цели,
О будущем грезя, в минувшем гостя
И всё забывая минуту спустя.

* * *

Сентябрь, и рябит в глазах,
И осень в золотых слезах.
О чём она? О сроках малых
И о погибших листьях палых.
Но так красив осенний прах –
Берёзовый, кленовый сор,
И что ни лист, то свой узор –
Там поперечно, там продольно.
Не бойся. Умирать не больно.
На нас на бедных вечный мор.
Вот так бы под конец лететь,
Лететь, кружиться, шелестеть
И в ранних сумерках светиться.
Ей-богу, стоило родиться,
Чтоб так красиво умереть.

* * *

Жизнь оказалась быстротечной,
А ты достоин жизни вечной,

Как появившийся на свет
Тобой написанный букет,
Роскошный на небесном фоне
Букет гортензий и бегоний,
Букет, что радует сердца,
Не помня своего творца.

* * *

А сегодня во сне я летала.
И когда за окошком светало,
Я видала воздушные сны.
О, как рамки земные тесны.
День ненастный встречает сурово.
Просыпаюсь и шаркаю снова,
Грязь осеннюю грустно меся
И обвисшие крылья неся.

УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ – ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ТО ЖЕ, ЧТО И В РОМАНАХ АГАТЫ КРИСТИ: ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

ПОВЕСТЬ

– Угол Дизенгова – Арлосорова!

Так дразнился сефардский Израиль, перевирая ударения якобы на русский лад. Это звучало как «угол Ришельевской – Дерибасовской». Мол, подавай им, этим «швили», квартиру в Тель-Авиве на супер-супер-супер каком перекрестке.

Я одним махом тогда уподобил Тель-Авив Одессе, о которой имел представление лишь с чужих слов. Вроде бы сходилось. Та же средиземноморско-черноморская истома, те же крики, те же лоснящиеся тела, кое-как вправленные в купальники. Не долго думая, я смешал тель-авивский «баухауз»¹ с губернским барокко.

Я был спасительным образом неопытен: когда свои суждения поверять нечем, тогда можно заблуждаться долго и счастливо, если не на свой счет, то на счет окружающего. Последнее платит тебе той же монетой, кричит «швили!», «вилла-вольво!». Сперва на израильскую улицу хлынула грузинская волна, я еще успел побывать в *шкуре лица кавказской национальности*. «Эй, швили, тебе уже дали виллу и "вольву"?» Сами вопрошавшие рвали на себе тельняшку: «Мы из Марокко!» (правда, некоторые уклончиво называли страной исхода «дром Цорфат».²

Признаться, я стоил их – своей аляповатостью, своей заставлявшей потом краснеть аффектированностью, с которой, однако, не мог совладать. Рефлексы дурновкусия хранились в моем советском багаже. Последний хоть и выглядел ручной кладью на фоне того, что везли другие, однако и его хватило на долгое время. Добавим к этому чувство превосходства – добро б еще личного, но нет, оно было частью советско-ленинградской массовки: белоколонный зал, «Эрмитаж». Банальнейшее общее место: ночи белые – очи черные.

Когда в небе Судного дня вострубил ангел ПВО, то подростки, слонявшиеся по вымершей с вечера рехов Штерн, стали кричать мне, новенькому, который, очевидно, не понял, что стряслось: «Милхама! Милхама!»³. Они захлебывались от возбуждения, но я в ответ лишь пренебрежительно пожал плечами: их войны, день-два повоюют – и все. Разве это можно сравнить с настоящей войной, с блокадой?

Я не был совсем идиот. Так чего же я хочу тогда от полных идиотов – тех, кто всем совком 9-го мая штурмует безымянную высоту со слезами на глазах, вновь уверовав после недолгого перерыва в свою уникальность? Парк «Ха-Яркон», концерт «Из России с любовью».

¹ Конструктивистское направление в архитектуре 20-х гг. (Здесь и далее примечания автора.)

² Южная Франция (*иврит*).

³ «Война! Война!» (*иврит*). Имеется в виду Война *Йом-кипур*, Война Судного дня, в начале которой Израиль понес большие потери.

Впервые отправляясь ночью в караул, какой-нибудь тридцатилетний русский жлобюра с мозгами Тома Сойера украдкой вливал в крепившуюся к ремню флягу, взамен воды, полбутылки дешевого местного бренди, купленного в солдатской кантине, – чувствуя себя при этом настоящим мужчиной, не в пример здешней публике, пившей только кока-колу (больше подобных опытов, правда, он уже потом не ставил).

А сам! Большой любитель Лескова, помня, что «англичан положили на зеленом шартрезе», я, как последняя свинья, накирлялся на традиционной вечеринке по случаю окончания курса «молодого бойца», демонстрируя нашим «англичанам», двум сержантам и лейтенанту, младшим меня летами, как пьют «у нас, у русских». Мои командиры с интересом наблюдали некошерное животное с близкого расстояния (и, надо сказать, подобных опытов я тоже никогда больше уже не ставил, а до того, в Союзе – сколько угодно).

Сколько себя знал, столько знал я и это зудящее, как укус (а – не расчесывай! перетерпи!), слово «Израиль», бывшее косточкой внутри того запретного, черненькой сердцевинкой того почти невыговариваемого или разве только шепотом, а ежели выкрикиваемого, то в виде хулиганской угрозы, – словом, всего того, чем был тоже помечен. Когда в 56-м году дикторский голос отчеканил «англо-франко-израильская агрессия» и я услышал про какой-то Суэцкий канал, – к тому времени я уже давно и хорошо усвоил, на чьей стороне мне тайно следует быть, – усвоил и не понимал, почему Америка вот тоже осуждает.

Когда что-либо, в том числе и непонимание, прорастает сквозь фундамент, блокируешь это «что-либо», и ручеек, глядишь, уже бежит по другому руслу, в обход сомнительных ростков, которые зачахнут, не причинив вреда.

Так было, когда Сеня Крупин сказал, что его родителей англичане держали в тюрьме. В этом я услышал что-то досадное для себя: Англия, как и Франция, как и Израиль, – это хорошо, это против Советского Союза, где мы обречены прозябать (тшшш!). А кому там было плохо, ему наоборот здесь хорошо, и выходит, они это мы, вывернутые на левую сторону. Но есть примета: наденешь что-то наизнанку, будешь бит.

Полное непонимание. Положим, Палестина, где их заключили в темницу, это всегда по смыслу было темновато. Палестина – непонятный, мягкий какой-то кокон, заключающий в себе кристаллик Израиля. Кто-то уехал в Палестину, а попал в итоге в Израиль. В учебнике пятого класса Палестину завоевывает Тутмос Третий, а в итоге туда попадают англичане. («История древнего мира»: под бесцветной картонкой обложки одно сплошное восстание рабов с перерывами на Великую Отечественную войну с персидскими захватчиками.)

А что непонятно, что противоречит и так-то нетвердому представлению о граде земном, то игнорируешь. Хотя где-то отложилось, что англичане родителей Крупина посадили в тюрьму. А вот мы сидим с ним в большом хоровом классе, оба «первые альты». Скоро я окажусь во «вторых» – к своему удовлетворению. Чем ниже голос, тем ты мужественней.

Крупин – полная мне противоположность: худенький, малокровный, черненький, с плебейской челкой на лбу, бубнящий что-то скороговоркой, опустив голову. С собой ему давали превращенные жаркой в пирожки холодные пельмени. Он доставал овальную пластмассовую коробочку с двумя полукруглыми лунками по бокам крышки, чтоб легче было открыть, и делился со мной, кудрявым холеным обжорой («Толстый, жирный, поезд пассажирный», «Лёньчик-пончик съел батончик»).

Крупин может по желанию пустить слезу: к испугу училки она выкатывается из его вдруг замигавшего большого карего глаза и медленно ползет по бледной худенькой щеке – крошечная бесцветная змейка с крошечной змеиной головкой.

Он видел вещи с неожиданной стороны, которая, будучи названа или указана, становилась их неотъемлемым признаком. «У Никитич собачья челюсть». С этого момента у девочки-сопрано с огромным бантом, сидевшей наискосок от нас, лицо по-собачьи вытягивалось вперед.

Обычно на гардеробе Крупина ждала мать, но случалось, за ним приходил отец, по моим понятиям, жалкого вида по сравнению с другими отцами: в возрасте, колтун седовато-пыльных волос, усики, как у грузина или фотографа. Много позже, когда Сени Крупина давно и след простыл, — его отчислят из класса пятого — я вспомню этого человека, посмотрев кинокомедию с участием братьев Маркс. Не скажешь, что на одного из «братьев» он был похож, но именно о нем я сразу подумал, и это сближение осталось навсегда, как навсегда остались в памяти рисунки его сына, вернее сказать, сюжеты — рисовал Сеня Крупин так себе, хуже меня, хотя положение обязывало: родители художники, он даже подписывался двойной фамилией, Крупин-Вайзер, — и матери, и отца. В том, что он рисовал, главное было не рисунок, не сюжет, а название. Вероятно, в душе он соперничал со мной — хоть в этом. А то ведь нечем было гордиться. Своей скрипичной профнепригодностью? Немолодыми, побитыми жизнью родителями? Тем, что был самым слабым в классе и, ежели чего, пускал в ход ногти?

Однажды в медпункте при мне ему сказали: «Но ты знаешь, что у тебя искривление позвоночника?» Я посмотрел, внутренне содрогнувшись. Но кроме лопаток из спины у него ничего не торчало. На елку многим шили настоящий наряд: «трех поросят», «снежинок», что-нибудь по мотивам «Клуба знаменитых капитанов» — а не как мне: очки с носом из папье-маше за два пятьдесят, старый тётёзоин больничный халат, и ступай Айболитом. Крупин появился в чалме и в сказочном марлевом одеянии, скроенном отнюдь не на скорую руку: видно, что мать потрудилась. Под конец водили хоровод вокруг елки и тревожно пели:

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем...

— И турок давай сюда... — массовичка-затейница совершенно неправильно истолковала костюм на нем, — не слыша его возражений, что он не турок, что он Маленький Мук, вот же горб.

В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.

«Небось обсуждали дома, выбрали какого-то маленького Мука горбатого...» В той семье всё было с приветом. С большим приветом.

В одном состязательном пионерском мероприятии мы оба «позиционировали» себя художниками. Моего «Поддубного», с древнегреческой мускулатурой, в «семейных» трусах-мопассановых усах, раскрашенного цветными карандашами, комиссия оценила по максимуму. Крупина — на четверочку с минусом. Его рисунки повергли в недоумение членш комиссии.

— И все-то у тебя страшное.

Действительно, под одним было написано: «Страшное открытие» — космонавты на Луне, дойдя до оборотной ее стороны, стоят «у края стремнины»: сзади Луна совершенно плоская. Другой назывался «Страшная танкистка»: крышка люка откинута, и наружу просунулась собачья морда, на голове бант. Еще был рисунок, изображавший женщину, которая смотрит, как трое дерутся, а вдали пароход — с торчащим из него веником: это означало взрыв. И название: «Страшная тайна, убийство на пляже».

– С чего это ты вдруг? – вырвалось у одной членши.

«Ежегодно яблоньку нашего класса трясло. Несколько рожниц осыпалось. Паданки эти навсегда исчезали из моего поля зрения – оттого, должно быть, что я не глядел под ноги. Ненаполненные судьями, их имена сплющились под толщей времени, стали как поминальный списочек...» – напишу я во «Врунье». Полагая, что пора «сойти со сцены» – бросить писать, я решил назвать так свой последний рассказ, намекая на последний рассказ Томаса Манна «Обманутая». И сам же обманул: два года не дышал, прятался за чужой роман, пока снова не ожил, пишу и пишу – этаким Лазырем Невмырущим. Мораль: не устраивай литературных смертей – ни себе, никому.

В самой же «Врунье» я поместил цитату из другого своего текста (мой текст – мой сон, а известно, к чему это, когда во сне встречаешься с самим собой – так обставлял я свой конец, свои литературные похороны): «В конце года "профнепригодные" бесшумными тенями отлетали в свой айд... Отчисленный ребенок, по крайней мере мной, воспринимался как умерший – случайная встреча с ним в городе казалась событием спиритического порядка».

Смерть Сени Крупина в пляжном городе Сочи, куда якобы они переехали, выглядела логично, тем более, что поведавшая о ней школьница говорила голосом своей вездесущей мамы (та самая Никитич, по слухам, сделавшая аборт от преподавателя флейты Добрынина).

Про Палестину, из темницы которой выпорхнул Израиль, я знал преступно давно. Но кто такой был Арлозоров, давший стольким центральным улицам свое имя? Это «рлоз», очень нерусское, несмотря на окончание, а если русское, то противное, почти «мурло-с», мне было в диковинку, равно как и то, что я на этой улице – «швили».

«Толпа, красочная, дышащая всеми порами своего смуглого тела, всегда словно с мокрыми волосами; несмотря на поздний час, по-южному изобилующая детьми, – прощай! Где мы еще свидимся? Где-то поблизости был убит Арлозоров (и кто только не выходит гулять на набережную!). Это убийство останется нераскрытым, как и всякое убийство, когда друзья наравне с врагами заинтересованы в сокрытии тайны. Может быть, даже жена... Меня никогда не интересовал ни сионизм, ни его святые. Я не перевариваю официоз ни в каком виде. Но живя в Израиле, невозможно не поинтересоваться, кто же такой Арлозоров. Как во Франции в каждой дыре есть рю Женераль Леклерк, а в Германии, всячески подчеркивающей свои гражданские добродетели, в отличие от ищущей воинской славы Франции, немислим никакой город без Ратенауштрассе, так и в Израиле ни один центр или центр города не может обойтись без рехов Арлозоров».

Цитировать себя по любому поводу можно не только из нарциссизма, но также из мазохизма, садизма – как сказал бы Гумберт Гумберт, распределяйте сами. Что бы там ни было, о «свое» царапаешься на каждом шагу.

Продолжаю самоцитирование – все оттуда же, из «Обмененных голов» (не томасманновских, а моих): «Его предполагаемый убийца – 1933 год, набережная Тель-Авива, – оправданный ненавидевшими Арлозорова и ненавистными ему, германofilу, англичанами, Жена Арлозорова чего-то всю жизнь не договаривала. Так, по крайней мере, мне было сказано».

Монументальный труд Шмуэля Каца «Одинокий Волк» («Одинокий Зеев»)⁴ насчитывающий полторы тысячи страниц пристрастнейшего текста, в русском переводе приобретает дополнительное очарование, прошу пани: «Бен-Гурион выпускал статью за статьей, которые истово поставлял корреспондент "Хайнт" в Палестине,

⁴ «Зеев» на иврите означает «волк». Если в России носивший имя «Вольф» становился «Владимиром», то в ивритоязычной Палестине «Вольф-Владимир» превращался в «Зеева».

наполненные неправдой и слухами, которые распространялись в Палестине о ревизионистах – “фашистах”, “гитлеровцах” и “подстрекателях убийства”. То, как Кац в «Одиноким волке»... тут мне вспомнился «Белый волк» Шварца – о Чуковском, литературном крестнике Зеева Жаботинского... кругом одни волки: одинокие, белые, степные – как ни крути, стая... в общем, то, как Кац излагает фактическую сторону убийства Арлозорова, по-русски «цитабельно», если только прищуриться и не дышать носом:

«В пятницу 16 июня 1933 года около половины одиннадцатого вечера Хаим Арлозоров, глава политотдела Еврейского агентства, был застрелен, когда гулял со своей женой Симой по тель-авивскому пляжу. Он скончался после полуночи в больнице “Хадасса”.

Он вернулся в Иерусалим за два дня перед тем, после двухмесячного пребывания в Европе.

Они с женой решили, что днем в пятницу, после того, как он побывает у себя в офисе, он проводит ее в Тель-Авив, где у них была квартира. Через несколько часов в Тель-Авиве они собрались отправиться в гостиницу в Яффе, где они будут одни и где Арлозоров сможет отдохнуть. Но утром он принял приглашение на ланч к сэру Артуру Ваучопу, верховному комиссару. Сима поехала в Тель-Авив одна. Хаим должен был приехать туда после ланча. Но его опять задержали – во время ланча Ваучоп предложил ему вместе поехать в село Бен-Шемен, и он согласился. Таким образом, он приехал в Тель-Авив только в 5.15 пополудни. И тогда они решили остаться на ночь в Тель-Авиве. Они отказались от приглашения пойти обедать к матери Арлозорова и решили пообедать в отеле «Кете Дан», на берегу моря. Около половины десятого, после обеда, они решили побродить по берегу. Г-жа Арлозорова потом настаивала, что они о своем намерении никому не говорили.

Они дошли до реки Яркон, за старым мусульманским кладбищем. Этот кусочек берега Арлозоровы в обычное время не выбрали бы для прогулок. То было место парочек, которые чувствовали себя на песке совершенно свободно. Причина, по которой они сделали этот выбор, заключалась в том, что они хотели выяснить отношения после ссоры – “стычки”, как выразилась потом г-жа Арлозорова.

Луна находилась в последней четверти, светили только звезды, и было совершенно темно. Г-жа Арлозорова чувствовала себя неуютно и несколько раз говорила, что ей боязно, и вспоминала недавние убийства евреев арабами, но Арлозоров ее успокаивал, и они продолжали свою прогулку. Она заметила двух мужчин, высокого и маленького, которые, как ей показалось, шли за ними следом. Иногда те их опережали, а потом опять оказывались позади. Она что-то сказала о странном поведении высокого, который стал мочиться в море. Арлозоровы пошли обратно, к отелю. Вскоре эти мужчины к ним подошли. Высокий включил на минутку фонарик и спросил у Арлозорова на иврите без акцента, который час. Тот сердито ответил: “Почему вы нас беспокоите?” (в книге Саббатая Тевета “Убийство Арлозорова” он говорит: “Не твое дело.”) – и тогда маленький выстрелил из револьвера, и Арлозоров упал. Оба убежали. Г-жа Арлозорова стала кричать: “Евреи убили его!”, но он сказал ей по-русски: “Нет, Сима, нет”.

Здесь кончается версия г-жи Арлозоровой об их передвижениях и выстреле».

У Жюль Верна один из матросов на «Наутилусе» в момент гибели закричал по-французски, чем выдал «страну исхода» (возможно, тот же «дром Цорфат»). Экипаж «Наутилуса» говорил на некоем измышленном капитаном Немо эсперанто – языке, одинаково неродном для всех. Со временем на нем возникла бы литература, поэзия – стараниями опять-таки капитана Немо. Музицировавший под водой на органе Немо – натура художественная.

И тем же был иврит для Хаима и Симы Арлозоровых. «Рак иврит»⁵ было девизом самозарождавшейся нации. По Тель-Авиву шастали «иврито-комсомольцы» – бригады Легкой кавалерии, как бы их называли в мандельштамовской Москве. Заслышав идиш, они бросались в бой. Когда сегодня какой-нибудь Мыкола Волапук кивает на израильский опыт, то вспоминаешь Мандельштама:

Мякнул кот и конь заржал,
Казак еврею подражал.

Жертвою одного такого казачьего разезда стал еврей, прогуливавшийся по набережной и сказавший своему спутнику:

– Хазэр хот зих оф ди андэрэ зайтэ гедрэйт,⁶– речь шла о русской революции.

«Как ему не стыдно! Как он может! – набросились на него иврито-дружинники. Хаим Нахман Бялик! И вдруг на идиш!»

– Вы что же, – ответил Бялик, – считаете, что в такую жару я еще должен говорить на иврите?»

В половине одиннадцатого ночи в полной темноте («Луна находилась в последней четверти, светили только звезды».) Сима кричала на иврите, как в зал – как если б сколько-то билетов было все же продано и зрители имелись:

– Евреи убили его!

Сперва Арлозоров стоял в позе, какую пять раз на дню принимает благочестивый суннит: ранение в живот – мучительнейшее. Сказанное в ответ ей по-русски «нет, Сима, нет» опровергало, что стреляли евреи. Арабы! Истекающий кровью, он лично свидетельствует против арабов. То же повторял он и в больнице, вплоть до самой операции, которую не переживет. Из слышавших это никто не будет вызван в суд – ни полицейский Шмулик Шармейстер, ни хирургическая сестра Лола Блюмштейн, у нее Арлозоров несколько раз спрашивал о Симе: придет ли она, скоро ли она придет? (Сорок минут прошло, пока нашли хирурга, и то неумеху.)

Между тем Сима Арлозорова в сопровождении верхушки лейбористской партии, Элизера Каплана, Элиягу Голомба и Дова Хоза, – сегодня это всё названия улиц – ездил в главное полицейское управление Тель-Авива. Там ей показали фотографии коммунистов, состоявших на учете в полиции, – всего около шестисот снимков, как евреев, так и арабов.

Однако уже через день по подозрению в убийстве Арлозорова был арестован Авраам Ставский, недавно прибывший из Польши активист «Бейтара».⁷ Стрелка компаса, дрогнув, недвусмысленно указала направо. Ставскому на процессе будет отведена роль «высокого с фонариком» (условно «№1»). Месяцем позже к нему присоединится и «маленький с револьвером» («№2»), полиция выбрала на эту роль жителя Кфар-Сабы Цви Розенבלата – на основании заявления кибуцницы Фейгиной, которую Розенבלат незадолго до того обозвал «блядь». Третьим обвиняемым будет Аба Ахимеир, известный скандалист. Вместе со Ставским они снимали комнату в Тель-Авиве, в «помещении барачного типа». Ахимеир обвинялся в подстрекательстве. Почему бы и нет? Сегодня в РФ его бы точно осудили по

⁵ «Только иврит».

⁶ Свинья перевернулась на другой бок. (*идиш*).

⁷ «Бейтар» – аббревиатура от «Брит Йосеф Трумпельдор» (Союз Иосифа Трумпельдора). Организация, созданная Жаботинским. Иосиф Трумпельдор, русский сионист, добровольцем участвовал в русско-японской войне, под Порт-Артуром потерял руку, снова вернулся в строй, попал в плен. С 1911 г. в Палестине. Вместе с Жаботинским сформировал еврейский полк в составе британской армии. В 1920 г. погиб в перестрелке с арабами у поселения Тель-Хай.

обвинению в экстремизме и разжигании межнациональной розни. В его «Записках из мертвого дома», названных им «Репортаж с отсидки», читаем:

«По словам Достоевского, обитатели тюрьмы дают представление о народе в целом. Если это верно и в отношении арабов, то картина получится весьма неприглядная: все они поголовно доносчики, ханжи, развратники. Не меньше женщины их возбуждает мужчина, подросток, животное. Житель Шхема имеет обыкновение обращаться к ребенку с такими словами:

– Я улад! (Эй, мальчик!) Почем твой "арбуз"?

Араб впечатлителен. В мгновение ока у него меняется настроение. То "всё пропало", то "всё будет наше". Арабу-арестанту нельзя верить. Кажется, он твой друг, но внезапно в нем просыпается зверь, и тогда он может всадить тебе нож в спину. На прогулке по тюремному двору ты словно в клетке с хищниками. Последнее оружие еврейского и вообще европейского арестанта – голодная забастовка. Последнее оружие арабского арестанта – нож...». И далее: «В каждом сыне Востока мирно уживаются блюдолиз и наглец. Все зависит от конкретной ситуации. Как и любой англичанин в колониях, мистер Стилл любит, чтобы natives перед ним раболепствовали, и вот в этом-то заключается источник ненависти британского колониального чиновничества к евреям. Я абсолютно уверен, что во всей тюрьме не нашлось ни одной пары еврейских губ, которые почтительно прикоснулись бы к белесой, покрытой тоненькими волосками руке этого пузатого англичанина. (Разве что несчастный Нисим, уроженец Адена.) А арабы целовали, и еще как целовали!»

Обвинение в причастности к убийству Арлозорова было с Ахимеира снято. Об уголовном же преследовании за разжигание ненависти на религиозной или расовой почве тогда и слыхом не слыхивали, да еще в подмандатной Палестине, где по-прежнему действовал турецкий кодекс. Тем не менее Ахимеир провел год и девять месяцев на бывшем Русском подворье, переоборудованном в Иерусалимскую центральную тюрьму. Ровно столько ему вlepили за хулиганство. Предвосхищая воздушную гимнастику гринписцев и нацболов, он оседлал флагшток германского консульства в Иерусалиме и учинил расправу над известным флагом – подобием которого сегодня с таким сладострастием размахивают те же нацболы. Ахимеир, как и они, был сладострастником по части «где бы нарваться», например, свою редакторскую колонку назвал «Из блокнота фашиста» – назло сионским мудрецам, принятым в хорошем обществе: эти никогда не признавались в своих связях с дуче, вполне реальных, в отличие от Ахимеира. Политика – штука грязная. Публично отдаешься Владычице Морской, а сам вступаешь в тайные сношения с Покорителем Абиссинии: мол, хотим научиться у вас, итальяшек, морскому делу.

Так что попытка обвинить в убийстве Арлозорова евреев из ревизионистского лагеря – это, как сказали бы сегодня, черный пиар. Накануне Восемнадцатого сионистского конгресса в Праге лейбористы во главе с Бен-Гурионом во что бы то ни стало стремятся дискредитировать «фашистов» Жаботинского, под градом камней марширующих по улицам Тель-Авива в своих коричневых рубашках.

Для Шмуэля Каца, автора «Одинокого Зеева – одинокого Зевса», наоборот, ясно как божий день, что Арлозорова убили арабы. Разве точно так же не были убиты и зарыты в песок Йоханан Шталь и Сура Зохар, которую при этом изнасиловали. «То было место парочек, которые чувствовали себя на песке совершенно свободно». Настолько свободно, что туда, как на охоту, выходили арабы – сыграть коротенькую партию в «третий лишний», сперва устранялся «третий», а уж потом заодно и «второй» (Сура Зохар).

В сущности, Шмуэля Каца мало волнует, кто убил Арлозорова. Это типично. Арлозоров левый, из компании Бен-Гуриона. В любом случае не ревизионистам мстить за него. Главное, что это сделали не мы. Главное показать, что следствие

велось с нарушением всех юридических норм. Материалы дела подтасовывались, на что суд, признавший вину Ставского доказанной, сознательно закрывал глаза.

Смертный приговор был вынесен ему 8 июня 1934 года. Розенבלата оправдали за недостатком улики – «блядь» Фейгина к тому времени уже вернулась в Румынию. Имя Ахимера с убийством на пляже больше не связывалось, но нельзя же этого хулигана просто так взять и отпустить, по нем тюрьма давно плачет. Что он там организовал? «Союз зелотов»⁸? А ну-ка вклеим этому зелоту, этому лимоновцу.

Дело Ставского велось полицией, положившей для себя любой ценой найти виновного. Не постоять за ценой в этом случае предполагает безграничную щедрость – вплоть до готовности расплатиться истиной. Отсюда внутриведомственная круговая порука. Тем более, что своим «КПД» палестинская полиция похвастаться не могла, особенно когда это касалось еврейского населения страны: убийства, поджоги магазинов, нападения на кибуцы и фермерские хозяйства – все это оставалось безнаказанным. А тут застрелен еврейский лидер, «друг» верховного комиссара – неважно, что эта «дружба» обнесена кавычками из колючей проволоки, наподобие той, за которой время от времени оказывались нелегальные эмигранты из Восточной Европы. Сам Арлозоров в одном из писем к Вейцману – президенту Всемирной сионистской организации, в будущем первому президенту Израиля – не то что допускал возможность вооруженного восстания против англичан – говорил о его неизбежности. Да и зачем он ездил в таком случае в Германию, откуда вернулся за два дня до смерти? Не для того же, чтоб повидаться со своей первой любовью. Последнее Сима не исключала – совершенно справедливо, поскольку от этой встречи зависел «успех нашего обреченного дела». Но тогда... Кто тогда, весной 1933 года, до конца отдавал себе отчет в буйном помешательстве национал-социализма – кроме Жаботинского? Ведь как думали: перемелется – мука будет. Все же немцы, все же великая сухопутная нация. И к этой поездке Арлозорова в Германию, и к подозрениям Симы, и к письму Арлозорова Вейцману – ко всему этому я еще вернусь.

Итак, полиции позарез нужен убийца, все равно кто, араб-насилник или еврей, – агент Коминтерна. Предпочтительней последний, если согласиться с еврейской точкой зрения и признать действия властей проарабскими, что само по себе еще не факт, – «палестинцам», как тогда называли евреев в Палестине, во всем мерещился мировой антиссионистский заговор. Лишнее подтверждение, что перед конспирологией все нации равны. Хотя первой, естественной реакцией у полиции действительно было: коммунисты.

Для лейбористов коммунисты – это, конечно, плохо, очень плохо, но – перефразируя поговорку – внешний враг лучше старых драк. Тех, что происходят внутри Всемирной сионистской организации. («Вообще-то я его в тот день не видела, но в Объединении профсоюзов мне сказали, что даже Талмуд разрешает давать ложные показания против плохих людей, которые хуже коммунистов», – так квартирная хозяйка Ставского объяснила свое поведение в суде.) Коммунистическая партия не претендует на руководящую роль в сионистском движении, не с нею, а с «Бейтаром» предстоит побороться за голоса на выборах в сионистский конгресс, и если б убийцей оказался «бейтарник»... Боже, сделай так, чтоб им оказался «бейтарник»... А Бог: «Это не ко Мне, это к полиции». «Полиция, сделай так, чтобы им оказался "бейтарник"». Полиция: «Нет уж, это вы сами сделайте и нам свое изделие преподнесите, а уж мы привередничать не станем. У нас нелады с отчетностью».

⁸ Так переводчик, принципиальный антибуквалист, переводит «Брит-ха-бирьоним», «Союз бунтарей», основанный Абой Ахимером.

Интересы палестинской полиции пересеклись с интересами Рабочей партии. В точке пересечения оказался Ставский, попал под перекрестный огонь – так в кинохронике грядущей войны белый крестик бомбовоза оказывается в промежности двух шагающих по небу лучей, и тут же по промежности бьет пунктир зенитного огня. И если бомбовоз английский, у нас разрывается сердце, – а немецкий, ну что ж...

Шмуэль Кац льет кипяток на непокрытые лысины исповедующих марксизм – всех этих мощных, кацнельсонов, бен-гурионов: полюбуйте, на что они были способны – погубить ни в чем не повинного человека, молодого парня, полгода как в стране! Притом что любое сомнение воспринимается как отступничество, как переход на сторону ревизионистов (а кому охота, чтоб ему мазали ворота дегтем!). А полюбуйте на это следствие, на этот суд. Сима Арлозорова, в первый вечер показывавшая, что один из двух нападавших был точно арабом, по прошествии полутора месяцев узнает в Розенблате убийцу своего мужа. А то, что она, не колеблясь, узнала Ставского – которого видела мельком «в мерцанье звезд»! Ну как же, госпожа Арлозорова говорит... И ни присяжных, ни судей (за исключением одного судьи-сефарда) не смущает, что у свидетельницы – единственной свидетельницы убийства – стрелявший перемещается с места на место, как шахматная фигура на доске: сперва «№ 2» стоит напротив ее мужа, потом, когда выяснилось, что пуля вошла справа (поначалу даже искали левшу, совсем как в романах), происходит рокировка.

Английскую администрацию такое положение дел устраивало. Синедрион хочет заполучить в душегубы эту троицу? Сделайте одолжение, берите, в первый раз, что ли... Теперь, правда, их отправят воскресать не на видное место, а в закрытое помещение – к которому у Абы Ахимеира, большого ценителя Достоевского, обостренный интерес, в его положении оправданный.

«Говорят, что казнь Али прошла неудачно. Узел веревки затянулся слишком близко к подбородку. Это противоречит regulation. Узел должен находиться, согласно regulation, под левым ухом, если я не ошибаюсь. Короче, вешатели Али допустили ту же оплошность, что случается и у опытного резника. Результат, правда, тот же самый: Али повешен и умер точно так же, как умирает корова – вне зависимости от того, можно ли есть ее мясо или нельзя».

Ахимеир подробно описывает, как сержант Шиф, «добрый еврей и отец двух прелестных дочерей», надел на голову приговоренного к смерти «черную кафию» (кафия – мужской арабский платок), а сверху обычный акаль (черный веревочный жгут), и что после того, как мистер Стилл потянул за рычаг, пульс у Али еще прослушивался целых двенадцать минут, а в прошлый раз у Абу-Джильды лишь семь, и что накануне у Али измерили рост, но не от пола до макушки, а от пола до шеи, «этих Дарданелл человеческого организма», а также взвесили его, чтобы потом отретпетировать повешение на матрасе с равным по весу количеством песка внутри, и что почему-то, вопреки кодексу чести, Али, пока его вели из «зинзаны» (здесь – камеры смертника), ничего не крикнул на прощание другим заключенным, ожидавшим, что такой «джеда» (герой) устроит шикарное представление, но Али молча проследовал по коридору: должно быть, сердится на нас за что-то – решили заключенные, – ишь ты, не снизошел... вот Абу-Джильда, тоже джеда, тот, идя по коридору, не только крикнул: «Хатиркум, я шабаб!» («Прощайте, ребята!»), на что в ответ из всех камер раздалось: «Хатрак!» («Прощай!»), но еще в придачу расцеловался с приставленными к нему надзирателями и поцеловал мистеру Стиллу руку – ту, что вот-вот распахнет у него под ногами воротники рая, – а вы говорите: «Достоевский», «русская душа» – да он понятия не имел, что есть в мире книги, кроме Корана, из которого, и то наверняка, знал одну лишь единственную фразу,

повторенную мистером Стиллом его братьям, когда те явились за телом: «Убийца да убит будет».

С большим воодушевлением Ахемеир пишет и о веревке, на которой повесят его, Ставского и Розенבלата. Оказывается, она сделана специально для этой цели. «У английского народа, властителя морей, весьма развито веревочное ремесло, прежде, во времена парусного флота, потребность в веревках и канатах была велика. Производство же веревок для виселиц – особая отрасль. И дожидается такая веревка своего часа в специальном футляре из тонкой кожи. К одному ее концу прикреплено металлическое кольцо. В отличие от виселицы, она предмет единоразового использования. (”Тогда как в России все наоборот, – прибавляет Ахемеир, который родом был из Минской губернии, – стационарных виселиц нет, каждый раз рубят новую, а веревку прячут: пригодится.”) Затем к веревке привязывают бирку, на которой начертано имя повешенного и дата повешения, и кладут в ящик к другим веревкам, уже бывшим в употреблении. Ящик этот находится на хранении в Главном полицейском управлении, располагающемся на Русском подворье в Иерусалиме».

Сима топила Ставского как могла, делала все, чтобы Ставский и Розенבלат разделили судьбу вышеупомянутых Али и Абу-Джильды. Можно ведь сказать: один из нападавших был точно араб. А можно сказать: один из нападавших был точно еврей. Она пошла дальше, теперь она настаивала на том, что оба, и тот, что с фонариком, и тот, что стрелял, были евреи.

Из своего вынужденного «далёка» Жаботинский⁹ недоумевал: зачем она это делает? «У меня нет разгадки этой ”внутренней” тайны. На ум приходит роман Дю Морье ”Трильби”: женщина, не способная отличить пение ”Марсельезы” от чтения хором 127-го псалма в англиканской церкви, поет, как соловей в садах Шахерезады, под взглядом гениального гипнотизера. Боюсь, что и на сей раз где-то в райке спрятался всесильный гипнотизер, и по его тайной воле, не помня себя, не ведая, что творит, г-жа Арлозорова дает столь бесценные для обвинения свидетельские показания. Некоторые из них, согласитесь, абсурдны. Человек с фонариком обратился к ним на иврите без акцента – стало быть, он еврей. На месте судьи я бы задал вопрос свидетельнице: как можно говорить без акцента на иврите, языке вновь созданном, языке, который *par définition* моложе тех, кто на нем говорит? Ставский изучал иврит в Польше, но, предположим, он говорит на иврите без польского акцента. Значит, с каким-то другим: румынским, русским? А может, арабским? Но самым поразительным является *безошибочное* опознание г-жой Арлозоровой Розенבלатова пиджака (не самого человека, а его пиджака) среди десятка других, из которых два имеют примерно тот же рисунок. И это спустя сорок три дня! И это при том, что последний свидетель – Вайзер (идиот, который сидел на берегу с девушкой, чей цвет глаз он даже не заметил), находясь в двадцати метрах, вообще ничего не видел, и только подбежав, увидел женщину и раненого человека. Из рук вон скверная видимость, скажете вы. Но г-же Арлозоровой это не помешало разглядеть на убийце пиджак с красной ниткой. Вот вам свидетельница, наделенная почти сверхчеловеческим зрением и столь же невероятной зрительной памятью – такова была бы моя реакция, будь я одним из судей. А я утверждаю: именно невысказанное опознание пиджака – самая гнилая часть всей этой подозрительной постановки. Перед судом дилемма. Принять во внимание эту красную нитку, у которой в действительности совсем другой цвет? Но это означает открыто признать, что все дело шито белыми нитками. Поступить иначе,

⁹ Обвиненный в создании военизированных отрядов Жаботинский, после попытки прорваться в иерусалимский Старый город для защиты еврейского квартала (1921 г.), был приговорен британским военным судом к пятнадцати годам каторги, позднее замененной высылкой из Палестины.

усомниться в сверхъестественном зрении свидетельницы? Опять же признать то же самое. Оба решения предполагают вердикт «невиновен».

«Одинокий Зеев» в который раз оказался прав: Розенבלата оправдали, как говорились в приговоре, «на основании того, что суд принимает во внимание доводы защиты, оспаривающие идентификацию личности подсудимого, произведенную госпожой Симой Арлозоровой». Говоря другими словами, словами Жаботинского, «суд не решился сохранить для потомства свидетельство своего бесчестья».

Жаботинского обожают все, от Нины Берберовой до Леонида Гиршовича, хотя последний и оговаривается: «Именно то, что помешало Жаботинскому стать значительным явлением русской литературы, сделало его предводителем "еврейского казачества". Но дарование художника будет подороже таланта политика. Поэтому для нас Жаботинский – в первую очередь писатель». ("«Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя".)

Да и как можно не любить этого человека, который тогда же, в одной из своих статей, пишет, как бы в развитие темы «Трильби»: «Прошу читателя послушать и подумать: женщина гуляет с мужем за городом. Мужа ранят пулей в живот; не надо быть врачом, чтобы понять, как это опасно и как болезненно. Она зовет на помощь, и на крики ее сбегается несколько мужчин. Что бы сделала потом любая нормальная женщина? Спросите вашу жену, вашу сестру, вашу невестку, и вы услышите в ответ: она осталась бы возле своего раненого мужа. А помчаться в город и оттуда позвонить в больницу и в полицию она бы послала одного из молодых людей, во-первых, потому что они добегут быстрее, чем она, а главное, потому что она не захочет оставлять своего раненого мужа. Если его надо будет отправить в город без носилок, нормальная жена, сестра или невестка не позволит, чтобы это было сделано без нее, она пойдет с теми, кто его понесет, она скажет им: "Пожалуйста, ради Бога, будьте осторожны", она присмотрит, чтобы его не трясли напрасно. Если ему придется ожидать на месте, пока явятся люди из госпиталя с носилками, она останется с ним, подбадривая его, повторяя ему: "Они скоро приедут, потерпи, рана неопасная". Она прибыла бы вместе с раненым в госпиталь, бросилась бы к дежурному врачу, к сестре, спросить, не находится ли муж в опасности, она просила бы: "Пожалуйста, разрешите мне остаться с ним, можно?" И если б в госпитале появился полицейский, чтобы ее допросить, она бы вышла к нему на цыпочках, на минутку, и прибежала бы обратно к постели мужа – чтобы оставаться с ним до тех пор, пока его не повезут на операцию».

Это больше напоминает речь адвоката, который не совсем достойными средствами, то есть с помощью лубочной картинки, отвечающей представлениям двенадцати мещан-присяжных об идеальной жене, хочет вызвать в них предубеждение против госпожи Арлозоровой и того, что она говорит. Но мы-то знаем, что Жаботинский честен, благороден – для политика, быть может, слишком благороден и слишком честен. Трогательный женский образ в духе «Мама, папа ранен!», набросанный им на скорую руку, соответствует также и его пониманию того, какой должна быть любящая женщина, – а женщина для него в первую очередь должна быть любящей. Жену Жаботинского звали Аней, сестру – Таней, кого из них двоих представил он себе мысленно на месте Симы Арлозоровой? Так и хочется послать ему – снедаемому тайными воспоминаниями о детстве, о доме, о родной Одессе – воздушный поцелуй.

Когда следствие уже распределило все роли, некто Абдуль Маджид, осужденный за убийство, – из тех, кого Ахимеир портретировал «черным по черному», – вдруг взял да и заявил: Арлозорова убил он. Вернее, их было двое, он и его подельник Иса Дервиш.

Сразу же от полноводного потока, уносившего Ставского прямехонько в «зинзану», отделился ручеек надежды, о чем защита на первых порах даже не была по-

ставлена в известность – злокозненно (по уверениям Шмуэля Каца) или как того требовал закон на данном этапе «следственных действий» (по утверждению Шабтая Тевета). Впрочем, это даже неважно, главное – заявление Маджида не было положено под сукно, следственные действия производились, хотя в их оценке Шмуэль Кац и Шабтай Тевет расходятся.

Причины добровольного признания в убийстве Арлозорова Кац не касается, как если бы психология уголовного араба не стоила того, чтобы в ней разбираться: чего там, Ахимеир уже разобрался, а кто не готов с ним согласиться, пусть сперва повторит его опыт, пусть напишет свой «репортаж с места событий». Вместо этого Кац приводит примеры недобросовестного обращения полиции с фактами, вплоть до уничтожения улик – пуль от пистолета, найденного при обыске у Исы Дервиша, «того же типа, что были использованы при убийстве Арлозорова», и т.д.

Маджид подробно рассказал обо всем, что происходило на берегу, – почему то отставали, то догоняли: вдруг обнаружили, что заклинило затвор, и пришлось остановиться, при свете фонарика ковыряться в механизме и в результате зарядить более подходящим патроном, который лежал в кармане среди крошек просыпавшегося табаку... (вот она, цена «пули того же типа»); рассказал, как он демонстративно помочился в море, объяснив, что они хотели изнасиловать женщину, – ну, он и покуражился «с мочеполовым оттенком».

Одна, на первый взгляд незначительная, деталь в показаниях Маджида привлекает внимание Каца: «Человек хотел бороться». И правда, напоминает Кац, загадочным образом на пиджаке Арлозорова недоставало пуговицы. Выросший в Германии и получивший степень доктора в Берлинском университете, Арлозоров был типичный «йекке»¹⁰, аккуратен, подтянут. Такой бы не потерпел у себя на пиджаке оторванной пуговицы – хотя, надо полагать, не это явилось причиной их давешней «стычки» с женой. Пуговица же – возвращаясь к ней – не просто отсутствовала, она была вырвана, что называется, с мясом. (Уже второй пиджак в этой истории: вспомним пиджак Розенבלата. Как вам это нравится, в Тель-Авиве в середине июня все разгуливают в пиджаках! А ведь мылись наверняка реже, чем теперь, – у Ахимеира, на двоих со Ставским снимавшего комнату в бараке, «удобства» были во дворе, канализация отсутствовала, по утрам балагола на старой клячке подвозил воду в большой жестяной бочке.)

«Нельзя себе вообразить, – пишет Кац, – чтобы доктор Арлозоров, глава внешнеполитического ведомства Сохнута, можно сказать, дипломат, – и на ланч к верховному комиссару отправился с висящими нитками на месте оторванной пуговицы, да еще потом в таком виде пошел с женой гулять».

По мнению Каца, это не только подтверждает сказанное Маджидом, но и объясняет, почему пуля, попав Арлозорову в правый бок ниже ребер, поднялась до уровня левой лопатки: к моменту выстрела он уже принял позу «творящего намаз» (результат его «желания бороться»). Но если это так, то это находится в вопиющем противоречии с рассказом Симы, которая ни словом не обмолвилась о завязавшейся драке.

Признание Маджида важно для Каца лишь в той мере, в какой позволяет уличить Симу во лжи. Не принимая целого, он тем не менее на производной от него части строит некие рассуждения. Когда так поступают другие в отношении нас, мы называем это «инсинуацией».

Особой щепетильностью в средствах не отличалась ни одна сторона, «гипнотизеров» хватало у всех. Приводимые Кацем случаи подтасовки свидетельских пока-

¹⁰ Т.е. «пиджак», прозвище немецких евреев в Палестине за их обыкновение носить пиджак (по-немецки «Jаске»).

заний довольно двусмысленны. Старший офицер полиции (вражеский лазутчик?) разоблачает в своей докладной адвоката Симы: «Я сразу заметил, что левая рука у Шнейдермана (в числе прочих пробовавшегося на роль убийцы) не работает и на ней не хватает нескольких пальцев. Тогда я сказал в присутствии адвоката д-ра Йозефа, что Шнейдерман похож на человека, стрелявшего в Арлозорова и что он левша. Во время опознания г-жа Арлозорова попросила его передать ей портфель. Он сделал это правой рукой. Когда она попросила переложить портфель в левую, он отказался, объяснив, что в левой ничего держать не может, и показал, почему. После этого г-жа Арлозорова заявила, что он не убивал. Она заведомо искала левшу».

Спрашивается, кого полицейский, явно сочувствующий «Бейтару» (в смысле тайно), выводит на чистую воду, адвоката или себя? Полицейскому офицеру, состоящему на службе его величества, срывать следственный эксперимент еще менее пристало, чем адвокату, по роду деятельности продажной личности, для кого верх порядочности – это добросовестно защищать интересы клиента, здесь – нанявшей его лейбористской партии.

Все были хороши, и нечего с видом святой невинности сокрушаться о том, что Маджида вынудили взять свое признание назад: «Он держался твердо, за восемнадцать дней выдержал двадцать четыре допроса. Но когда прямо в его камеру привезли из Яффы четырех арабских нотаблей, Маджид сознался: Ставский и Розенблат заплатили ему 1500 фунтов».

Они действительно были знакомы. Точнее, могли быть знакомы. У Ахимера мне попало описание одного инцидента в Иерусалимском центре с его участием.

«... Вдруг навстречу Мухаммаду-имаму направляется наш Абдуль Маджид, его лицо перекошено от ярости. Имам отшатнулся. Я удивился: имам не слабее Абдуль Маджида. Но силы Абдуль Маджида удвоились из-за обуревающей его страсти к убийству. Имам вбежал в помещение, Абдуль Маджид вслед за ним. Раздаются вопли. Обычные в тюрьме вопли, когда "бьют". Это Абдуль Маджид вынул нож, "из настоящей дамасской стали, которая не выпитывает кровь", и бросился на имама. Но Абдуль Маджида тут же окружили надзиратели во главе с сержантом Шаломом Швили, который словно вырастает из-под земли всякий раз, когда между арестантами возникает драка. В руке у Швили полицейская дубинка. Били Абдуль Маджида долго. Швили рассказывал, что "кровь из него текла, как из свиньи". А когда надзиратели сочли, что вытекло ее предостаточно, его отвели в *муштаффу* (санчасть). Потом выяснилось, что это старший брат Абдуль Маджида Абдуль Хамид, который сидит в "зинзане", подговорил младшего брата прирезать Мухаммада-имама. Его расчет прост. Он все время твердит, что не убивал брата имама. Теперь он надеется, что его послушают и отпустят. Младший же брат, Абдуль Маджид, все равно признался в убийстве, ему терять нечего. Когда мистер Стилл в сопровождении сержанта Шалом Швили навестил в *муштаффе* Абдуль Маджида, всего забинтованного, тот поцеловал сержанту руку и сказал: эта рука спасла его от смерти. Если б не сержант, он бы зарезал имама. И тогда его бы точно повесили, потому что он уже совершеннолетний, а не как в прошлый раз».

Шабтай Тевет, чья книга «Убийство Арлозорова» лишена страстного обличительства Шмуэля Каца, излагает события несколько иначе, в «объективной манере», не вызывающей у читателя желания ерепениться. Для Тевета всё рассказанное Абдуль Маджидом – самооговор с одной-единственной целью: прославиться. Заодно и рассчитаться за какие-нибудь обиды с Исой Дервишем, которому в таком случае красная одежда смертника обеспечена. Самому Маджиду, «на момент свершения преступления еще не достигшему совершеннолетия», это не грозило. Да и стрелял не он. Он был «номером первым» – комариком с фонариком. У него

в планах было совсем другое: «И теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться». Но только в планах. Можно сказать, в мечтах, за мечты не судят. Так что скорей всего он будет свидетелем. Но это по закону, а в глазах арестантов он полноправный участник убийства. И не убийства какого-нибудь там феллаха с Козьих гор — главного еврея в Палестине! Для всех он настоящий «джеда». Отныне он знаменитость.

Обид же, ставших причиной мести, могло быть великое множество. Элементарно приревновал — как мы помним, они все гомосексуалисты. Как мы помним, это в порядке вещей у арабов-арестантов. Да и безо всякого ареста тоже. А в тюрьме и вовсе убеждаются, что «женщина не есть предмет первой необходимости» (Ахимеир). Их ревность — страшна. Как и любовь: у-у... из темноты. Страсти-то какие волосатые. Сценка в яффской гостинице: содомит, выступающий в женской роли, говорит коридорному, прибежавшему на вопли: «Мне штопор, а Сулейману-эфенди врача», — и тут же валяется бритва.

Почему, к слову сказать, Иса Дервиш должен был хвататься за пистолет, шумное ненадежное оружие: то затвор заклинит, то собачку заест, то достанешь для форсу, а он сам вдруг выстрелит, не у всех же новенький браунинг в сумочке. Зачем ему было стрелять? Это бы только помешало им осуществить свое экстравагантное намерение (жениться на душе-девице), экстравагантное в свете их привычек и пристрастий. Почему Иса Дервиш не схватился за нож? Не оттого же, что Ахимеир назвал нож «оружием древнего народа с невысоким полетом фантазии», а тот, обидевшись за свой народ, решил доказать, что это не так. «Национальное оружие русских убийц, — говорил Ахимеир, ставя их в пример, — топор. Это оружие сынов молодого народа, обладающего широким кругозором и могучим размахом, э-эх, раззудись плечо, размахнись рука!.. народа, чье мировоззрение претендует на всеохватность, народа, чей главный герой — царь Петр — был по совместительству плотником. В стране Израиля, раскинувшейся по обе стороны Иордана, тоже используют в хозяйстве топоры, но убийцы здесь отдают предпочтение ножу, оружию древнего народа с невысоким полетом фантазии».

Это правда, еще в начале семидесятых сефардские подростки с неблагополучной рехов Штерн с чувством гордости за свое племя говорили: «Марокаи-сакинай»,¹¹ — и испытующе смотрели на меня: ну что, швили, припарковал уже свою «вольву» к вилле угол Дизенгова-Арлозорова?

Для Шабтая Тевета вопрос, «почему Иса Дервиш должен был хвататься за пистолет?» не стоит. Иса за него и не хватался (это Геббельс хватается за пистолет при слове «культура»). Никакого Исы Дервиша на пляже не было. Трудно представить себе и Абдуль Маджида, «в халстухе, повязанном морским узлом, как у шерифа в «Seven Horsemen of the Apocalypse».¹² Уроженец кибуца «Дгания», Шабтай Тевет не понимает: «бабочку» или бант имела в виду Сима — когда по горячим следам давала первые свои показания в главном полицейском управлении Тель-Авива, города, который еще отсутствовал на большинстве географических карт. «Сегодня так завязывают только шнуры», — пишет Тевет.

Одно объединяет Шабтая Тевета и Шмуэля Каца, столь не похожих между собой: профессионализм, не позволяющий снисходить до смелых гипотез, которыми торгуют с лотка на рынке Кармель. Для этого есть Интернет. Вот, ахнул, прочитав. Совершенно невероятная версия «убийства на пляже», то есть очень даже вероятная — невероятно, что ты еще в состоянии «прочитать и ахнуть» — после всего, что уже говорилось.

А чего только не говорилось! «М. Каганская, по ее словам, собиралась написать пьесу — в соавторстве с Зеевом Бар-Селлой, — в которой убийцей Арлозорова

¹¹ Марокканец-поножовщик.

¹² «Семь всадников Апокалипсиса».

предстает его жена Сима». Извиняюсь, что снова цитирую свои «Обменные головы». Просто забавно: тому уж двадцать лет, как это писалось, а ведь я уже тогда располагал ключиком, и был этот ключик всегда «на связке», с самого детства, да только мне в голову не приходило, от чего он, от какого замка. Можно всю свою жизнь видеть изображение очага на стене, не подозревая, что кто-то другой всю *свою* жизнь пытается этот очаг разыскать. Начиная с пятого класса, максимум с шестого – да нет, с пятого – в моем распоряжении был уникальнейший в своем роде документ, рисующий (в буквальном смысле этого слова – «рисующий») картину гибели Арлозорова. Свидетельство из первых рук! Мы уже давно догадались, что Сима была не единственной свидетельницей, не правда ли?

Значит, Интернет как источник знаний: (<http://rjews.net/maof/article.php3?id=6651&type=s&sid018>). Изложив фактическую сторону дела, автор, проживающий в Хайфе, продолжает:

«Ну что это за убийца, если стреляет в живот, – ведь такие раны в наше время не смертельны, Арлозорова могли спасти, да и раненый не сразу вырубается. Или он целился в грудь, а попал в живот – это с двух-то шагов! А когда Арлозоров упал на четвереньки и буквально подставил голову под следующий выстрел, убийцы бросились бежать... Почему только один выстрел? Чего они испугались, что сразу же удрали? Да таких "шлимазлов" полиция должна была поймать и расколоть в два счета!

И вообще с этим выстрелом что-то странное. Сима твердо показала, что слышала двойной лязг передернутого затвора браунинга. Она могла ошибиться в системе, есть и другие пистолеты такого же действия. Из тела Арлозорова была извлечена пуля от русского нагана. (Дальше цитата из Бабеля.) "Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу".

...Бабель служил в ЧК, Бабель служил в Первой Конной – и никогда не стрелял из пистолета или револьвера, не разбирался в этой технике. Что же тогда говорить о подавляющем большинстве читателей? Придется устроить маленький военно-технический ликбез.

В современном пистолете патроны помещаются в обойму, которая находится в рукоятке. Чтобы выстрелить, необходимо посредством затвора дослать патрон в ствол. От выстрела затвор отбрасывается назад, «выплывывая» стреляную гильзу, затем пружиной возвращается на прежнее место, досылая следующий патрон. Пистолет снова готов к выстрелу. Но для первого выстрела патрон досылают вручную, передернув затвор с характерным двойным металлическим лязгом. В дальнейшем лязг не слышен из-за грохота.

Таков браунинг образца 1891 года, таковы подавляющее большинство современных пистолетов. (Полцарства за редактора!)

В револьвере со времен кольта образца 1836 года патроны находятся во вращающемся барабане впереди рукоятки, каждый в своем гнезде. Для выстрела взводится курок, который одновременно поворачивает барабан и ставит следующее гнездо против ствола. Это слышится как легкий щелчок. (Венец мой за редактора!)

Есть револьверы-самовзводы (double action). В них нажатием спускового крючка взводится курок с поворотом барабана. Это требует от указательного пальца значительного усилия и, как следствие, *отклоняет ствол вправо в момент выстрела*. Русские наганы были только самовзводы, большие, с совершенно уникальным патроном – пуля крепилась внутри гильзы, а не снаружи. Ошибка исключена – в Арлозорова стреляли из нагана.

Согласно протоколу вскрытия пуля вошла справа, на линии соска, значительно ниже ребер, пересекла брюшную полость наискось и, перебив одну из артерий и вызвав внутреннее кровоизлияние, застряла в мышцах спины с левой стороны.

Вывод: в Арлозорова стреляли спереди справа. Даже левша на месте №2 не смог бы этого сделать. Стрелял №1. Целился в живот? Или пальнул навскидку, от бедра, с самовзвода? Тогда реально – но только в одном случае: если он стрелял в Симу, а ствол ушел вправо, и он попал в Арлозорова. Зачем же было в нее стрелять? Чего он вдруг испугался?

...Из описания Симой лязганья пистолетного затвора следует интересный вывод: Сима Арлозоров ("Клара Цеткин"), хоть и не разбиралась в револьверах, зато в пистолетах разбиралась получше Бабеля. Откуда? Элизер Каплан, член руководства партии "Мапай" и Сохнута (короче, рехов Каплан), сам слышал от Симы Арлозоров, что в ночь убийства у нее был с собой ее собственный пистолет, которым она не сумела воспользоваться. Пианистка Надя Рейнхарт, подруга матери Арлозорова, слышала то же самое и от Симы, и от матери. На суде Сима это полностью отрицала.

Итак:

1. Два человека подошли на пустынном берегу к чете Арлозоровых. Были ли они просто прохожими, грабителями или насильниками (последнее навряд ли – слишком близко от многих возможных свидетелей), евреями или арабами – неважно. Важно, что они не планировали убийства.

2. По неизвестным нам причинам – ибо мы не знаем их диалога – Сима вытащила из сумочки свой пистолет, по-видимому, небольшой "дамский" браунинг.

3. Прохожие (грабители) испугались, и №1 пальнул от бедра из своего нагана. Попал в Арлозорова, после чего оба бросились наутек».

Хороша история. Сам ты этой догадкой щегольнуть не можешь, ну так и облизывайся на нее. Главное не подпасть под гипноз неведомой премудрости, что в моем случае проще простого. Из всех видов стрелкового оружия мне понятен лук – как он стреляет да как можно напоить ядом послушливые стрелы. И заметьте, это говорит в общей сложности прослуживший в армии 2 ½ года, из коих полтора – в танковом полку. По возможности я избегал вставлять «махсанит» (рожок) в свой «М-16» – от греха подальше. Единственный раз, что я бросал гранату, моим кулаком владела рука лейтенанта – мы бросали ее, мягко говоря, вдвоем, после чего другой рукой он пригнул мою голову к земле: из ямы, куда эта мерзость улетела, раздалось «бу-бух!».

Это к тому, что «чекист» и «красный конник» Бабель, в конце концов, мог тоже иметь исключительно «киношное» представление о том, как стреляют, втайне питая к огнестрельному оружию естественную брезгливость.

Я недоверчив к мнению экспертов – в обстоятельствах, когда сам могу лишь хлопать глазами. Достаточно приходилось мне слышать их, высказывающихся на темы, по которым я полагаю себя вправе иметь личное суждение. Боже, Боже... А люди сидят, слушают. И дабы не быть одним из них, я решил «верить компетентностью компетентностью». Имярек, человек весьма незаурядный, простер свою любезность по отношению ко мне настолько, что дал собственное «экспертное заключение» на чужое «экспертное заключение». Боюсь, кому-то оно покажется до обидного категорическим, зато не скучно будет читать. Я привожу его целиком, за исключением одного пассажа, который попросту прикарманил: раскавычил и упрятал поглубже в текст.

«Вывод сам по себе, может, и верен (т. к. возможных выводов – кот наплакал: два человека идут бок о бок, в одного из них сделан неприцельный выстрел явно неумелой рукой... Долго ли предположить, что стреляли не туда и не в того, в кого реально попали!). Но в доказательной своей части статья – претенциозная чушь. Автор "вразброс" читал какие-то публикации в рубрике "Стрелковое оружие", которые на рубеже советско-постсоветской эпохи появлялись в журнале "Техника – молодежи".

Конкретно, его доводы – мои комментарии.

Ну что это за убийца, если стреляет в живот, – ведь такие раны в наше время не смертельны, Арлозорова могли спасти, да и раненый не сразу вырубается. Или он целился в грудь, а попал в живот – это с двух-то шагов!

Время было не "наше". Даже в период 1941–1945 гг. от ран в живот умирали чаще, чем от ран в грудь: антибиотиков нет, в два счета возникает перитонит – и готово. Пуля в живот – классический "мстительный" выстрел: "чтоб он, гад, подольше мучился и все осознал". Я уж не говорю о том, что из плохого, "разболтанного" ствола неумелый стрелок будет и на 2-х шагах стрелять не в грудь или живот, а "в корпус" – и куда попадет, туда попадет. Не говорю и о том, что при такой стрельбе уведет ли ствол в сторону – вопрос отдельный, а вот вверх его уводит. Так что если стреляли, извините, в гениталии – самое то!

А когда Арлозоров упал на четвереньки и буквально подставил голову под следующий выстрел, убийцы бросились бежать...

А кто сказал, что их раздолбанное оружие не заклинило после первого же выстрела, что патрон в нем не перекошило, что вообще там был второй патрон? Кто сказал, что хотели непременно убить, даже если стреляли осознанно? Может, важнее было "дать понять, кто тут хозяин"; если оклемается – пусть живет, его удача, но помнить он об этом будет и выводы для себя сделает.

Бабель служил в ЧК, Бабель служил в Первой Конной – и никогда не стрелял из пистолета или револьвера, не разбирался в этой технике.

Несколько десятилетий подряд револьвер был фактически монополистом в классе "многозарядное короткоствольное ручное оружие". Поэтому когда в конце XIX в. начали распространяться автоматические пистолеты – многие по старой привычке продолжали звать их "револьверами". В т. ч. и люди, заведомо умевшие стрелять. Если говорить о русских писателях времен Бабеля – то и Гайдар (отлично стрелявший из всего, что было в ходу) называл так маузер, и Булгаков (обладатель маленького браунинга, из которого он, возможно, не стрелял, но с которым ездил на ночные врачебные вызовы) – свой браунинг. Эта традиция (не абсолютная, но распространенная) нарушилась уже на подходе к II Мировой войне.

Между прочим, были (и есть) пистолеты, в которых для выброса заклинившей гильзы надо оттягивать именно ствол, намертво сцепленный с затвором. Таков, например, вальтер. Думаю, его и имел в виду Бабель. Кстати, вальтер – пистолет из числа самовзводных, так что стрелять можно и без подготовительных движений. Затвор же передергивают при заклинивании гильзы или если первый патрон, для безопасности носки, не был подан в ствол (вариант: пистолет разряжен, и его перед выстрелом заряжают одиночным патроном). Мне кажется, последний вариант – как раз для тех шлимазлов, у которых в кармане скорее всего был не великолепно отлаженный инструмент – вальтер или браунинг, – а старое разболтанное черт-знает-что после тридцатого ремонта.

Русские наганы были только самовзводы, большие, с совершенно уникальным патроном – пуля крепилась внутри гильзы, а не снаружи. Ошибка исключена – в Арлозорова стреляли из нагана.

С ума сойти. Пуля именно что *как правило* запрессовывается внутри гильзы. Действительно, патрон нагана малообычен, хотя и не уникален (это только в рубрике "Стрелковое оружие" других аналогов не приведено). Дело не в том, что пуля крепится внутри гильзы, а в том, что она там крепится *вся целиком*, так что снаружи патрон напоминает правильной формы маленький цилиндр, словно бы без пули. От этого при выстреле стенки гильзы оставляют на пуле довольно характерную метку, ее легко опознать. Но речь-то о *патроне* (и даже всего лишь о пуле: гильзу, как я понимаю, не нашли). А им стрелять можно не только из нагана. Кто спорит, для любого револьвера или пистолета "родной" патрон лучше, но в ту пору и в тех краях было не до жиру: уж какие достанешь, особенно если доставать приходится нелегально. Безусловно, меткость снижается, коль скоро диаметр пули на доли миллиметра не совпадает со стволом. Меньше – пуля "гуляет" из стороны в сторону, больше – "гуляет" ствол: мягкая пуля, деформируясь, с натугой пропихивается сквозь нарезки. Для таких дел ствол порой даже рассверливали, но тут уж пробивная сила падает ниже плинтуса. Хотя в описываемом случае она как раз крайне низка: нормальный

наган пробьет человека насквозь и с куда большей дистанции, даже при попадании в кость – чего, как я понимаю, не было. Тот тип браунинга, который называли "дамским" (6,35 мм), навyleт простреливал 5-сантиметровый сосновый брус с 25 м. Пуля же, не пробившая насквозь брюшную полость и мышцы спины, должна была вылететь из совсем скверного оружия.

Из описания Симой лязганья пистолетного затвора следует интересный вывод: Сима Арлозоров хоть и не разбиралась в револьверах, зато в пистолетах разбиралась получше Бабея.

А может, вообще не разбиралась. Были ведь в то время и "разломные" револьверы, у которых при перезарядке барабана ствол со щелчком отводится вниз. Были и такие, у которых барабан со столь же явственным щелчком отводится в сторону, а со вторым щелчком становится на место. Дамочка могла все напутать, ей задали наводящий вопрос, мол, вот так он щелкал, да? – Ну, вроде бы так... К тому же что за странное нарушение логики: раз уж автор решил не верить показаниям Симы – отчего он делает столь глубокие выводы из этой их части?»

Кто из двух экспертов круче, поди разбери. На всякого знатока всегда есть более знающий, как на каждый острый язычок есть еще более острый ножичек. Лично я оценил сам по себе «детективный ход»: стреляли не в него, а в нее. Это достойно Агаты Кристи, да что там – Честертона. Восхищенный, через моря и континенты я протягиваю руку человеку из Хайфы – если только он ее пожмет.

Однако Сима была в ту ночь без сумочки. Как это случилось? Вышли пройтись после ужина, кто их там в темноте увидит. Это как гулять у себя на участке, она ведь и мужу не стала пришивать пуговицу – завтра.

Политики вынуждены считаться с тем, что их знают в лицо. Раз мне привелось на той же самой набережной увидеть за столиком в кафе Меира Вильнера,¹³ который, перехватив мой взгляд и, вероятно, прочитав в нем желание плюнуть ему в тарелку – чего я не стану оспаривать, – торопливо поменялся со своей спутницей местами: я помешал-таки этому запродававшемуся Кремлю господину любоваться Средиземным морем – пусть едет в Сочи, в Бочаров Ручей, там любитесь. (А буквально на днях жена, засмотревшись на витрину, чуть не сбила с ног Герхарда Шрёдера – впрочем, такого собьешь.)

О том, что Сима Арлозорова была без сумочки, говорилось на процессе (об этом упоминается и в отчете комиссии Бехора.¹⁴ Кете Дан, владелица «отеля имени mine», по ее словам, дала Симе свой носовой платок, когда та прибежала: она собиралась звонить в «Маген Давид Адом»,¹⁵ в полицию, к товарищам по партии – что-то делать, делать, делать...

Жаботинский в ужасе: да как она могла! Как это, не послать вместо себя какого-нибудь бахурчика,¹⁶ а самой остаться с мужем? Эх, Жаботинский, Жаботинский, разве доверяют «бахурчику» звонить в больницу, в полицию и к Меиру Дизенгофу? (Рехов Дизенгоф, у меня как раз там вилла, аккурат на углу Арлозорова, и к ней припаркована сероглазая «вольва».)

Нет, Сима была бы недостойна своего мужа, веди она себя иначе. Вспомним Лею Рабин после убийства Рабина – события, только укрепившего левых в сознании своей правоты: Арлозоров пал жертвой еврейского экстремизма, еврей способен пролить кровь еврея, что бы там мы ни говорили в еврейском своем самоупоеании. Не остановился же Игаль Амир перед цареубийством – а случившееся на площади Царей Израилевых в подсознании истолковывалось именно так. Любой израильский премьер – Царь Израилев, и для друзей, и для недругов. «Бегин

¹³ Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Израиля, ее просоветского крыла (1965 – 1990 гг.). В 1967 г. на его жизнь было совершено покушение.

¹⁴ В премьерство Бегина (1977 – 1983 гг.) судье Бехору поручили возглавить комиссию по расследованию обстоятельств гибели Хаима Арлозорова. Единственным итогом работы комиссии была полная реабилитация Ставского.

¹⁵ «Красный магендавид», скорая помощь (иврит.).

¹⁶ Паренек (разг. иврит).

мелех Исраэль! – кричала толпа. – Арик мелех Исраэль!»¹⁷ Рабин избежал предвыборной «коронации» лишь в силу европейской сдержанности своего электората. Однако вердикт суда этой сдержанности был лишен, он дышит нравами Ветхого Завета: мало того, что Амир окончит свое дни в тюремной клетке, ему запрещено «восставить свое семя в потомстве», оно – проклято.¹⁸

Ставский встретил приговор с поднятой головой, как, впрочем, и Амир (да сгинет во веки веков душа его!). «Осужден не я, осуждена честь Англии, – сказал он. – Меня вы осудить бессильны, потому что я – невиновен».

Добрый великан, по словам Ахимеира, Ставский остаток своей жизни пребывал в убеждении, что Сима и застрелила Арлозорова. Он стоял на этом, как если б там был и все видел, – вместо того чтобы настаивать на своем алиби, дескать, знать ничего не знаю, ночевал в Иерусалиме. Защита не сочла возможным точку зрения Ставского, ничем не аргументированную, предъявить суду.

Исчерпав запас стойкости, Сима оказалась не в силах куда-либо звонить и с кем-либо говорить. Кете Дан, хозяйка пансиончика, носившего ее имя, протянула Симе носовой платок и стала повсюду звонить сама. Так она рассказывала. Многим свойственно преувеличивать задним числом свое участие в исторических событиях. Оно и понятно. Ну кто бы сегодня вспомнил какую-то Кете Дан, жившую восемьдесят лет назад в только-только еще придуманном Тель-Авиве.

Неважно... Важно, что отсутствующий носовой платок указывал на отсутствие сумочки, а, следовательно, и «дамского» браунинга, который пробивает насквозь пятисантиметровый сосновый брус с расстояния в двадцать пять метров.

Прежде чем окончательно похерить остроумное предположение, что «стреляли в Симу, а попали в Хаима» (интонация полузабытого анекдота), я постараюсь поставить себя на место стрелявшего – а может, стрелявшей? Обезумевшей от ревности какой-нибудь бывшей пассии Арлозорова, какой-нибудь там «бляди Фейгиной» (так можно обогащать сюжет до бесконечности, раз уж не получается вооружить Симу).

Но, допустим, у Симы была сумочка, когда они выходили из пансиона, и в ней пистолет, но тогда уж вряд ли самопал – «хорошенький пистолетик, который не стыдно держать в сумочке». В начале семидесятых среди эмигрантов моего поколения было принято обзаводиться пистолетами. К нашему изумлению, оружие продавалось «открытым текстом», совсем как до революции. Свобода, блин. На рехов Арлозоров можешь купить себе пистолет, а в воинской части – бутылку бренди. Новоиспеченные владельцы пистолетов были те, кто вместо воды наливал себе полную флягу бренди. Я спросил у одного москвича лет сорока, игравшего на рояле – а помимо того еще в казаки-разбойники, – зачем ему пистолет. В ответ я услышал: «У каждого русского интеллигента в ящичке письменного стола должен лежать пистолет».

А что как у Симы Арлозоровой мозги были устроены сходным образом? Взять героинь немых фильмов – белоруких, порывистых, с насурмленными глазами: «В сумочке у каждой порядочной женщины должен лежать пистолет». В Симином случае это кончилось бы плачевно. Ставим себя на место двух гавриков. «Полундра! У бабы пушка!»

Рабинович стрельнул,
Стрельнул, промахнулся.

¹⁷ «Бегин царь Израиля!», «Арик (Ариэль Шарон) царь Израиля!»

¹⁸ После многолетнего судебного разбирательства Багац (Высший Суд Справедливости) позволил убийце Ицхака Рабина использовать свое семя по назначению: одна репатриантка из России, ставшая ему заочно женой, родила от него ребенка. Это произошло осенью 2007, в двенадцатую годовщину убийства.

И тут действительно задаешься вопросом: почему за первым выстрелом сразу не последовал второй? Пускай такой же меткий – конечно, при условии, что их наган был в состоянии его произвести. Под направленным на тебя дулом успеть пальнуть, не в того попасть и этим ограничиться? Пуститься бежать, чтоб пристрелили? Да палец сам будет нажимать и нажимать гашетку. Заело? Тогда подавно бы раздался второй выстрел – в тебя! Разрядила бы тебе вдогонку всю обойму и лишь потом бы кинулась к раненому.

Это пулянье, с какой стороны ни посмотри, одним выстрелом бы не ограничилось. В Горьковском театре в Магдебурге как-то ставили «Евгения Онегина» (у меня там была халтура). Режиссер, задумав актуализировать Чайковского, перенес действие в современную Россию. В сцене дуэли два выстрела, второй – контрольный.

Нет, боюсь, никто в Симу не стрелял. То есть я потом расскажу, как было в реальности, это мне известно доподлинно, но всему свое время. Пока что я еще как бы ничего не знаю. Скажу только, противореча себе же: распутать до конца эту историю с убийством на пляже невозможно. Это палестинский «Расёмон». Я имею в виду фильм Курасавы – о том, что есть свидетельство, вернее о том, что нет свидетельства, оно – невозможно, никто не может быть свидетелем, только – участником. Жена убитого самурая выгораживает себя, но мы не знаем, в чем ее вина, – мы знаем лишь, в чем ее позор. Овладевший ею и убивший ее мужа разбойник тоже что-то пытается утаить – что помешало бы ему выглядеть героем, «джедой». Наконец, убитый, чьим басом вещают уста прорицательницы, даже он лжет. Об этом мы узнаём из рассказа дровосека, который находит его тело в чаще, – две странички текста Акутагавы, лежащие в основе сценария, так и называются: «В чаще». Но когда один из слушателей уличает во лжи самого рассказчика, тут мы понимаем: реальность невозможна. Каждому есть что скрывать – если бы только знать, что. Что скрывает Сима, вдова самурая? Что скрывает разбойник, помимо того, что скрывается сам? О чем бы умолчал Арлозоров, явись его дух следователям, подобно тени Самуила? Странная рассеянность, которая вдруг овладевает им на обратном пути из Европы в Палестину – что за этим стоит?

Перипетии его путешествия удивительны. По явно надуманной причине опаздывает на пресс-конференцию – якобы, выйдя из гостиницы, заблудился, соответственно не успевает на поезд. Это было во Львове (т. е. в Лемберге, запомнили, да?). Из Кракова до Вены, где его должны встречать, добирается третьим классом, из-за чего так и не был встречен. Там же неожиданные проволочки с итальянской визой, хотя все было заблаговременно согласовано, и римское представительство Сохнута получило письменное подтверждение. Письмо, отправленное в Вену курьерской почтой, однако загадочным образом затерялось. В последний момент он отказывается от идеи лететь в Рим самолетом – все из-за той же визы, и велит шоферу ехать на вокзал, но отправляется не сразу, а позднее, как если бы опоздал к поезду (повторяется львовская история). Железнодорожных приключений на один сантиметр рельсов столько, что трудно поверить в их случайность. В Италии проезжает свою станцию, разбивает окно вагона – так поступает герой фильма Хичкока, предпочитая быть задержанным полицией, чем убитым германскими агентами, которые гонятся за ним по пятам. Уезжая из отеля, он забывает там паспорт – не в попытке ли сбить кого-то с толку? В Вене не доставленное в посольство письмо, здесь – не доставленная в гостиницу телеграмма с просьбой срочно прислать паспорт. От Рима до Неаполя поездом два с половиной часа – тот, кто видел его на вокзале с уже заполненным телеграфным бланком, пусть думает: на пароход он успевает. Он вдобавок еще и протелефонировал в гостиницу, но не раньше, чем стало ясно: телеграмма не получена, на пароход ему не

успеть. Но каково же его изумление – для полноты картины примчавшегося в порт с высунутым языком: пароход стоит, отплытие задержалось ровно настолько, насколько он опоздал. Счастливое совпадение? А он-то уже телеграфировал в Иерусалим, чтобы в четверг его не ждали, и Симе – чтоб не ехала в Александрию его встречать: тринадцатое число, дурная примета. Небось ахнула... Из Каира отправил ей другую телеграмму: чудом успел повсюду, она может сесть к нему в поезд в Реховоте, номер вагона такой-то. И пусть позвонит в его иерусалимское бюро.

Немецкая часть европейского турне Арлозорова была окутана завесой тайны, как если б за этим и впрямь скрывалась любовная история, – а сколько любовных историй завершается вот так, выстрелом, включая и выстрел в гениталии, если речь идет о мужском соперничестве. А куда, вы думаете, метил Дантес, в колено? Подвел незнакомый гладкоствольный пистолет, как объяснил бы мой референт.

Согласно официальной историографии, «в 1933 А. активно участвовал в орг-ции массовой алии евреев из нацист. Германии» («Краткая Еврейская Энциклопедия»), «был в числе немногих, кто понимал всю угрозу, которая нависла...» и т. д., нехота пользоваться штампами, девальвирующими всякий смысл, тем более и миссия его была, в сущности, двусмысленная. Писала же – утром 16 июня! – ахи-меировская «Хазит ха-ам» («Народный фронт») о «пакте Сталина – Гитлера – Бен-Гуриона», – что при посредничестве своего дружка Сталина левые сторговались с нацистами: вы не хотите иметь у себя евреев, и мы не хотим, чтоб вы их у себя имели. Поддержите нас в стремлении создать свое государство, а мы на предстоящем Сионистском конгрессе, где располагаем большинством голосов, выступим против экономического бойкота Германии, к чему призывают влиятельные еврейские круги во всем мире.

Девиз «чем хуже, тем лучше» никогда не был чужд левым прагматикам – может, и правым, они ведь два сапога пара, но за левых ручаюсь, пример большевиков перед глазами. Бен-Гурион в шутку мечтал о сотне белокурых еврейских «бохеров»,¹⁹ которых откомандировать бы в галут, чтоб навели там шухеру среди местных евреев: глядишь и начнут паковать чемоданы.

Арлозорову не стоило особых трудов убедить «товарищей» не упустить момент и начать секретные переговоры с немецким правительством, поручив эту деликатную миссию ему. Внешняя политика – это по его части, Германия – его конек, немцев он знает как облупленных, намекнул на свои немецкие связи, не уточняя, что под этим подразумевает, а то Сима его убьет.

Ударить по рукам с нацистами не получилось. Для любого альянса нужен партнер, вступить в альянс с самим собою нельзя. Арлозоров поставил на «железную логику» немцев и проиграл. Редкий случай, когда именно проигравшего не судят.

«Народ, который всегда знал истинную цену торговцам его честью, и теперь сумеет ответить на эту мерзость, происходящую средь бела дня на глазах у всего мира» – то же, слово в слово, могла напечатать не «Хазит-ха-ам», а брауншвейгский «Фольксфронт» про свой «фольк» – если бы договариваться о чем-то с евреями уже тогда не считалось для арийцев делом немислимым. К тому же действуя через свою бывшую возлюбленную, Арлозоров лично оказывается «вне права на упоминание» – с учетом столь ценимой им немецкой логики это означало «вне права на существование».

В сороковом году Яир Штерн (рехов Штерн), возглавлявший антибританское подполье, тоже пытался соблазнить немцев перспективой еврейского восстания в Палестине – в со-ро-ко-вом!

¹⁹ То же, что «бахурчик», – парень.

Арлозоров поплатился жизнью за то, что ничего не понимал, Штерн поплатился тем же – но за прямо противоположное: в разгар Битвы за Англию, когда уже пал Париж и существовало Варшавское гетто, понимание перестало быть привилегией избранных. (Если только за спиной у Штерна не стоял кто-то, «на тот момент» открыто принявший сторону Германии и менее всего желавший, чтоб Англия вышла из войны – тогда, по крайней мере, со Штерном и его группой все ясно.)

«Чем хуже, тем лучше», это начертано на резиновых скрижалях. «Плохо» – понятие растяжимое. Еще хуже... еще хуже... ну, еще немножко... В жизни всегда есть место худшему. Ради неизбежного потом улучшения эту резину можно растягивать до бесконечности... щелк! Все лопнуло. Теперь хуже некуда: нечего улучшать.

У Шмуэля Каца своя логика. Низкая раскрываемость преступлений – причина, а не следствие плохой работы полиции. Что и привело к судебной ошибке в деле Ставского. Так, по крайней мере, получается. Надо спешно поднять раскрываемость, в спешке берут не тот след и уже не могут остановиться. На старте кнут, на финише пряник. И надо всем отчетность. А то, что выражена она в цифрах, а то, что с точки зрения статистики нет разницы между поимкой убийцы и умением свалить убийство на какого-нибудь Ставского, ставшего ненароком на пути у следствия, – об этом кручинились лишь в тех редких случаях, когда вдруг шильце вылезало наружу, к стыду и посрамлению полиции.

Воспользуюсь автоцитатой как трамплином, чтобы продолжить: «У преступления не бывает мотива, в крайнем случае, мотив служит лишь предлогом, но не каждый преступник настолько благовоспитан, чтобы утруждать себя его приисканием. Логичнее предположить, что зло обусловлено самой природою своею, оно беспричинно и творит само себя. Иначе позволительно спросить: чем мотивирована добродетель?» Снова мы оседлали эту мысль, якобы Стендаля. Мои мысли – мои скакуны.

С древнейших времен дознание строится на принципе *cui prodest*? А значит, практически невозможно вычислить, кто стрелял в Арлозорова, это может случайно открыться в результате невероятного стечения обстоятельств (причем прошляпить счастливую случайность проще пареной репы: не счесть выловленных бутылок, вместе с бесценными посланиями прямехонько угождающих в пункты приема стеклотары). У всех, на кого ни посмотришь, был мотив убить Арлозорова. У арабов он был – коли безнаказанно, это завсегда. Это как для меня плюнуть в тарелку Меиру Вильнеру. Но и у коммунистов, заподозренных в первую минуту всеми, и лейбористами, и ревизионистами, и полицией, мотив тоже был. Это только для Ахимеира и его бражки Сталин – «друзок» социалиста Бен-Гуриона, посредничающий между ним и Гитлером. С равным основанием можно называть Чернышевского «дядькой большевизма». Некий монархический печатный орган так и сделал в своей рецензии на книгу Годунова-Чердынцева о Чернышевском – помните? Я намеренно подрулил к набоковскому «Дару», писавшемуся в тот год, когда происходило турне Арлозорова по Германии: в романе упомянута некая вилла, где бывали и Годунов-Чердынцев, и его прототип, и другие «заслуженные деятели искусств российской эмиграции» – нет смысла перечислять их по именам: получится весь русский Берлин *in corpore*.

Я имею в виду дом доктора Эйтингона, вскоре оказавшегося в Палестине. Его фотография, наряду с еще тремя или четырьмя портретами, украшала «предбанник» главного корпуса лечебницы для душевнобольных в Тальбии.²⁰ С этим проклятым Богом местом меня связывает... хочется забыть, что именно, – может быть, самая печальная страница моей иерусалимской жизни. Лишь много лет спустя я соединил имя сего маститого психоаналитика с именем известного чекистского киллера.

²⁰ Один из центральных районов Иерусалима.

А между тем двоюродные братья были близки. Павел Судоплатов вскользь упоминает, что в конце двадцатых Наум Эйтингон находился под началом известного нелегала Серебрянского, который позднее отличился в деле с похищением генерала Кутепова, а до того, как пишет Судоплатов, «работал в подмандатной Палестине» – в этом «работал» мне слышится скромно-горделивое:

Работа у нас такая,
Забота наша простая,
Была бы страна родная,
И нету других забот.

Проживший мафусаилов век Судоплатов, креатура Бери, двадцать лет провел в заключении. Однако перед смертью высунулся из своей щели. Он пишет книги, появляется в кадре бульварно-документальных сериалов, от которых несет Лубянской, как из отхожего места. Внешность его запоминается (что с убийцами случается редко). Если говорить честно, то она завораживает. Под арочными сводами бровей горят голубым пламенем гарны очи, речь стелется, что твой туман над рекой. Подобно великому артисту, что на склоне лет вспоминает свой триумфальный дебют в «Ла Скала», этот перенесший инсульт розовощекий полуслепец рассказывает, как при помощи бонбоньерки взорвал в кафе доверившегося ему самоистинника Ковальца (смею думать, Ковалец был не единственным посетителем этого кафе).

От Эйтингона Судоплатов в совершенном восхищении. Ни тени ревности к его звездному успеху – там, где сам Судоплатов потерпел неудачу: не он снискал себе лавры убийцы Троцкого. Он бескорыстен в своем служении музам Лубянки, он беззаветно предан своему делу, своему искусству, своему ордену, неважно, кто там нынче разбегается по паркету Георгиевского зала. Неужто ему и впрямь неведомо чувство соперничества, неужто его ни разу не посещала «мысль ревнивая», что «ты, Нёма (или Леня – как уж он называл Эйтингона), когда я вышел, ты уже десять лет как был на воле, даром что сознался: мол, через своего братца Макса, оказывается, руководил подпольным фрейдистско-сионистским центром в психиатрической лечебнице в Тальбии. Конечно, ты – звезда, на тебе труп Троцкого, вон Испания за тебя горой: Долорес Ибарурри хлопотала о твоём освобождении. А я... чтоб спастись, я должен был сумасшедшего изображать».

Нет, Судоплатов ничем не выдал себя. «Разведчик божьей милостью», говорят про таких. («Смотри, Вовочка, хорошо учись, станешь как Павел Анатольевич, поедешь за границу».) А все же и он человек, хоть и волкодавистый, как сказал – не про него, про другого – наш минеральный секретарь, все же и ему, генералу Судоплатову, возглавлявшему Четвертый отдел бериевского МГБ, что-то человеческое не чуждо. Ну какие обольщения у него были в жизни? В отличие от блонкиных, эйтингонов, серебрянских и прочих местечковых волчат, он не приобщился к эсеровской «романтике террора». Если подумать, чем ему платили за то, что работа у него «такая»? Только не говорите, что отсутствием «других забот». Нам бы его заботы, и поверьте: остаток дней каждый из нас провел бы под присмотром доктора Эйтингона, без того чтобы симулировать в этом нужду. Слава? Лозунг «Слава чекистам!» звучит как «Сахар диабетикам!». В их кругу слава к оплате не принимается. Деньги? Их даже куры не клюют, предпочитают пшено, а вы хотите, чтоб люди – матерые, понимаешь, человечича! – на них клюнули. Как минимум уберите Ленина с денег, чтобы они хоть чего-то стоили. Власть? Сколько б ее у судоплатовых ни было, ровно настолько ее всегда будет больше у тех, кто над ними, – первый закон «властной вертикали».

Остается тайное знание, ради обладания которым писались закладные кровью, и даже не всегда чужою. Но тайное знание рождает чувство превосходства, которое под спудом не удержать, в его природе себя демонстрировать, другими словами, тянуть на свет божий то, что никак для этого не предназначено. Это и имел в виду Сказавший: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Особенно когда на тебя направлена камера. Пока Судоплатов кропал свои истории, он сообщал в них ровно столько, сколько считал допустимым сообщить. Про Палестину – ой, туманы мои растуманы.

«Еще с 1925 г. по директиве Дзержинского мы активно проникали в сионистские круги Палестины, создавая тем самым плацдарм для борьбы с англичанами. Особо разветвленную сеть в сионистском движении удалось создать в начале тридцатых годов Серебрянскому».

Открыл Америку. Да ишув²¹ кишмя кишел как профессиональными кадрами, так и мессианствующими дилетантами, теми, кому журавль в советском небе был милей сионистской синицы в руке. Ахимеир описывает одного такого:

«Коммунист Колтун закончил сегодня утром отсиживать свой шестимесячный срок и освободился. Я слышал, что его лишили палестинского подданства и собираются изгнать из страны. Коммунисты в восторге, что их выдворяют из страны. Во всем мире коммунизм – это своеобразная разновидность русского патриотизма. Изгнанные из страны коммунисты обычно отправляются в Россию. Глупцы: они еще будут плакать горячими слезами, вспоминая Сион.

Колтуну сорок с лишним. Взгляд утомленного еврея-интеллигента, шапка черных волос, которые не берет ни одна расческа, маленькие усики. Каждое утро Колтун с серьезным выражением лица тащит через весь коридор парашу из камеры в туалет. Он похож в эти минуты на человека, занятого чем-то очень важным. Видно: всем сердцем своим и всей душой своей он готов был исполнять эту заповедь отсидки. Не иначе как таскание параша в Центральной иерусалимской тюрьме входит в число занятий, приближающих пролетариат к мировой революции. Скоро Колтун вернется обратно в Россию. Там его, конечно, ожидают молочные реки с кисельными берегами. Пусть похлебают киселю. Желая ему этого от всего сердца».

Цитируя Ахимеира, мысленно отмечаешь перевод. Но выразить переводчику свою признательность крайне затруднительно: не указан адрес издательства, смущает и название: «Прогресс», ниже жирным шрифтом мелко набрано: printed in Eretz Israel.²² Такого государства на Земле нет. Год выхода 5756. Может, это на Сатурне? Во всяком случае, ни в одной точке земного шара в русские магазины эта книга не поступала. Хотя взялась же она, черт побери, у меня откуда-то, не приснилась же она мне.

Но вернемся к Судоплатову, чья книга («Спецоперации. Кремль и Лубянка», М., 1997) мне точно не приснилась. В ней Судоплатов не выходит за рамки, которые сам себе установил, руководствуясь чем-то своим, – хотелось бы знать, чем. Говорится о попытках связаться – на исходе войны – с агентом, внедренном в группу Штерна еще до разгрома разведсети Серебрянского. Сам Серебрянский угодил в тридцать восьмом в бериевский застенок. Спрашиваешь себя, где тут вранье? Хотел, что ли, упредить мой ход мыслей, отвлечь от подозрений, что агентом спокойно мог быть не кто иной, как Яир Штерн? Чистой воды азевовщина? А почему бы и нет – в прошлом башкирский комсомолец, пламенные стихи, в детстве ходил в хедер.²³

²¹ Еврейский анклав в Палестине.

²² Эрец Исраэль – Земля Израиля.

²³ Начальная еврейская школа для мальчиков в черте оседлости.

Мне бы это в голову не пришло, мне подсказали – тем, что пытались это скрыть. Не учли: пишущий в своих текстах «проницательней» того, кто их читает. Автор поставил себя на место читателя и давай замечать следы: мол, в группе «Штерн» (так у Судоплатова) имелся свой человек. После гибели Штерна – от английской пули в спину, после ареста в Москве Серебрянского они в Четвертом отделе, видите ли, искали способ выйти на некоего агента. Судоплатов брешет не потому, что во главе «Лехи»²⁴ стоял на самом деле Азеф, этим можно гордиться, но тогда сразу становится понятным, по чьему заданию в сороковом году действовал Штерн, предлагая немцам свое сотрудничество против англичан, которым был готов стрелять в спину. Что ж, *similia similibus*.

Бедняга Ахимеир палестинских эсдеков считал рукою Москвы, а еврейский «фронт отказа», готовый до последнего вздоха биться с англичанами, наоборот – заговорённым от чар прелестницы Лубянки. И все на том основании, что правые клянутся Мосадой, Бар-Кохбой, Тель-Хаем, а не Марксом. Несчастный! Если кто и стоял в Палестине поперек дороги Коминтерну, то никак не «крайний реакционер» Жаботинский, а социалисты Бен-Гурион, Вейцман, Арлозоров (как поперек дороги Ленину стоял не монархист Корнилов, а эсер Чернов).

Судоплатов старый конспиратор – в свои-то под сто! – но перед телекамерой *выступил*: пусть не забывают градус его посвящения. Знаете, как отстоял он приговоренного к расстрелу Серебрянского: «Берия был слышан только о похищении Кутепова. Тогда я ему рассказал, как проходила разработка одного объекта в Палестине». Больше ни слова.

А больше и не надо. Кроме Арлозорова некому быть этим объектом. Других громких убийств ищув не знал. Ведавший иностранной политикой доктор экономических наук Арлозоров – помеха Коминтерну. Вынужденно лояльный англичанам, препятствовавшим заселению Сиона евреями, он втайне искал на них управу – у кого угодно: у немцев, у итальянцев, только не у русских. Россию, русских, извративших экономическую теорию Маркса, этот выученик берлинского университета презирал.

ОГПУ с полным основанием могло считать «ликвидацию Арлозорова» мастерски спланированной операцией: это убийство, в особенности если было совершено чужими руками – неважно чьими, правых сионистов, арабов или безродных киллеров – не просто избавило нас от неудобного политика, но и довело до точки кипения еврейскую междоусобицу, к которой мы, коммунисты, как видите, непричастны.

В пользу того, что нападавшие представляли интернационал уголовников, говорят первые показания Симы, с началом «гипнотических сеансов» взятые ею назад: у маленького... ну, того что стрелял, типично восточная жестикуляция, высокий же скорей всего еврей... ну, который был с фонариком, в Halstuch'e, повязанном морским узлом, как у шерифа в «Seven Horsemen of the Apocalypse». (Чего мелочиться, кто их считал? Кстати, этот фильм после войны показывали в СССР: «Семь-ро каких-то там» – смелых... великолепных... Редко, но среди «кинотрофеев» попадались и немые.) По словам пианистки Нади Рейнхарт, Сима смотрела его в «Эдисоне». Рейнхарт всегда проводила их со свекровью без билета, если в тот вечер играла. Она это хорошо помнит. Еще бы! Когда они вернулась, Симу ждала телеграмма: «Не езжай Александрию тчк тринадцатое число». Вы бы посмотрели на Симу.

²⁴ «Лохамей Херуг Израэль» – «Борцы за свободу Израиля», подпольная террористическая организация. Ей приписывается убийство графа Бернадота, посредника ООН между евреями и арабами. В шестидесятых годах в СССР демонстрировался фильм «Убийство в тихом квартале» (производство ОАР) об убийстве людьми «Лехи» лорда Мойна.

А вот «Расёмон», который семнадцать лет спустя шел в том же «Эдисоне», вдова Арлозорова вряд ли видела. Не потому, что должность тапера уже была упразднена, и не потому, что «Расёмон» – это скучно, это тебе не «Seven Horsemen of the Apocalypse» или, на худой конец, «Семь самураев». И даже не потому, что семнадцать лет уже, как она не снимала траур. Просто в определенном возрасте, что-то накопив, а что-то растеряв, ты перестаешь ходить в кино.

А я был на «Расёмоне» раз двадцать. До сих пор в ушах голоса дублеров. Макогонова, заходящаяся в истерике. То, как разбойник похваляется убийством, которого не совершал. Кто разбойник в нашем случае – Абдуль Маджид? Или тот, кто докладывал Серебрянскому, что задание выполнено, – приписывая себе чужую доблесть или чужую низость? Если судоплатовская контора и записала Арлозорова на свой счет, это еще не означает, что так оно и есть. Говорите, у них был мотив? Но и у других был мотив. И у третьих. Пение хором одного и того же мотива – грегорианский хорал в криминалистике. Из одного пистолета произведен один единственный выстрел сразу несколькими людьми. Это пахнет «Убийством в "Восточном экспрессе"».

Арлозоров мешал не только Москве, и не только бейтаровцы Жаботинского смотрели на него с очищающей душу ненавистью. Как известно, за Альбионом утвердилось два эпитета: «туманный» и «коварный». Над Темзой тоже стелется туман, бывает, тоже не видно ни зги. Душа Штерна покинула тело, привязанное якобы к стулу, через пулевое отверстие в спине. С именем Лоуренса Аравийского связывают – бездоказательно, правда, – несколько смертей. Англия поддерживала контакты с Виши, понимая, сколь жестоко это по отношению к де Голлю» (Черчилль). А убийство флотоводца Дарлана, слишком строптивного, чтобы иметь его своим союзником, и слишком влиятельного, чтобы им пренебречь, – кем бы ни было это убийство совершено? А бесчисленные покушения на Ганди, который с факирской ловкостью оставался всякий раз цел и невредим, пока однажды – *факир был пьян, и номер удался?* «Агент с правом убийства» впервые было произнесено по-английски (в Англии права соблюдаются, это при мадридском дворе процветает рыцарство плаща и кинжала).

Несмотря на дружеские ланчи с верховным комиссаром Ваучопом, несмотря на положенное выстаивание в компании цилиндров, фесок и фуражек по таким торжественным случаям, как переименование в честь Георга Пятого главной автожужевой магистрали Иерусалима, что высекалось в мраморе на трех языках, английском, арабском и еврейском, или открытие железнодорожного туннеля в Рош-ха-Никра, другими словами, несмотря на всевозможные изъятия начальником внешнеполитического отдела Сохнута своей благонамеренности, *неофициальный* Лондон видел в Арлозорове единомышленника тех, кто спустя полтора десятилетия взорвет этот самый туннель в Рош-ха-Никра, сделав достоянием истории железнодорожное сообщение между Хайфой и Бейрутом. Больше того, хуже того: *неофициальный* Лондон видел в берлинском докторе Арлозорове их сподвижника, своими вояжами по Европе им всячески споспешествовавшего.

В заметке «Арлозоров» пугливая, со страху аж присевшая на корточки («Да» и «нет» не говорить, губки бантиком не строить, а самое главное, «красное» и «черное» не называть»), «Краткая Еврейская Энциклопедия на русском языке» – не смешивать с «Краткой, насколько это возможно, Еврейской Энциклопедией» издательства «Бесейдер» – радостно цитирует письмо Арлозорова Вейцману. «Радостно», по-другому не скажешь: русские, что чредой выходят из Советских недр, как на подбор – все за правых. А надзирает за ними («Арлозоров» на «А», том первый, 1976 год) недреманное око номенклатурщиков из старой социалистической гвардии. Не привыкать: пишешь одно, думаешь другое. И вдруг нечаянная радость: возможность испытать к этому долбаному социалисту искреннюю симпа-

тию. Оказывается, незадолго до смерти душа у него взыграла. Он пишет Вейцману, тоже Хаиму, – от нашего стола вашему столу, – что «цели сионизма не достижимы без перехода к военному правлению, организованному еврейским меньшинством на то время, пока оно не станет большинством или не будет достигнут численный баланс между двумя народами путем постоянной иммиграции и строительства поселений. Необходимо самим управлять государственной машиной, создать свою администрацию и армию, иначе мы будем сметены восставшим против нас большинством. Может быть, своим высказыванием я подрываю основы того, во что мы верили, чем дорожили столько лет. Может быть, высказанное мною находится в опасной близости к тому популистскому направлению в политике, которое мы всегда отвергали, может быть, сама идея захвата власти покажется поначалу несерьезной, химерической...».

Может быть (думает автор статьи в «Краткой Еврейской Энциклопедии»), он прозрел? Глядишь, примкнул бы к Жаботинскому, сошелся бы со Штерном. Но эти последние соображения могли прийти и в английские головы – а я надеюсь, что там это письмо прочли до того, как в 1949 году оно было обнародовано. И не потому, что я враг самому себе (своему народу, своему государству), но, как говорится в Писании, довлеет дневи злоба его. В свете нынешних диверсий и атак было бы весьма прискорбно, если бы английские спецслужбы ничего не стоили.

Они и прочли. С виду умеренный, умеет произносить тосты, а сам готовит вооруженное восстание. И возможности у него совсем иные, чем у этих санкюлотов – поименно перечисляются названия улиц: рехов Штерн, рехов Ахимеир. В сущности, разница между Яиром Штерном и Арлозоровым в том, что последний для англичан во сто крат опасней. Он колесит по Европе, у него есть цилиндр и визитка, его принимают всерьез. Что он делал в Германии – он, который от нее без ума? Шестилетним родители привезли его туда, спасаясь из России. Бегство в Египет! Он рос египетским патриотом, учился в известной берлинской гимназии, издавал школьную газету, в которой обрушивал проклятья на «трехглавую гидру», как тогда в прессе называли Англию, Францию и Россию.

Участь его решена. Только решение принималось не по ходу дела, как было с пособником врага в военное время Яиром Штерном, а в узком кругу седовласых джентльменов в Лондоне и соответственно осуществлялось иным способом, помимо прочего предполагавшим ответственность за это возложить на третьи лица.

В «Расёмоне», не зная кому верить, вдове самурая или его убийце, судья приказывает вызвать дух убитого, который свидетельствует устами прорицательницы, заговорившей вдруг басом. Однако рассказанная самураем история внушает не меньше сомнений, чем две предыдущие.

Так и здесь: мертвый самурай, его вдова, знаменитый разбойник (ОГПУ? Интеллигент Сервис? Гестапо? А что вы думаете, и у тех был мотив, об этом впереди).

Тень Арлозорова своими показаниями окончательно запутала бы следствие. Человек не обо всем может рассказать даже посмертно. «Нет, Сима, нет», – тихо, по-русски – когда она стала кричать: «Евреи убили его!» В больнице, пока находился в сознании, он настаивал на том, что это были арабы. Выгораживал своих? Или хотел сказать: «Нет, Сима, нет, надо все изобразить иначе. Пусть эти двое и были евреи, но мы же знаем, кто стрелял. Лучше скажем, что это арабы».

Так что же Хаим Арлозоров делал в Германии? У Симы на сей счет сомнений не было: ищите женщину – и обрящете истину.

Она была его второй женой (о первой ничего не знаю, брак был непродолжителен, из дневника, который приводится ниже, тоже ничего не следует). На время ремонта квартиры Сима с сыном перебралась к свекрови, а там были «свои понятия» плюс гипертрофированное представление о чести, которой, заслуженно или незаслуженно, это еще посмотрим, ее осчастливил Витя – так звали Арлозоро-

ва в семье, что дало основание «Краткой Еврейской Энциклопедии» наречь его в скобках Виктором, хотя в действительности он был Виталий, отсюда и Хаим, а не Авигдор – имя, традиционное для конвертированных в сионизм Викторов – тогда как «Витя» здесь уменьшительное от «Виталий», о чем русские составители «КЕЭ» могли бы и догадаться.

Насколько свекровь была дамой со «своими понятиями», настолько в невестки ей досталась «девушка с характером». В кинозалах тех времен «девушки с характером» беззвучно произносили: «В сумочке у каждой порядочной женщины должен лежать пистолет». Мы это уже читали – в субтитрах. С этими словами героиня опускает руку в сумочку и стреляет сквозь нее.

Сима Арлозоров в роли подозреваемой. Убежденность Ставского, что стреляла она, не встретила у защиты поддержку: она опознала его, а он опознал ее, так, что ли? Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку? В глазах судей Ставскому это только бы навредило. И без того ему не повезло с фамилией: почти что «Ставский»²⁵ – перед мысленным окном возникают многотысячные февральские толпы парижан: «Антисемиты всех мастей соединились!» Дело защитника – защита обвиняемого, а не правдоискательство. Последнее – в компетенции писателей, русских писателей. В моей, с вашего позволения.

Забудем на минуту, что Сима в тот вечер была без сумочки. В одном романе на этом же строит свое алиби женщина-убийца. Но провести мисс Марпл ей не удастся: орудие убийства заранее было спрятано в цветочном горшке. На пляже песка еще больше – нет-нет, я не теряю надежды найти Симин пистолет. Я что, хуже мисс Марпл? Но раньше, чем пуститься на поиски, напомним заключение моего эксперта: «дамский» браунинг (6,35 мм) простреливал пятисантиметровый сосновый брус с двадцати пяти метров. Уже одно это снимает с вдовы Арлозорова все подозрения: пуля должна была пройти насквозь, иначе какой же это «хорошенький пистолетик, который не стыдно держать в сумочке». Но я решил так легко не сдаваться и дал волю своему азарту – к слову сказать, азарт и волю сегодня часто путают, принимая первое за второе.

И что же я «надыбал» – вот уж точно не в журнале «Техника – молодежи». Если стреляли действительно из «русского нагана», то в СССР в эти годы выпускался «командирский» наган – для учебно-тренировочных стрельб, хотя кое-кому из высшего командного состава он служил личным оружием. Калибр у этой модификации 5,6 мм, ствол укорочен. Человека, может, насквозь и не прострелит, но в дамской сумочке поместится. И патрон у него неприметный: не центрального боя, а так называемого бокового воспламенения. По пуле не определишь, только по гильзе. Гильзу же наган не выбрасывает, их потом извлекают из барабана шомполом.

Предположить, что в руках у Симы оказался этот револьвер? Но в свободную продажу он не поступал (за границей), на черном рынке не продавался: слишком уж средненький ствол. Вывод напрашивается сам собой. Ей передал его кто-то (вместе с несколькими пачками патронов), связанный с Красной армией. Или не с армией. Но то, что с СССР, – это бесспорно.

И все же не будем спешить с выводами. Пуля от «русского нагана», говоришь? А с пулями была чехарда. Как утверждает Шмуэль Кац, пуля исчезла, не то по чьей-то злой воле, не то по чьей-то вопиющей безответственности. Опять же не совсем понятно, произошло это в полиции или еще в больнице. Как бы там ни было, пуля не фигурировала в обвинительном заключении – иначе, считает Кац,

²⁵ Александр Ставский, родом с Украины, центральная фигура финансового скандала во Франции, в котором были замешаны министры социалистического правительства. Всплеск массового возмущения привел к росту националистических настроений, чем воспользовались ультраправые, подняв антиреспубликанский мятеж.

обвинять пришлось бы Ису Дервиша, а не Ставского. Тевет не так категоричен, к нему присоединяется и консультировавший меня эксперт: в отсутствие гильзы, по бесформенному кусочку свинца, установить мало что возможно. Экспертиза не всемогуща.

Зайдем с другой карты: они накануне ссорились. Сима этого не отрицала: на пляж они отравились выяснять отношения после «стычки». Она была вне себя. Причины? Ревность, как правило, беспричинна. Большинство ревнует мимо, не по адресу. Правильный адрес искусно драпируется, для чего ревность направляют по ложному пути, если только сознательно не стремятся ее разжечь – в отместку или «пробудить воспоминания», или из какой иной корысти. Коварство умеет делать это и на пустом месте, но тогда оно исходит не от тех, кого ревнуют. С учетом тогдашней моды на стрелковое оружие, Симе могли и помочь почувствовать себя оскорбленной. И здесь важно не плясать от «русского нагана», вписывая тем самым еще одну героическую страницу куда ни попадая. Не будем на роль Яго непременно назначать агента Москвы по кличке Колтун. На родине Шекспира виртуозов по этой части должно хватать. Разве что Сима – «девушка с характером», हुईдалась ли она в такого рода помощи? А стрелять можно было из чего угодно, был бы подойник – была бы сумочка.

Была. Могла быть. Объяснить, откуда? Ах, ваше высококобие, все, что было, имеет свое объяснение, включая и то, чего не было, при условии, что это могло быть (Аристотель, «Поэтика»). И только если б этого не могло быть, «потому что не могло быть никогда», – логическая формула в духе Козьмы Пруткова – только тогда мы вступили бы в область необъяснимого.

У Симы не было сумочки, утверждает Кете Дан, которая дала ей носовой платок. За отсутствием кармана, скомканный (женские платки полагается комкать), он может быть засунут в рукав – например, учительницей, оставляющей свой портфель в учительской. Как-то раз на немецком Сеня Крупин – острый глаз, родители художники – заметил, что у Маргариты Михайловны из рукава торчит платок с таким же парусным корабликом, какой у нее на комбинации. Под столом у всех учительниц виднелась комбинация, у одних аккуратненько, самый краешек, а у «немки» всегда мятежный парус.

Стало быть, Симе потребовался платок, в рукав платья или блузки сунуть не удосужилась, разгуливать в кофте – которые обычно с карманом – жарко: Тель-Авив, середина июня. Это мужчинам полагается быть в пиджаках, хотя бы и с оторванными пуговицами.

Но свидетельство госпожи Дан решительно ничего не значит: из этого отнюдь не следует, что Сима была без сумочки, когда чета Арлозоровых выходила из отеля. Лучше скажите: не так-то просто убить человека, даже если он твой муж (смех за кадром). Ходить с пистолетом в сумочке – сколько угодно. То же, что сегодня молодой женщине ходить на курсы карате: а ну-ка тронь меня! Но стрелять, не то что в мужа – в его убийцу, стрелять вообще – это как стреляться самой, это как прыгать с десятого этажа из охваченного пламенем здания. «Страшное дело – гореть», поется в русской опере.

Стрелять, как стреляет преступник, умело, расчетливо, или стрелять как «эсерка Каплан», неумело, принося себя в жертву подвигу, – заметьте, себя, не того, в кого стреляешь, – ей-то с какой стати, спрашивается? Ну, возревновала, но не до смертоубийства же. Наверное, была немножко стервой, с годами могла бы стать ведьмой. Дорожила своим положением – жены высокопоставленного партийца, чье всемирно-историческое значение, как водится, преувеличивала: «Они убили Арлозорова!» – с этим криком бегущая по берегу. Все-все-все – слушайте страшную весть. (А навстречу ей другая женская фигура – с братской вестью: «Они убили Ратенау! Люди!» Берлин и Тель-Авив города-побратимы.)

Что могло толкнуть Симу на такой самоубийственный шаг, как выстрел в Арлозорова, – допустим? Условно говоря, письмо за подписью «Доброжелатель» с приложением дневниковых записей некоей жительницы Берлина – тех самых, что только сейчас стали доступны, извлеченные спустя полвека из сейфа, куда были положены «на сохранение». Такова воля ее семьи, если здесь уместно употребить это слово. Все, что осталось от ее семьи, – внучка, нашедшая утешение в ортодоксальном иудаизме. Бог в помощь.

Могу себе представить Симу за чтением этого дневника! Как он уцелел – тайна за семью печатями, но если б еще и сам Арлозоров остался в живых после всего там понаписанного, тогда бы я просто не знал, что думать о гестапо. Из всех «служб», с известной долей вероятности причастных к смерти Арлозорова, первым на очереди было гестапо. Пока Ахимеир со своими ребятами безобразничал на крыше Германского консульства в Яффе, под этой самой крышей готовилось то, в чем Ахимеира позднее же и обвинили.

Арлозорову было не жить. Не потому, что он Jude, и не потому, что он «министр иностранных дел», а убивать министров иностранных дел известного вероисповедания уже стало доброй традицией. Вряд ли Арлозоров, Виталий-Хаим, даже проходил как «объект разработки» – им мог быть «студент Ганс», если и вовсе не безымянная картонная мишень.

Помимо профессиональных агентов, Третьему рейху было на кого опереться в Палестине. И не только на людей Аль-Хосейни, сбегавшего в Ливан, а оттуда в Германию.²⁶ Еще со времен Блистательной Порты,²⁷ уделявшей лишь малую толику своего блеска святым местам, в Палестине проживали немцы-колонисты. Образцовые немецкие хозяйства продержались в Галилее до начала Второй мировой войны.

Голос израильского старожилы: «Жили дружно, по праздникам ходили друг к другу в гости. Они танцевали в своих костюмах, а музыканты наши». – «А флаг со свастикой как же?» – «Мы тогда этого не понимали. Мы же здесь жили, не в Европе».

И в Парагвае, и в Капштадте, и в Палестине «сохранялась немецкая культурная жизнь»: детские сады, библиотеки. Открывались отделения «гитлерюгенда». Наряду с Русским подворьем в Иерусалиме есть Немецкая Слобода (Мошава Германит), не утратившая своей респектабельности и поныне, что подтверждено ценами на рынке недвижимости.

Однако тщетно в ахимеировской рубрике «Из блокнота фашиста» искали бы мы заметку «Эйхман в Иерусалиме», о пребывании Адольфа Эйхмана в Палестине в 1937 году: оберштурмбаннфюрер СС решил «ознакомиться с ситуацией на местах» (британцы выставят его только спустя сутки). Чего я не знаю и о чем никогда не слышал, это о психологическом аспекте германо-германских отношений²⁸: когда немецкие колонисты, полвека как осевшие в Палестине, встретились со вчерашними жителями Берлина, Франкфурта – «немцами Моисеева закона» (т.е. закона, открытого Моисеем Мендельсоном²⁹). Встретились две Германии и не

²⁶ Аль-Хосейни – Иерусалимский муфтий, непримиримый враг еврейской колонизации Палестины, последовательный сторонник сближения с нацистской Германией, в годы войны активно содействовал формированию частей СС из числа боснийских мусульман.

²⁷ Официальное название правительства Османской империи.

²⁸ «Deutsch-deutsche Beziehungen» – понятие недавнего прошлого: политические контакты между «двумя Германиями» в период существования ГДР.

²⁹ Моисей Мендельсон – еврейский философ-просветитель (дед композитора), с которого Лессинг списал своего «Натана Мудрого», родоначальник еврейской эмансипации в Германии. Вообще же под «Моисеевым законом» понимается «Пятикнижие Моисеево», другими словами, иудейское вероисповедание.

знают, куда девать глаза? Или любовь к родине превозмогла всё – и, глядишь, уже два притопа, три прихлопа, и уже баварские куртки, а на женщинах передники, а кто на новенького, вчерашняя первая скрипка Ганноверской оперы, те наигрывают что-нибудь из «Фрейшюца».³⁰ Знаете ли вы, что на базе Сохнута в Берлине действовало посредническое бюро «Ха-Авара»:³¹ репатрианты могли спасти часть своего имущества, финансируя немецкий экспорт в Палестину. Вот почему, несмотря на все призывы американских евреев к экономическому бойкоту Германии, по словам Ханны Арендт, «Палестина была наводнена товарами с клеймом "Made in Germany" (Ханна Арендт, «Эйхман в Иерусалиме»).

Заняться Арлозоровым по отмашке из Берлина было кому и в Тель-Авиве. Доказательств этому нет, презумпция невиновности распространяется и на гестапо, но – как сказал про скрипичный концерт Мендельсона знаменитый одесский учитель Столярский – «мотив насвистывает каждая птичка на дереве». Это если искать мотивы...

Я приведу некоторые из дневниковых записей, сделанные девицей Фридлендер, в замужестве Квандт. А набралось их на увесистый том – даром, что в мягкой обложке, даром, что из дневника исчез, к великому сожалению публикаторов, «интереснейший материал, относящийся к жизни супругов Квандт в Америке». Так было удалено чьей-то заинтересованной рукой почти все, связанное с тогдашним министром торговли Гувером. Исключение – и то имевшая место намного позднее, уже в годы президентства Гувера – злополучная поездка в автомобиле с его племянником, обернувшаяся полуторамесячным гипсовым «поясом верности». Их спортивный «мерседес» врезался в телеграфный столб, едва лишь Херберт Гувер услышал те же слова, что и Сильвио в «Паяцах». («*A stanotte e per sempre tua sarò*»,³² – пропела я ему своим низким, чуть хриплым немецким голосом, который сводит американцев с ума, – в чем я имела несчастье лишний раз убедиться».)

В отличие от публикаторов, нам нет причин горевать об исчезновении американской части дневника, что могла быть экранизирована в духе «Великого Гэтсби». Арлозорова это никак не касается, а читать, какие все кругом ничтожества и кто из этих ничтожеств был во что одет, – ну совершенно неинтересно.

Последняя запись в дневнике датирована девятнадцатым июня тридцать третьего года – счастливой же мыслью вести его двенадцатилетняя Иоганна Мария Магдалина Фридлендер обязана подарку, который сделал ей ко дню рождения торговец кожгалантереей Рихард Фридлендер, – роскошному бювару с затейливой виньеткой, образованной из четырех букв: *JMMF*.

Начинается дневник словами:

«Сегодня первое октября 1913 года. Двенадцать лет – это когда с тебя спрашивают, как со взрослой. *Soeur Ursula*³³ того же мнения, Оскар (Оскар Ритшель, ее настоящий отец, в то время проживавший в Бельгии) того же мнения, значит, так оно и есть. В совершеннолетие я вхожу уверенной поступью. Отныне буду записывать свою жизнь, день за днем, все то, что посчитаю своим долгом донести до потомства. Девизом я себе избрала: *Desipere in loco*.³⁴ Моим счастливым числом будет семь – столько же у меня будет и детей: мальчиков и девочек. Моя счастливая буква *H*: Генрих Гейне³⁵

³⁰ Концертмейстер Ганноверской оперы Хенрик Принц не внял «утешному голосу» и закончил свои дни в Освенциме.

³¹ «Перемещение», «Трансфер» (иврит).

³² Этой ночью я стану твоей навсегда (итал.).

³³ Сестра Юрсиль. (фр.).

³⁴ Безумствовать там, где это уместно (лат.).

³⁵ Heinrich Heine.

И встает с улыбкой рыцарь,
И целует пальцы донны,
И целует лоб и губы,
И такое молвит слово...

Soeur Ursula говорит, что в моем возрасте читать Гейне вредно. И потом, что он не знал хорошо немецкий. "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten" – ce n'est pas allemande. Il faut dire: "Ich weiss nicht, was es bedeuten soll".³⁶ Soeur Ursula преподает немецкий, она из Австрии или откуда-то оттуда. Я ее любимая воспитанница».

Ниже – выдержки из дневника, по прочтении которого убийство Арлозорова предстает в ином свете, хоть бы и в ложном. Должны быть рассмотрены все версии, включая и «немецкую». С точки зрения мотива, она наиболее убедительна. Да и наиболее приемлема сегодня для всех. Сегодня! Недавно об этом и заикнуться «не моги», но вот идейная компонента оказалась выброшена на берег. Превратилась в музейный экспонат. О дивный новый мир, куда нас уносит потоком жизни и где водопровод снова будет важнее нефтепровода!

Золовка Симы, «Лизочка» (так ее всю жизнь все звали), на склоне своих дней отрекалась от бывшего символа веры или даже открылась в своем изначальном неверии: никогда она не верила в вину Ставского, всегда думала на немцев. Это только Сима до последнего вздоха – «до последнего патрона» – настаивала на своем. На своем крике: «Евреи убили Арлозорова!»

Говорит дневник. Он говорит, как прорицательница в «Расёмоне»: сперва голосом девочки, потом женщины, давно оставившей этот мир, и так страшно его оставившей – как, может, еще никто из женщин до нее.

«...А Lisotschka и говорит: ее лучшая подруга в Кенигсберге была тоже Фридлиндер,³⁷ только звалась Аней. "Выходит, я тоже должна стать твоей лучшей подругой?" – "Нет, – отвечает. – Просто хотела спросить, не родственница ли? У тех Фридлиндеров, у кенигсбергских, был парфюмерный магазин. Они решили остаться. А мы переехали. Ты ведь тоже из *понаехавших*". Может, и выдумала про "тех Фридлиндеров" – чтоб задружиться. А в какую школу я ходила в Бельгии? "А я воспитывалась в монастыре". – "Ты?.. Вы, что ли, христиане?" – "Герр Фридлиндер – мой отец. *Изделия из кожи Фридлиндера, Лейпцигерштрассе*. Хоть он мне как отец. Я его так и называю: отец. А по отцу я была бы Ритшель. Оскар Ритшель, он инженер и философ, первый муж моей матери». (9 сентября 1914 года. Разговор происходит на перемене. *Höhere Töchterschule* – «Школа для высокородных дочерей». Одна «высокородная» – еврейка из местечка Ромны, другая – дочь смазливой горничной от случайного постояльца.)

«13 сентября (чай у Лизочки).

Если честно, то было весело. Мать мила, но акцент злодейский. Может быть, даже чересчур мила: Лизочкин торт улетел под стул, и ей никто за это не выговорил. Шутят: "Еврейский лаун-теннис". Я со своими детьми буду строже».

«17 сентября.

А казаков-то быют. Сперва Танненберг, теперь Мазурское озеро. Фрау Арлозорофф в восторге: они бежали от погромов в Кенигсберг, но видите: их преследуют по пятам. Ничего, матушке России сейчас покажут. В Малороссии, откуда они родом, евреев грабят и убивают, включая детей. Малороссы свирепствуют. Кем надо быть, чтобы убивать маленьких детей? Одного не принимаю, почему в семье они говорят по-русски. Россию ненавидят, а сами говорят по-русски. Даже Лизочка

³⁶ «Не знаю, что бы значило это» – так нельзя сказать по-немецки. Надо говорить: «Не знаю, что бы это могло значить» (нем., фр.).

³⁷ Быть Фридлиндером в Германии почти то же, что в России – Рубинштейном.

с братом. Глупо. "А если вас примут за русских шпионов?" – "А у нас немецкие паспорта". Какая наивность, как будто не бывает поддельных паспортов. Ее брата я ни разу не видела. Он двумя годами старше нас. Учится в гимназии Вернера фон Сименса, там учится пол-Берлина евреев. Зато на круглые единицы».

«22 ноября.

(...) "Ты чего?" – "Да сметаны наелась... Витю избрали шеф-редактором "Вернер-фон-Сименс-Блеттер" – вот чего! Нет, ты представляешь?" – "Познакомила бы как-нибудь?" – "Ой, к нему сейчас не подступиться"».

«*Вещее воскресенье*.³⁸

Ходила гулять с Арлозоровыми в Тиргартен. (Еле упросила маму. Говорит: они дурно на меня влияют, у меня появились манеры, которых раньше не было. Глупости.) Нас было пятеро: Лизочка, ее родители и – внимание, снимаю! – шеф-редактор "Вернер-фон-Сименс-Блеттер" собственной персоной. В очках, но редактору прощительно. Его фуражка притягивает взоры. Дважды оглянулся один из гимназии Кайзера-Вильгельма (бело-красно-черные фуражки, сам толстый-толстый). А еще на нас все время пялился замухрышка из Фридерики-Аугусты (*bonnet violet*).³⁹ Повстречался и наш человек (огонь, черное). Друзья пожали друг другу руки, поговорили недолго и разошлись. После чего мы направились кормить лебедей. Среди них был черный с терракотовым клювом, по имени Ганс. Все принялись кидать Гансу, но он вытягивал шею, только когда кидала я. "Влюбился в вас, – сказал мне шеф-редактор. – Может быть, его настоящее имя Лоэнгрин?" – "Лоэнгрин был белый, и потом, он влюбился в Эльзу", – вмешалась Лизочка – хоть и тихоня, а свое счастье кто упустит. "Нет, его зовут Ганс"⁴⁰. Буква *H* – буква моего счастья". – "Выходит, у меня нет никакой надежды?" – "Выходит. Если только вы не смените имя и не превратитесь в какого-нибудь студиозуса Ганса". – "Я – в Ганса? А чем вам не по вкусу имя Виталий. Знаете, что оно означает? Что я буду жить до ста лет". – "А зачем вам так долго? Раз уж вы на *V*, то сделайте Виктор. Одна победа лучше, чем сто поражений". Что с ним стало! Такое услышать от тринадцатилетней. А Лизочка: "Я же тебе говорила, она необыкновенная". Самое интересное, что в бумагах он Виктор. Преподобный Виталиан – даже как-то смешно. Покормив птиц, и сами зашли перекусить в "Веймарер Хоф". "А правда, что у вас в Бельгии хлеба не едят?" – "Люди нет, только лебеди. А правда, что у вас в Кенигсберге пиво с хлебом пьют?" Принесли меню. Прежде чем уткнуться носом в свой листок, шеф-редактор снял очки, не спеша достал платок – но вместо того чтобы протереть стекла, с чувством высморкался. Я расхохоталась: перепутал зрение с обонянием. Они смотрят на меня в недоумении. Отговорилась первым, что пришло в голову: кельнер – вылитый отец. "А что тут смешного?" – спрашивает фрау Арлозорофф "с ноткой в голосе". – "Ну как – что? Герр Фридендер в кельнерском переднике". Боюсь, по своей материнской чуткости она догадалась. Виталия они с Лизочкой обожают наперегонки».

Следующая важная для нас запись относится к концу 1916 года.

«14 декабря.

"Путешествие в Лемберг", подзаголовок: "Еще одно свидетельство". Это скоро появится в газете у Виктора. Свидетельство мое, а опубликовано оно может быть только с разрешения Отдела прессы при Генеральном штабе Имперских Вооруженных Сил. Во-первых, Лемберг – граница, во-вторых, Лемберг лежит в непо-

³⁸ Согласно легенде, в отрочестве будущему императору Фридриху I *Огненной бороде* во сне явился ангел и протянул пылающий меч со словами: «Собирателю земель немецких». «Вещее воскресенье» – последнее воскресенье ноября, оно же первый адвент, – как государственный праздник был учрежден в эпоху грюндерства и просуществовал до 1919 года.

³⁹ Здесь: фуражка с фиолетовым околышком.

⁴⁰ По-немецки Hans.

средственной близости от полей сражений. За разрешением нам пришлось поехать в Потсдам. Какой-то нахал в "лондонке", лет двадцати, не меньше, галстук морским узлом, уселся напротив меня, расставив ноги. Виктора это взбесило. "Как вы сидите – здесь дамы". Тот угрожающе достает перочинный нож и начинает чистить яблоко. Виктор бесстрашен: "Если вы не извинитесь, вам несдобровать," – встает и рукой берется за стоп-кран. Мужчина побледнел: "Сумасшедший", – и быстро перешел в другое отделение. "Ты герой". – "По-твоему, это привилегия христиан – быть героями?" – "Почему ты говоришь *по-твоему*, когда ты знаешь, что на самом деле *по-моему* – что евреи самый великий в мире народ после немцев, а может, даже и наоборот, немцы после евреев, если по порядку". Уж кому-кому, а ему известны мои убеждения, он же "моим голосом" рассказывает о подвиге обер-лейтенанта Дейчингера. Как в великопостные еврейские сутки *Йон Кипер* обер-лейтенант Дейчингер отказался от предложения полковника не участвовать в боевых действиях. "Герр оберст, тогда пуля, предназначавшаяся мне, сразит кого-нибудь другого, и все скажут: оттого, что он еврей. Нет, больше чем когда бы то ни было, сегодня я обязан быть впереди". И в священный для евреев день *Йон Кипер* он повел свою роту в бой, из которого не вернулся. Это и есть еще одно свидетельство против тех, кто обвиняет евреев в трусости на войне. Отец выхлопотал для всех нас специальный пропуск в Австрию: вдова павшего героя – его сестра. Обер-лейтенант Дейчингер был торжественно погребен на еврейском кладбище в Лемберге в присутствии представителя Его императорского и королевского величества, передавшего фрау Дейчингер медаль "Чести" второй степени и письмо за собственноручной подписью: *Франц Иосиф*. (...) Едва мы вышли, как Виктор пристал ко мне: "А почему он тебя спросил, любишь ли ты Стендаля?" – "Почему-почему... Рассказывает же фрау Дейчингер, что, когда они с мужем только познакомились, они свои встречи держали в тайне. Любая записка, если над десятым словом клякса, значила, что он ждет ее в шесть вечера на скамье перед Grand Opera. К твоему сведению, эта клякса – из романа Стендаля". – "Ты все выдумала?" – "С чего ты взяла? Фрау Дейчингер тоже читала *Красное и черное*. Не о том беспокоись. Остались дети-сироты. Война закончится, об их отце скоро забудут. А чем расти без отца, лучше не родиться. Тебе этого не понять"».

Пропустим полтора года. Как пишут в полэкрана с многозначительным отточением: «Полтора года спустя...». И тапер за пианино это старательно воспроизводит – какая-нибудь Надя Рейнхарт.

«5 марта. (Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, ибо начался по старому стилю, а завершился по новому...)»

Помирилась с Лизочкой. У нее слезы просыхают, не долетая до земли. Какое счастье жениться на грибном дождике! Витя ей полная противоположность. Во всем дойдет до последней точки, но при условии, что она – раскаленная. Так – нет. Потому что *самовозгораться* – не по нем, только от чего-то, трением, черканьем собой обо что-то шершавое. Будь то я, будь то потери французов под Амьеном, будь то экономическая теория Маркса. Наш очередной Маркс – новоеврейский язык. Витя набросился на него с яростью: того и жди, разорвет в клочья. Страсть в нас бурлит. Все разговоры о новоеврейском. "Это как новогреческий, только больше похож на своих папу и маму". – "А с социализмом покончено?" – "Наоборот, на этом языке впервые был сформулирован основной его принцип: *возлюби ближнего своего, как самого себя*. Это краеугольный камень социализма". – "Ты просто ищешь каждый раз, обо что бы черкнуть спичкой, чтоб вспыхнуть. В твоём возрасте источник должен быть еще в тебе самом. А то темперамента с Везувий, а извержение начинается, только когда лезешь целоваться, – думаешь, я не вижу?" Отстранился сконфуженный. На самом деле никакого конфуза, я уже давно зрелая женщина, многое знаю, многое пробовала. Мне бы не пришлось симулиро-

вать страсть, как Матильде де ла Моль в ее первую ночь с Жюльеном Сорелем. Хотя в том, как она мучает Сореля рассказами о других соискателях, я узнаю себя».

«19 июня.

”Я еврей, чем и горжусь. Я никогда не скрывал, что до конца не чувствую себя немцем. Для немца я слишком раздвоен, и в своем стремлении к цельности слишком дорожу всем восточным в себе”. (Из сочинения гимназиста В. Арлосорова.) ”Из любой другой гимназии тебя бы за такое выбросили”. – ”Пришлось бы выбрасывать всю гимназию”. (То, что казалось фантастическим в канун провозглашения Веймарской республики, менее чем через двадцать лет сделалось само собой разумеющимся. Реальная гимназия Вернера фон Сименса, известная своими либеральными порядками и насчитывавшая из трехсот пятидесяти одного учащегося двести сорок три еврея, была закрыта в 1935 году по распоряжению гауляйтера Берлина Йозефа Геббельса. Л. Г.) ”А знаешь, отчего ты перестал чувствовать себя немцем? Оттого, что рейхсвер тебя разочаровал”. – ”Магда, это подло. Ты знаешь, я не трус”. – ”Не трус, когда надо защитить женщину. А когда надо защитить отечество?” – ”Свое отечество я сумею защитить!” – и выбежал. Сейчас вернется: очки-то оставил. А я спрятала, пусть поползает сперва. Он в моей власти. Без меня обо что он будет черкать спичкой?»

«30 сентября (1919 год, который был еще страшней... А уж как страшен был 1920! И так чем дальше, тем страшней – потому что тем ближе).

Прощай Берлин! Прощай Витя с его безумствами, прощай, ”школа для худородных дочерей”, – всему мое прости! Поезд несет меня в Гарц, прямо на ведьминский шабаш: моим Брокеном будет ”Хольцгаузен”...»

«Хольцгаузен», по названию деревушки близ Гослара, – в ту пору одно из лучших закрытых женских учебных заведений в Центральной Германии. Она проучилась там всего лишь несколько месяцев, в продолжение которых блистала своим французским и поражала воображение соседок по дортуару рассказами о своих берлинских поклонниках: первый из них – знаменитый перчаточник, до войны поставщик всех королевских дворов Европы, второй – обер-кельнер в дорожном ресторане в Тиргартене, он угощал ее самыми лучшими остендскими устрицами с самым дорогим шампанским. В реальности и обер-кельнер, и перчаточник были одним и тем же лицом: война пустила Рихарда Фридлендера по миру, превратив коммерсанта в официанта. Такого падения бывшая горничная Аугуста не снесла и подала на развод. Ее дочь, возвращаясь с рождественских каникул назад в Гослар, знакомится на перроне в Ганновере с человеком, который, по подсчетам «Берлинер Иллюстрирте», своим состоянием превосходил князя Турн-и-Таксис во столько же раз, на сколько лет был старше Фрейлейн Фридлендер, – а годился он ей в отцы; получался еще один отец, уже третий. Гюнтер Квандт – текстильный магнат, мультимиллионер, отец двух взрослых сыновей, Хельмута и Херберта, так и представляешь себе Фазольта и Фафнера, двух стерегущих золото братьев-драконов, с тою лишь разницей, что имена их были не на *F*, а на *H*. Свадьба состоится в январе (следующего года), а в ноябре у нее родится сын, которого она назовет Харальдом, опять же именем, начинающимся с «буквы ее счастья». Далее – Америка, пребывание в которой дневник почти не отражает, за вычетом, как уже говорилось, драматически закончившегося – с отсрочкой в девять лет – заключения с Хербертом Гувером-младшим, обладателем все тех же магических инициалов: *НН*.⁴¹ И тут круг замкнулся – на поэте, чей прах покоится в Париже, но дух витает над оснеженным Гарцем, над Госларом с его Кайзерпфальцем,⁴² в

⁴¹ Herbert Hoover.

⁴² Замок XI в., резиденция германских императоров. Когда Г. Гейне писал «Путешествие по Гарцу», Кайзерпфальц уже – еще? – лежал в развалинах. Реставрирован в 70-х гг. XIX в. в правление Вильгельма I («Великожопого»).

стенах которого творил суд еще Фридрих Барбаросса. Она умирала вернуться в Германию...

Развод с Квандтом неизбежен, как смех за кадром в мыльном сериале. Этот старый скряга, носившийся со своим фальшивым благочестием, усыновивший в придачу к Фазольту и Фафнеру еще и трех своих племянников, которых ей порой хотелось отравить, всех, вместе с папенькой, – Квандт был немецкой разновидностью *DWEM* (Dead white european male – мертвый белый европейский мужчина – прозвище консервативного американского протестанта). По его настоянию перед свадьбой ей пришлось перейти в евангелическую веру и взять фамилию того, кто зачал ее вне брака, любителя тибетской мистики Оскара Ритшеля, лишь бы не писаться «урожденной Фридлендер». Бракоразводный процесс, начавшийся после возвращения в Берлин, продолжится девять лет, столько же греки осаждали Трои. Формальный повод в обоих случаях одинаков: измена Менелаю с юным Парисом. Как пишет один из биографов: «Однажды Квандт застал супругу с молодым студентом в недвусмысленной обстановке», – Курт Рисс, писавший об этом по горячим следам (1947), даже не подозревал, кем был этот студент. И никто долгие годы ничего не подозревал: какой-то там «студизус Ханс». Супружеская неверность освобождала потерпевшую сторону от уплаты алиментов, чего, однако, не случилось: не только юная супруга имела слабость поверять бумаге «сердешны тайны», но и опытный «мультиворотила» Квандт страдал тем же. Довольно опрометчиво он сделал в письменной форме несколько компрометирующих его признаний, а главное, высказал предположение – не свое, слуг, – что Хельмут, старший сын, оказавшись в Нью-Йорке один на один с этой «женой Потифара», попал в расставленные ею сети – то-то она помчалась в Париж, когда бедный мальчик уже умирал. (По пути из Нью-Йорка, в Париже, сыну Квандта, как и сыну Троцкого, будет сделана операция аппендицита «со смертельным исходом».)

«Второй день хануки (1922 года).

...Задыхаясь, позабыв всякую осторожность, мы упали друг другу в объятия. "Магда... О, Магда..." – шептал он. Как могла я все эти годы жить без него, когда мы созданы друг для друга, когда мы понимаем друг друга с полуслова!

Я:

"И встает с улыбкой рыцарь,
И целует пальцы донны,
И целует лоб и губы,
И такое молвит слово... "

Он:

"Я, сеньора, ваш любовник,
А отец мой – муж ученый,
Знаменитый мудрый рабби
Израэль из Сарагосы".

И тут открывается дверь...».

«30 декабря.

В обществе "Тикват Цион" он царит, его слушают с горящими сердцами, и ярче всех пылает мое сердце. "Вперед на Восток к Сиону устремлены глаза",⁴³ – поем мы стоя. Там его зовут другим именем: *Хаим – Жизнь*, какою наполнил Всемогущий Адама-Кадмона, первоначального человека, жену его Хаву и весь род

⁴³ Слова сионистского гимна «Ха-Тиква» («Надежда»), ныне гимн Государства Израиль.

их. Как множество жизней в этом имени, так и множество дыханий в его звучании, в первом его звуке: *хет*. "Я тоже тебя так буду звать: Хаим..."».

«31 декабря, последний день уходящего 1922 года, – ужасно хочется заглянуть в 31 декабря 1923 года. И хочется, и страшно: что-то будет тогда у меня уже в прошлом – из того, что еще не наступило. Гюнтер окружил меня пинкертонами, пытается оставить без средств к существованию. Поздно! Пусть только попробует первым бросить в меня камень. На поживу рептилиям у меня припасено достаточно. Будет знать, как повторять кухаркины рассказы: Хельмут и я. Да может, у меня были свои "Les mystères des Paris"⁴⁴. Мать меня не понимает: "Понимаю, Гюнтер для тебя стар. Но тебе же ничего не стоит сделаться миссис Гувер. На что тебе этот студент? Даже преуспев, он на тысячную долю не станет как те, кого ты отвергаешь. Подумай, с кем ты хочешь соединить свою жизнь?" С жизнью, мама».

«2 января, первая запись в новом году.

"Если я стану спутницей жизни такого человека, как Жюльен, которому не хватает только состояния, – а у меня оно есть, – я буду привлекать к себе всеобщее внимание, моя жизнь не пройдет бесследно. Пусть мои родственницы все время трепещут при мысли о революции, они, которые от страха перед народом не решаются прикрикнуть на кучера; я уверена, что буду играть роль, и роль крупную, так как человек, на котором я остановила свой выбор, – человек с характером и с безграничным самолюбием". А кем была бы я, став миссис Гувер или оставаясь миссис Квандт? Главнокомандующей армией лакеев и горничных и к тому же объектом зависти всех тех, для кого счастье измеряется количеством упоминаний твоего имени на страницах "Берлинер Иллюстрирте Цайтунг"».

«8 марта.

При первой же возможности верну Гюнтеру его фамилию. Отцу это будет приятно, и потом... не естественней ли спуститься по трапу в Яффе, именуясь Фридендер? Хаим, я не желаю быть Марией Магдалиной – христианской плакательницей. Мария из Магдалы – еще ужасней, чем Магда из Берлина. Хаим, дай мне новое имя, такое же гордое, как твое. Сидели в "KZ",⁴⁵ так мы в шутку называем кафе "Кранцлер", и придумывали мне имя. В десять пришла Бэлла, ужасно смеялась: "Ты хочешь стать Руфью? Но Руфь была сама кротость. Посмотри на себя. Я вижу тебя в Палестине, за спиной ружье, на устах псалом Давида". (В своих воспоминаниях Бэлла Фром почти дословно воспроизводит эти слова: "...В каком-нибудь кибуце, с оружием в руках и стихом из Торы на устах". Бэлла Фром, "Банкеты и кровь. Дневник берлинской социальной жизни".) – "Тебе легко говорить, вам всем легко говорить. Вы – евреи. А я – моавитянка Руфь... И родила Руфь Овида, и родил Овид Иессея, а тот родил Давида, величайшего из царей Израилевых". Хаим отстегнул воротничок, снял через голову золотую цепочку с шестиугольным щитом давидовым и повесил мне на шею. Я не плачу. Не плачу никогда, а тут расплакалась. Так мы обручились.

Ночью.

Что ждет Харальда в Палестине? Как Руфь родила сына Ноэмини, так и Харальд родит тебе сына. Потому что сама ты не вправе родить еврея. *Dura lex*.⁴⁶ А Харальд женится на гордой еврейской женщине, способной сражаться с врагами наравне с мужчиной. И их дети уже будут сынами племени, а не как мои от Хаима. Нет, это неправда! А как же царь Давид, правнук Руфи? А Мессия, что, он не потомок моавитянки? Каждый человек – еврей! О Хаим, кто, как не ты, всегда повторял за фи-

⁴⁴ «Парижские тайны» (фр.).

⁴⁵ Аббревиатура для обозначения концлагеря. Отсюда ныне вышедшее из употребления израильское «кацетник», аналог русского «лагерник».

⁴⁶ Суров закон. «Суров закон, но это закон». «*Dura lex sed lex*» (лат.).

лософом: хочешь быть евреем – будь им. Уже сейчас все люди – евреи, просто они этого еще не знают. Потому и “умножу тебя и сделаю как песок морской”. Иудаизм когда-то держал двери широко распахнутыми. Он затворил их временно, и времени этому приходит конец. Объясняет же Грец:⁴⁷ это была вынужденная мера, римские легионеры входили к еврейским женщинам, и тогда законоучители постановили: считать евреем каждого, кто рожден матерью-еврейкой. Но основополагающим остается сказанное в Танахе: “Израиль – знамя для гоев”.⁴⁸ Под этим знаменем все народы сольются воедино, и исполнится пророчество Исая: “Волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их”. Это и есть социализм. И это вечный мир, который возможен, если каждый осознает себя евреем. Потому что еврей никогда не прольет еврейскую кровь. Нелепы попытки христиан, только и знающих, что истреблять друг друга, обращать в христианство всех и вся. Зачем? Чтобы множить усобицу народов? Миссионеры говорят: все из-за того, что избранный народ отверг своего Мессию. До тех пор, пока последний еврей не обратится и не уверует в Христа, царство Божие не наступит. А Теодор Герцль им на это: “Мы уходим от вас. Вперед к Сиону устремлены наши глаза”. Но он ратует за Еврейское Государство – не за древнее царство. А Царство Божье, обещанное древними пророками, не наступит, пока последний гой не обрежет свое сердце. Что говорит раввин Кук:⁴⁹ “Как Всевышний избрал Израиль Своим народом, так же и Землю с населяющими ее народами благословил Он быть Сионом вселенной”.

Пять утра, по телефону.

“Хаим, хочу иметь от тебя детей”. – “Прямо сейчас?” – “ Попрошу без плоскостей. Хочу, помимо Харальда, еще шесть от тебя. Назови женские имена на хет?” – “Хэн, Хамуда, Хагигат, Хэши, Хаелет⁵⁰... – “А мужское?” – “Хазак”.⁵¹ – “Хорошо... Как казак. (Их у нее и впрямь будет еще шестеро, пять девочек и мальчик: Хельга, Хильда, Хольде, Хедда, Хайде и Хельмут.) Нет, обещаю, что мы уедем вместе. Наши дети будут евреи. Довольно и капли еврейства, чтобы освятить кровь и чтобы еврейской заструилась она по жилам”. – “Типично антисемитский подход. Евреипатриоты никогда не поймут, что чем больше они называют себя немцами, тем больше их ненавидят. Натан у Лессинга бьет себя в грудь: мы как вы! А немцам слышится: вы как мы. Густота еврейской крови повергает их в ужас: довольно одной капли, чтобы осквернить расу, чтобы превратить человека – в еврея. Это не евреи скоро растворятся в немцах, это они сами скоро растворятся в еврейях. Сегодня каждый четвертый брак – экзогамный. Что будет с Германией через десять лет, в тридцать третьем году? Для немцев это катастрофа. Так они рассуждают, и по-своему правы. Почему, ты думаешь, они убили Ратенау, а не какого-нибудь польского ребенка с пейсами до пят? Наша задача убедить их в том, что сионисты им не враги, а союзники”».

«20 апреля».

⁴⁷ Генрих Грец (1817 – 1891), автор двенадцатитомной «Истории евреев».

⁴⁸ *Нес ле-гоим*. Имеется в виду библейское: «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли» (*Исайя XI, 12*).

⁴⁹ Авраам Ицхак ха-Козн Кук (1865 – 1935) – первый верховный раввин ашкеназийской общины Палестины. В отличие от других авторитетов ортодоксального иудаизма, поддерживал идеи сионизма, т. е. создания светского еврейского государства. В последние годы жизни навлек на себя гнев лейбористов во главе с Бен-Гурионом тем, что настаивал на невиновности Ставского.

⁵⁰ Хэн – милая, Хамуда – симпатичная, Хагигат – праздничная (название легкого наркотика), Хэши – «хананизированный» вариант имени «Хася» и в то же время «гашишная», Хаелет – солдатка.

⁵¹ Сильный.

Есть люди-собаки и люди-кошки. Первые боготворят того, кто их кормит. Вторые позволяют боготворить себя тому, кто их кормит. Лиза собачьей расы.⁵² А Хаим и я, мы оба люди-кошки. А жить вместе могут только кошка с собакой. Кто из нас отречется от своей расы? Вопрос риторический: конечно, я. Ни с кем другим на такое самоотречение я не готова. Но никто другой и не посулил мне царство. Остаться в веках новой Руфью...»

«21 августа.

Танцевальное кафе на берегу Ванзее, а кажется, что попал во Флориду. Музыканты в белых шелковых парах. Американские ритмы: танго, румба. Румба – кроме кубинской, естественно, – это “взаимность в предвкушении взаимности”, это обещание “любить твою любовь”. Танго, напротив, война полов. Отчужденность желаний и оттого ненависть друг к другу. Это заостряется с каждым па. Я хотела объяснить это Хаиму. Он демонстративно невнимателен, как будто думает о чем-то своем: “Что? А? Извини...” Так я тебе и поверила. Словно я не вижу: ревнует меня к моей прошлой жизни. Немножечко – пусть. Я в еще меньшей степени могу заполнить собою его жизнь. Но я же не ревную его к конференции в Базеле. Две недели не виделись. В Палестине все изменится, там я стану своя».

«9 ноября.

Харальд получает ко дню рождения товарный состав. И тогда его “рейхсбанн” будет полностью укомплектован. У него уже есть и международный экспресс, и скорый поезд, и местный, и товарный состав, и даже дрезина. Все говорят, что в два года это рано. Зато никто не скажет, что я плохая мать. И что плохая дочь, не скажут. Накануне была с отцом в Доме Лессинга. Ораторствовал доктор Драгонер, председатель “Союза немецких ветеранов иудейского вероисповедания”: “Освоение Палестины – это для ост-юден. Хуже, чем у себя в Польше или России, им все равно нигде не будет. Хотя разумней было бы попытаться удачу в Америке. Но вообразить себе нас, бросающих все и переселяющихся во вчерашнюю турецкую провинцию, – для этого надо обладать крайне болезненной фантазией”. Когда их высокоблагородия – еврейские юристы, дантисты, журналисты – так говорят, я вспоминаю Стендаля, моего любимого, обожаемого Стендаля. “У Круазенуа есть все, но он до конца дней останется человеком разглагольствующим, когда надо действовать, не впадающим в крайности, следовательно, всегда *на вторых ролях*. А какое великое дело не считается *крайностью*, пока его совершают? Только после того, как дело сделано, оно представляется возможным даже людям заурядным”. То же могли бы сказать себе в утешение герои мюнхенской авантюры, описанием которой сегодня полны все вечерние газеты. Больше ста человек убитых и раненых, а еще утверждают, что девятнадцатый год больше не повторится. Я знаю, что бы сказал Хаим: “Глупо было дать себя перестрелять. Теперь в *Юдишер Анцайгер*⁵³ начнут гладить себя по попке и постанывать: вот видите, полиция своими решительными действиями доказала, что демократия в надежных руках, что нам, немцам, околополитическая чернь не страшна”. Завтра он возвращается. Хотела встретить, но и без меня встречающих достаточно. Увидимся ночью».

«10 ноября – дым! дым! дым! В глазах клубы дыма – – –

Все сожжено. Претерпеть. Превозмочь. Превзойти. На то ты и Магда, что ты превыше всего. На то ты и Магда, что можешь, чего не могут другие. В сознании этого твоя сила. Лизочка плачет своими на лету сохнувшими слезками: все мать! Она не верит, что ты в состоянии вырастить детей. Родить-то еще родишь... Все правильно, ощениться любая сука может. А любить настолько, чтобы занести над

⁵² Die Rasse означает и расу, и породу.

⁵³ «Еврейские известия».

ними жертвенный нож? И решили на семейном совете, что лучше пусть рождает та. И ждать меньше, на пятом месяце уже. Откладываем на счетах пять месяцев – конференция в Базеле. Pousse! Respire!⁵⁴ Руки в кулаки, губы до крови закусены. Спрашиваю Лизочку: "Кто она?" – "Еврейка".

Проходит лет – один... два... три... много (так считают индейцы у Карла Мая, не покидавшего, как известно, родной Тироль). Мы – в 1928 году. Многообещающий политик в рядах лейбористской партии, Хаим Арлозоров в приуготовлении к тому, чтоб стать «доктором Хаимом Арлозоровым». Для этого он снова в Берлине. После рождения дочери он переехал в Палестину, где навязанный ему обстоятельствами брак вскоре будет расторгнут. Ничего, вся жизнь впереди, первый брак комом. В Берлине первый звонок – куда?

«28. IV

Сначала дикая злоба. Услышав: "Это Хаим", я пришла после минутного замешательства в ярость. Ну ладно, сказала я себе через минуту, в продолжение которой трубка испражнялась его голосом, – ладно, повидеюсь. В конце концов, интересно, во что превратила его Земля обетованная. Я назвала ближайшее к дому кафе, куда обычно никогда не захожу и где трудно встретить знакомых. Появляется. Дорожный костюм, брюки «гольф» – похож если не на англичанина, то на успешного предпринимателя с немецкого юго-запада:⁵⁵ смуглый цвет кожи, странноватая обувь, повадки вечного гастролера. "Рассказывай. Только не надо каяться и просить прощения". Он свободен, он никогда не любил свою жену, он всю жизнь любил меня одну. "Я это часто слышу. Я тоже свободна. В сочетании с моими достоинствами и четырехтысячным месячным содержанием это предоставляет мне безграничный выбор. Некий мистер Гувер, узнав, что я наконец-то разведена, истолковал это глупейшим образом и забрасывает меня из-за океана цветами и письмами. Я предупредила его, что своей женой ему меня не видать, даже если вместо цветов он начнет забрасывать меня бомбами, а в остальном ни от чего не зарекаюсь. Это относится и к тебе. *Гитара моя, кому хочу, тому даю играть*, – пропела я из "Хабанеры"⁵⁶ своим чуть хриплым контральто, от которого мужчины теряют голову. Продолжаю: – Если очарование французской женщины в ее кокетстве, то сила немецкой женщины в ее честности. Я ценю силу – в себе и в других. И не выношу слабаков. Как видишь, я теперь не только складно говорю, но и здраво мыслю". Я уже знала, как отомщу ему, – не своим "нет", к чему он внутренне готов, но своим легкомыслием, исключаяющим те чувства, на которые он притязает, – с его-то провинциальным самомнением и восточным темпераментом. Боже! Я изнемогаю в ожидании... Тем страшнее будет моя месть – и за это тоже».

«11. VIII

Пудря нос, обращаюсь к понурому отражению в глубине зеркала: "Хаим, я сегодня занята. Можешь меня обнять, но не больше. Развлекись, дружок, сам – я разрешаю. Хочешь с моей пуховкой?" – "Шлюха!" – "Шлюхам платят, а я не по карману не то что тебе – Квандту, Гуверу. И я продемонстрирую это тем, что сейчас, когда он за мной прикатит, уступлю его домогательствам, – а я это сделаю, можешь не сомневаться, – но наотрез откажусь принять в знак признательности его имя. Ну, какая же я тебе, дружок, после этого шлюха? Я – царица. И уж царство мое будет не от мира сего"».

«8. XI

"Мои сердечные поздравления свежеиспеченному доктору". – "Я уезжаю завтра". – "Я это слышала еще вчера". – "И ты ничего не хочешь мне сказать?" –

⁵⁴ : Тужься! Дыши! (фр.).

⁵⁵ Бывшие африканские колонии, современная Намибия:

⁵⁶ Возможно, имеется в виду шлягер из репертуара Зары Леандер.

”Хаим, я честная женщина. Я всегда была ею и ею остаюсь. В моем случае это не Бог весть какая добродетель. Для католика честность вроде индульгенции, а я воспитывалась в монастыре. И вот я честно тебе говорю: я ценю в тебе лишь то, что напоминает мне об одной, может быть, самой пленительной иллюзии в моей жизни. В остальном к тебе я безразлична. Просто я – женщина, ты – мужчина, между нами огонь: *Иша – иш – эш*. (Расхожий пример «каббалистической этимологии»: по-древнееврейски *иша* – женщина, *иш* – мужчина, *эш* – пламя.) Но это слепое безадресное пламя. И все же обещаю, в трудную минуту я всегда приду тебе на помощь. Помнишь фрау Дейчингер? Кляксу над десятым словом?” Он кидается ко мне. ”Лишнее. Счастливого пути”. *О, ты не знаешь, как мечь сладка...*” – напеваю я, оставшись одна, сама едва ли не сходя с ума от своего густого грудного контральто. О, как я их понимаю...»

«8. XII

С Харальдом на рождественском базаре. Почему считается, что настоящий немецкий рождественский базар – в Нюрнберге? Берлинский ничем не хуже. Меня беспокоит, что Харальд мал ростом для девятилетнего. (Ах, ему уже девять – не за горами 1931 год, в ее жизни переломный. Судя по фотоснимкам, Харальд вымахает, он в мать, крупную блондинку с прямым ясным взглядом.) Королевская почта должна выплатить мне премию, но *postillons d’amour*,⁵⁷ поднимаясь трижды в день по лестнице, те, конечно, чествуют меня на все корки. На смену потоку писем из-за океана забил фонтан писем из Палестины. От меня не требуется отвечать, достаточно и того, что я, предположительно, их прочитываю. Я и прочитываю, отчего ж нет? Картина встает безрадостная. Постепенное превращение пламенного агитатора в канцелярскую крысу. Начальником над крысой – жирный диснеевский кот, в пробковом шлеме, со стеклом, в *schorts*, все, как полагается в колониях. Какой-нибудь мистер Ваучоп. Об отважной жизни первопроходца можно забыть. Или это пишется с умыслом: не кори меня очень уж жестоко, в конце концов, я избавил тебя от разочарований. Но едва заводит речь о своих чувствах – ворчливо-го тона как не бывало. Снова пламенный агитатор – за себя, за свою страсть ко мне, в которой ему нет равных. И обязательно ввернет что-нибудь про ”моего колченого Робеспьера”. Он ему интересен. Притягивает, как пламя бабочку. Лети, лети. Видимо, под влиянием русского окружения меняется его отношение к России. Пишет, что прочитал роман Достоевского – как студент убил женщину, ссудившую его деньгами. Еще пишет, что едет в Рим, в связи с чем приобрел толстый путеводитель по Италии, тоже по-русски, автор – нечто среднее между Мюратом и Маратом. О том, будет ли в Берлине, – ни слова. Следовательно, будет. Взял за правило делать мне сюрпризы – как Гюнтер когда-то. Для этого, дружок, надо было на мне жениться. В прошлый приезд ходил за мной тенью. Куда я, туда и он. Интересно, хватило бы духа войти следом за мной в штаб-квартиру НСДАП?»

Спустя восемь лет на это хватит духа у ее отчима, не понимавшего, что он – ходячий компромат на того, у кого он пришел искать заступничества. И тут выясняется, что от берлинского ресторана «Веймарер Хоф» рукой подать до самого Веймара. В его окрестностях, в Бухенвальде, герр Фридлендер будет забит до смерти.

«1.1

Многие из своих же за его спиной шепчутся: *маленький Йозик с Даленерштрассе*. Раз шепчутся, то боятся, чувствуют силу. Новый год я встречала ”в нетипичной обстановке”, в пивной в Кёпенике. Бедный Йозик! Его главная беда, что он не похож на арийца. Спрашиваю о романе Достоевского. – ”Преступление и наказание”? Им Россия будит в нас со всем пылом христианскую веру... – и, словно спохватывая-

⁵⁷ Вестники любви (фр., устар.).

ясь, вспыхивает: – Но только если допустить, что евреи распяли не Христа, а Ницше”. Странно, что я расхотелась громче других. Во мне пробудилось воспоминание о тех днях, когда со всеми вместе я пела «Ха-Тикву». Теперь понимаешь, насколько это было нелепо. “Где ты родилась? – В Берлине. – А Берлин где? – На Шпрее. – А Шпрее где? – В Германии”. По радио передали финал Девятой. Потом выступал Брюнинг. Повинуясь внезапному порыву, я воскликнула: “Я пью за то, чтобы через год к нам по радио обратился – вот кто!” Когда твои слова в ту же секунду сто человек подхватывает, как один, это ни с чем не сравнимое чувство. “Теперь вам ничего другого не остается, как вступить в партию”. – “Уже вступила, дальше”. – “И стать моей женой”. Стать женой *слабенького Йозика с Даленерштрассе?* Ужас. Превратиться в Магду Геббельс. А если их ненависть угодна Богу? Нет, это безумие. “Быть безумным значит быть мудрым, быть слабым значит быть сильным, ненавидеть значит любить” – катехизис сестры Урсулы, ответы, которые мы хором произносили. О, если б так оно и было! Тогда Магда Геббельс стала бы идеалом немецкой женщины: *наши женщины – наше вино*.⁵⁸ Священная Римская Империя Германской Нации окажется немыслима без Магды Геббельс. И через тысячу лет восхищенно будут взирать на твое изображение, как сегодня взирают на статую Агриппины в villa Albana».

«1.V

Впервые ответила Хаиму. Надписывая конверт, воображала себе, как он набросится на него через десять дней. Он разорвет его своими дрожащими пальцами, коснется бумаги, благоухающей моими духами. “Хаим, я буду тебе признательна, если ты перестанешь мне писать. Я выхожу замуж”».

«2.V

Да, совсем забыла. Прорезался герр Ритшель, как прорезывается зуб мудрости: тибетские звезды сулят мне такое – страшно выговорить. Чтоб я не смела этого делать! Бог шельму метит⁵⁹ (Впоследствии Оскару Ритшелю все припомнят – когда он изъявит желание покачать своих высокородных внучат.) Заодно со звездочетом мать: “Он же похож на черта. Посмотри на него и на себя. А жить на что ты будешь? Как только вы поженитесь, ты же лишишься своей ренты”. – “Мама, как гауляйтеру Берлина ему из партийной кассы выплачивают восемьсот рейхсмарок”. – “Гауляйтеру Берлина... Мадонна! Они придумывают себе сказочные титулы, в которые сами верят. А ты, за то чтобы поиграть с ними за компанию, готова лишиться четырех тысяч в месяц”. – “Мама, если они победят, вся Германия будет у моих ног. А если победит Тельман, я все потеряю в любом случае”».

Те же резоны Магды насчет замужества приводит и Курт Рисс со слов Аугусты Беренд – мать Магды сменила не одну фамилию, пока не вернулась на свою девичью.

Далее – о том, что произошло между Хаимом и Магдой тринадцатого августа, ровно за четыре месяца и шесть дней до ее бракосочетания, которое первоначально предполагалось совершить по католическому обряду, но епископ Берлинский отказал ей, разводе, в епископском благословении, так что: «нас не в церкви венчали». Ничего, никто не плакал навзрыд. Свадьбу сыграли в Мекленбургском имении Гюнтера Квандта. Нарру end по-немецки. (А на свадьбе Аугусты с Рихардом – с изделиями из кожи Рихарда – посажёным отцом был Оскар Ритшель, генетический отец будущей дочери жениха. Тоже прелесть. Всеобщие мир и

⁵⁸ Unsere Frauen sind unser Wein – однако в тексте немецкого гимна sind (суть) отсутствует. Т. е. по-русски вместо тире следовало бы поставить запятую.

⁵⁹ У нее закавыченно-просторечное «Nix gibt's umsonst», «Ничё нет зазря» – но чтобы речь дышала, а не была русскоязычной мумией оригинала, приходится фантазировать. Это справедливо и для дневника в целом, воспроизводить который буквально, не “беллетризируя”, – умучить читателя вконец.

благорастворение.) Потом молодые отправились в Бабельсберг, на виллу к Квандту. Рисс насчитал в ней двадцать две комнаты – не иначе как по числу букв еврейского алфавита – располагалась же она в трехстах метрах от того места, где тринадцать лет спустя Сталин, Трумэн и Бевин подпишут Потсдамское соглашение.

До сих пор единственным источником наших – и не наших, и прочих, и каких угодно – сведений о последней встрече Арлозорова с Магдой была запись в дневнике самого Геббельса. И то долгое время упоминаемый им «студент Ганс» существовал на правах фантома, не будучи идентифицирован. Просто обезумевший от любви поклонник угрожал ей пистолетом, прогремел даже выстрел, но, по счастливой случайности, пуля угодила в притолоку. То, что столь удивительная женщина, избравшая его своим мужем, способна внушить такую страсть «студенту» – воображению тут же представляется сочетание молодости и интеллекта – все это не могло не льстить калеке, а лесть – кривое зеркало. Уже исходя из одного этого, к дневниковой записи Геббельса надо относиться с осторожностью. Достоверность его свидетельства умалывается еще и тем, что он описывает произошедшее с чужих слов. Они могут быть им сознательно или несознательно искажены – раз, и два, кто поручится, что рассказанное ему Магдой – правда. Еще один *Расёмон*.

«13. VII ("Теперь мы обо всем узнаем из первых уст", как выразился пару недель назад телеведущий Грилев, – имея в виду уста президента.)

...Не впускать его? Но было уже поздно. Вся моя одежда – это отороченный пухом пеньюар. Я знаю, что привлекательна. Тем хуже. "Я предупреждала тебя. Немедленно уходи". – "Магда, это невозможно, ты бросаешься в костер.⁶⁰ Выслушай". – "Нам не о чем говорить". У него в руке какая-то книга. Он швыряет ею чуть ли не в меня, раскрытая, она падает на пол. "Что это, путеводитель по Италии? Или Достоевский? А может, путеводитель по Берлину – ты здесь давно не был". – "Погоди. Если ты думаешь, что для меня играет роль, кто он, то ты ошибаешься. Мне это безразлично. Но другие отвернутся от тебя". – "А мне безразличны они, те, кто отвернется. Я знаю их и презираю. Синагогальный ротатор...⁶¹ – "Магда, одумайся, я тебя люблю!" – "Возьми себя в руки. Закуси до крови губу. Сожми кулаки. Pousse! Respire! Ну! Будь же мужчиной". Он пытается меня обнять – быть мужчиной. Кто сильней? Тот, кто хитрей. "Хаим... не так же... я сейчас". Возвращаюсь с пистолетом в руке. Он этого не ожидал. "Стреляй, мне предсказали, что меня убьет женщина, – делает шаг вперед. – Давай, что же ты?" Я стреляю в пол, попадаю в книгу. "Еще один шаг, и я выстрелю в тебя. Ты меня знаешь, у меня рука не дрогнет. Тем, что я тебя убью, ты ничего не добьешься. Тебя похоронят, а меня оправдают. Уходи". Я опускаю пистолет».

Без малого через два года Арлозоров снова в Германии, он пытается встретиться с Магдой Геббельс. В стране победившего национал-социализма это было безумием. Но Арлозоров наделен в малой степени чувством самосохранения. Оно невозможно без умения мимикрировать, что в свою очередь требует большей гибкости и меньшей самоуверенности – того самого местечкового самомнения, о котором пишет Магда. А еще *благодаря своим очкам он был типичнейшим образом близорук* (парадокс). Его выручал интеллект – мощный «черепной» интеллект еврея-начетчика, как сказали бы недоброжелатели, или еврея-талмудиста, как сказали бы их оппоненты. Он «сильно» мыслил – «глубоко», «объемно», как угодно, – создавая впечатляющие конструкции, по-нынешнему модели, на основе которых выстраивалась внешняя политика ишува. Очки знайки – и не только очки,

⁶⁰ Явный намек на Вагнера: Брунгильда (валькирия) бросается в пламя, охватившее Валгаллу, последнее прибежище павших воинов.

⁶¹ Rotationssynagoge, выражение, изобретенное Геббельсом для обозначения «еврейской» прессы.

мозги тоже – вулканический темперамент, обязательный для еврейского политика того времени набор языков: русский, польский, немецкий, английский, французский, не считая иврита (первые два с пеленок, на третьем учился – в том числе учил четвертый и пятый – ну а иврит выучивают все, кому суждено жить на Земле обетованной, даже такой тупица, как автор этих строк, сподобился). Но ежели глава политотдела Сохнута что-то прошляпит, не учтет, не примет во внимание, причем еще на начальной стадии, то это «что-то» у него разрастется в «нечто», видимое невооруженным глазом, превратится в слона – Арлосоров этого-то «слона» так и не приметит: раз он не предусмотрен моим гениальным планом, его не существует. У него бывали гениальные решения. Но у политика (еще один парадокс) политического капитала по определению быть не может: в случае неудачи никакие прошлые заслуги ему не зачтутся.

Бессмертный принцип хождения по граблям *чем хуже, тем лучше* – бессмертный же, потому что им руководствуются от сотворения мира и, вопреки всем шишкам, будут руководствоваться до скончания веков – этот принцип в его сионистском варианте, как известно, звучал так: чем хуже евреям там, тем скорее сбудется наша «тиква». Поэтому там, где евреям жилось хорошо, где пятьдесят один процент от общего их числа – предприниматели, десять процентов – адвокаты, пятнадцать процентов – врачи, а остальные – звезды эстрады, там, то есть в Германии, сионистов жаловали лишь те, кому эти проценты были как острый нож. И когда эти «те» всенародным волеизъявлением пришли к власти, руководство ишува великой беды, мягко говоря, в этом не усмотрело. «Первое апреля 1933 года могло бы ознаменовать возрождение еврейства» (Роберт Вельтш, главный редактор сионистского «Юдише Рундшау»).

Таких, как Жаботинский, кто все предвидел, были единицы. Да и те, кто предрекал апокалипсис, до конца сами себе не верили, помня немецкую поговорку, что «съедено будет не таким горячим, как приготовлено» («Es wird nichts so heiss gegessen, wie es gekocht wird»). Говоря по-русски, не так страшен черт, как его малюют). «Кто мог тогда знать...» – обычное оправдание. Заметим, оправдание *своей* слепоты, чужую никто оправдывать не будет, наоборот, других бьют отчаянно. Угадываешь правильный ответ в первых рядах бичующих: а почему *мы* все понимаем? А перелистнешь эту страницу их жизни, и следующая вся в проколах, которых не искупит предыдущая. Тем более, что «я предвидел! я предупреждал!» напоминает изображение джигита в натуральный рост с дыркой на месте лица, в которую поочередно просовываются торжествующие физиономии: «Я же говорил!» А говорили они, один – «белое», другой – «красное», третий – «зеленое», четвертый – «коричневое». История не знает несбывшихся предсказаний и, соответственно, неправильных действий. Переоценка происходит со сменой исторических декораций. «Эндлозунг» (окончательное решение) возможен только с падением занавеса. Но кому решать, когда – перефразируя поэта – *в зале публики нет?*

Изнутри прикованный к историческому событию, в поворотный момент ты и впрямь не знаешь, куда повернет. Зато, помня, что *неожиданное и смелое решение* часто бывало единственно правильным, а принявший его оказывался в пророчках, ты без труда подыскиваешь обоснование (оно же потом послужит тебе оправданием) для самых фантастических проектов, если к ним по той или иной причине лежит душа: возьмем Яира Штерна, искавшего у немцев поддержки в борьбе против англичан в сороковом году. Когда в Польше в том же сороковом году по приказу Ганса Франка загоняли евреев в гетто, обещая самоуправление, это воспринималось – некоторыми из них – как «знак национальной независимости, которой желал каждый еврей» (Эли Барнави, Саул Фридлендер, «Евреи и XX век»). Тогда же из Галиции многие тайно пробирались на занятую немцами территорию, вообразив, что из двух зол меньшее – по ту сторону.

Арлозоров был из числа тех, кто поздравлял себя с победой национал-социалистов, «ознаменовавшей возрождение еврейства». В этом по тем временам не было ничего зазорного, сам Роберт Вельтш, напечатавший это в своем журнале, умер в 1982 году в Иерусалиме, девяностолетним, наверняка всю свою жизнь твердя: я же говорил. В апреле 1933 года Арлозоров, с ведома и при поддержке верхушки лейбористской партии, отправляется в Германию – налаживать с новой властью контакты, – скрыв, правда, через кого, о чем все равно ревниво подозревала его жена, его вторая жена, у которой от него был сын.

Точка в отношениях с Магдой была поставлена пулей... О попытках их возобновить, с благими, разумеется, намерениями – то есть на благо своего народа, – об этих попытках позднее писали, как и о том, что они успехом не увенчались. Точка многоточием не обернулась. Тем не менее «заключение пакта с наци» стоило Арлозорову жизни, честь еврейского народа была отомщена. Такое мнение бытовало, отчасти как бы извинявшее его убийц, Ставского и Розенבלата. В психологическом плане это был компромисс, ведь для самих лейбористов причина убийства – звериная ненависть правого «Бейтара» к сионистам-социалистам.

О Магде тогда никто понятия не имел, а кто имел – тот молчал. Но раньше или позже это должно было всплыть. В самом Израиле сменилась политическая картинка, в новую сюжет с Магдой вписывался. Коррективы в него вносит обнаружение ее дневника, подлинность цитат из которого в их русском варианте может быть оспорена, ввиду принятых мною на себя обязанностей «тупейного художника». Ибо – здесь я открою маленькую тайну, если только она не секрет полишинеля, – и для самого элитарного писателя, снимающего квартиру в элитном доме из слоновой кости (из «слонового Кости»), благосклонное внимание читателя превышает всего.

«8 апреля.

Вчера на Хедеманнштрассе⁶² на мое имя (!) приходит письмо из попечительства св. Терезы, учрежденного для ухода за больными и немощными сестрами во Христе. Город, в котором это богоугодное заведение размещается, мне довелось однажды посетить. Тогда оно назывался иначе. Меня на скверном немецком извещают, что некая *Szwester Urszula* желала бы со мной проститься. Если я хочу заставить ее в живых, приехать надо безотлагательно, дни ее сочтены. Письмо мне передал Зепп – вскрытым. Извинился: таков порядок. Он был вне себя: "Писать *Schwester* через *sz* в Лемберге могут только нарочно. И поставить кляксу. В этом выражается польское самосознание". О, да нас поймали на слове! Ты обещала кому-то в трудную минуту прийти на помощь и позабыла взять обещанное назад. Бездна влечет. Сколько раз она тебя призывала, столько раз ты в нее кидалась. И всегда трепетала не от страха, а от счастья. Пароль *Loeopolis*. В шесть на скамье перед оперой. "Ты прав, Зепп, это намеренное оскорбление. Это писалось в расчете на тебя, что ты прочтешь. И что я не поеду, не исполню свой долг. А как-то жить с чувством неисполненного долга, не мне тебе говорить". – "Поедешь не ты. Моя жена не поедет, вместо нее поедет фрау Квандт. И горе тому, – он принялся грозить пальцем, как будто перед ним была не я, а затаивший дыхание зал "Дворца спорта," – и го-о-ре тому, кто замыслил провокацию!"»

Выполнила ли она предсмертное желание своей воспитательницы, ездила ли она в *Loeopolis* с паспортом на имя Магды Квандт? На протяжении более чем ста лет безмолвная участница свиданий, эта каменная скамья с вытесанными по бокам гербами – графов Скарбеков с одной стороны и Львигорода с другой, – она стоит и сегодня, как стояла, когда будущая фрау Дейчингер украдкой приходила на свидание к своему жениху, тоже, наверное, вся трепещала не от страха, а от блажен-

⁶² Там располагался штаб гауляйтера Берлина.

ства. Если Магда и отважилась повторить свое «Путешествие в Лемберг», то на этот раз обошлось без путевых заметок. Она всю жизнь играла по-крупному и кончила как всякий, кто ставит на кон все, даже то, что ему не принадлежит, — и проигрывает. Вполне способна была поехать, незримо окруженная, скажем так, заботой своего супруга. За это говорит и череда странных неудач, которые сопутствовали Арлозорову в последней его поездке по Европе, больше напоминавшей петляние затравленного зайца, чем вояж сионистского функционера в ранге министра иностранных дел. За это говорит и «подлый выстрел» — ибо аналогичен тому, о котором невольным хореем писал академик Благой: «Подлым выстрелом в живот Пушкин был смертельно ранен». Наконец, за это говорит запись в дневнике Магды от 19 июня.

Последняя запись в дневнике Магды Геббельс:

«Пусть Зепп не обольщается, это был *мой* выстрел, но пуля летела долго. Если б возродили, по его совету, обезглавливание,⁶³ возможно, пример Матильды меня бы и вдохновил. "Какая из женщин сегодня решилась бы дотронуться до отрубленной головы своего возлюбленного? Бонифаса, вероятно, любили такой любовью, которой можно гордиться"».

Как прикажете это понимать: «Пусть Зепп не обольщается...» — что «Зепп» получил некий рапорт? Такого примерно содержания: «Встреча со студентом Гансом, долгое время откладывавшаяся по вине последнего, прошла успешно. Макс и Мориц».

Это очень убедительно. Его убили немцы. Русские ни при чем, арабы тоже, евреи тоже. И только эхо от Симиных криков «Его убили евреи!» все еще где-то носится — как Дух над водами.

Но конспект случившегося в *чаще*, сделанный рукою Акутагавы, и расшифровка его Курасавой в *Расёмоне* имеют в основе своей четыре свидетельства: разбойника, женщины, самурая и самого рассказчика — дровосека (тоже уличенного в своекорыстии одним из слушавших). Рассказчик, чья история выносятся на суд публики, вправе дать показания в этом же суде наравне с тремя другими свидетелями. Прецеденты бывали. Обвинителя на *Нюрнбергском процессе*, по его желанию, приводят к присяге в качестве свидетеля — тоже стоящий фильм, хоть и не *Расёмон*.

В нашей истории нет четвертого угла — нет дровосека. Он — это я. Пришла очередь моего свидетельства. Для этого придется отложить на счетах жизни несколько десятилетий.

С годами человек может запомнить или спутать любую дату — день рождения близкого человека, день его кончины, даже день собственной свадьбы — и ломать себе голову: так когда же это было, семнадцатого или восемнадцатого? Я вечно путаю, когда мы с Сусанночкой поженились. Но как век не забудет узник дня и часа своего вызволения, так покидающий навсегда Землю⁶⁴ эмигрант век не забудет день и час, когда ракета стартовала. Это было четвертого мая 1973 года в девять утра в Пулкове — а на три я получил повестку явиться на Литейный. Лапа медведя достаточно лениво замахнулась на меня, отсюда и нестыковка. Сусанночку они уже несколько раз тягали — в милицию на Обводном, где двое юношей в штатском беседовали с ней на языке Хармса: «Сколько этажей в вашем доме? А большие ли огурцы продаются в вашем магазине?» — «Пять, — врала Сусанночка, помня завет Швейка: им — правду — никогда. — А огурцы такие, что ими можно убить человека». — Ее, избалованную офицерскую дочку, дочь военврача, всю войну проработавшего на передовой, трудно было запугать. Пугливость, опаска,

⁶³ Введенная нацистами смертная казнь через гильотинирование сохранялась еще некоторое время в ГДР.

⁶⁴ Вымышленная страна в романе Набокова «Бледное пламя».

«обегание всех деревянных мест» – по любимому ей выражению – все это придет с рождением первого ребенка, а тогда на вопрос: «Не обижает ли вас свекровь?» она отвечала, руководствуясь все тем же швейковским *ври!*: «С чего это вы взяли? – и нахально шла в плаксивое контрнаступление: «А-от спааги у мяя сперли в мастерской, они семьсот стоили рэ, а мне со всех дел тридцатник заплатили, а? Окажите содействие, а?»

Свекровь-то их и интересовала, а с кого, как не с молоденькой жены сына, начинать. Где начали, там и кончили. Не то что Сусанночка – ни один мамин ученик им службы не сослужил. Допросы прекратились после того, как какой-то школьник незаметно записал на кассетник свой разговор со следователем. Попытка расправы, шитье уголовного дела – это исходило от дирекции: эрекцию бдительности она демонстрировала с перепугу. Характерны методы – характерны для общества, а не только для нескольких «партийных» бюрократов с консерваторскими дипломами. Сегодня говорят «нравственный беспредел», сводя воедино лексикон блатного мира и божьего, что тоже характерно. Из кабинета проректора консерватории позвонили к родителям студента Бродоцкого: «Срочно приезжайте, с вашим сыном несчастье». А что, и правда несчастье («что, мы врать будем»), в разгар зимней сессии отчислен, и мало того, теперь еще загремит в армию. И все-то за то, что не дал показаний против своей бывшей учительницы, к которой его привели когда-то шестилетним.

Женя был вскоре восстановлен – благодаря родительским связям и своей явной непричастности к сионистскому подполью, – так и представляешь себе Ахимеира, Ставского, Розенבלата, в защиту которых пишет письма Андрей Сахаров. Когда сетуют на «нравственный беспредел», то понять уже ничего нельзя, путаница в головах полная. Что хуже: предельная нравственность или беспредельная? Незванный гость или татарин? И если да, то чем? А если нет, то нет. На нет и суда нет.

Ожидание визы или, наоборот, отказа в ней с последующим превращением в *отказника*, «предателя среди нас» – без работы, при полнейшем отсутствии социального иммунитета – было кромешным адом. В те три месяца, что оно продолжалось, рак унес моего дядю Исаака, могучего человека, который теперь, иссохший как мумия, агонизировал посреди чемоданов. Ритуальное задаривание профессором при очевидной обреченности больного сопровождалось ликвидной лихорадкой, знакомой всякому, кто в те времена «был в подаче». И притом ни на миг не отпускала мысль: а что как дело о мздоимстве учительницы или что-нибудь такое-этакое им удастся сварганить? Кто сказал, что «на нет и суда нет»?

Им не удалось посадить маму в тюрьму, но своим заточением в психиатрическую лечебницу в Тальбии она обязана им. Она то выходила оттуда, то снова возвращалась туда – в последний раз потрясенная гибелью своей сестры от рук террористов, – пока однажды волны Средиземного моря не вынесли на берег ее тело. Рабочий сцены сказал мне в перерыве, чтобы я спустился на проходную. Сначала я увидел девятилетнего Иосифа, затем Сусанну с двухлетней Мириам. Была суббота, ясное утро. Накануне шла «Катерина Измайлова». Сусанна была в дождевике, в туфлях на босу ногу. Первая мысль: «Кто, папа или мама?»

Не в пример консерваторскому, филармоническое начальство каких-то специальных кровожадных инициатив не проявило, ограничившись в отношении папы и меня предустановленным свыше регламентом. Да им особенно было и не возвращаться: с оркестрантов что взять? Торжественно из комсомола меня изгонять не пришлось, ввиду того, что я в нем никогда не состоял. По той же причине папу не пришлось исключать из партии. (Мое вызывающее *нечленство* прозевали, когда зачисляли меня в штат, – и так же точно, вопреки родительским предостережениям, оно сошло мне с рук при поступлении в Московскую консерваторию.)

Нас только отстранили от работы с переводом на половинный оклад и создали два народных собрания, где каждый второй выступал и клеймил – по сути себя же, за то, что выступал. От имени Мравинского зачитали краткое послание о любви к родине. Темиркунов присутствовал, но всем своим видом демонстрировал неучастие в происходящем: не проронил ни слова, не восседал в президиуме, а почему-то оказался рядом со мной на диванчике у стены, куда мне было указано сесть, – таким образом, импровизированной скамьи подсудимых не получилось. Он словно давал понять, что симпатизирует нашему отъезду, который при случае ему могли поставить в вину, – тогда еще никто не ожидал, что через несколько лет разбежится вся скрипичная группа, и на замечание, сделанное Мравинскому в Смольном: «Что же, Евгений Александрович, от вас люди-то убегают», – этот изверг рода человеческого ответит: «Это от меня? Это они от вас убегают».

Сегодня я слышу разное о Темиркунове, главным образом подтверждающее ту незыблемую истину, что «главных дирижеров надо душить в зародыше». Однако тот Темиркунов, которого я знал, никаких иных чувств, кроме признательности, во мне не вызывает. За несколько дней до отъезда – старта моей ракеты – мы столкнулись на Невском, лицом к лицу, в двух шагах от Филармонии. Я не знал, как он себя поведет, к тому же он был не один. На мой полукивок он остановился, спросил, скоро ли я уезжаю, и на прощанье обнял меня – лепрозорника. Такое не забывают.

Верили ли родители в мое писательское призвание? Может быть, на всякий случай «ничего не исключали», но они, бесспорно, считали эту мою страсть благородной и питали к ней уважение. По этой же причине не меньше моего их удручала невозможность вывезти ворох бумаг, представлявших собою роман под красноречивым названием «Боль в стране инфузорий». Его героям, одноклеточным из семейства *monas prodigiosa*, выпало небывалое: заграникомандировка в Москву – благодаря свойству оставлять кроваво-красные пятна на сухих местах. («Появление таких пятен на кушаньях и особенно на освященных опресноках не раз возбуждало фанатизм против евреев, которые сотнями платились за это жизнью», – прочитал я в статье «Биченосцы, или Жгутиковые» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.) В мартовском небе запахло обыском – когда маминого знакомого, взявшегося протащить пленку с моим романом, увезли прямо с грузовой таможни в погранчасть. К вечеру его отпустили, пленку сожгли. Я целый день проездил в метро с чемоданом, полным рукописей, – твердя сквозь навertyвающиеся на глаза слезы обиды за себя, за каждый листок, давшийся таким трудом: «Как преступник... как какой-то преступник...». В конце концов решено было оставить этот чемоданчик до лучших времен у Жени Бродоцкого, дополнив его еще моими детскими рисунками, тоже, видите ли, «не подлежащими вывозу».

Но с наступлением лучших времен я, позабывший и думать о своем чемоданчике, не больно-то рвался вступить во владение схороненным в нем. В кои веки раз приезжаешь, чаще в Москву, начинаются какие-то дела, какие-то развлечения, беготня, а тут из сентиментальной верности прошлому надо «оживить недоносок» (Баратынский). Немного совестно, правда. Семнадцать лет чемоданчик дождался меня на даче у Бродоцкого, в нем моя юность продолжала жить своей жизнью. «Все в порядке, все на месте», – сказал Женя, когда мы как-то раз встретились. Нет-нет, а все же наведываешься в страну, говорящую и думающую на твоём языке, тем более, что умудрился даже кому-то полюбовиться, – кому-то, впрочем, наоборот. Главное, нельзя сказать, что совсем обделен вниманием.

Проходит еще семнадцать лет. Русский триколор уже давно не противостоит советскому кумачу, он почтительный его преемник. Это в порядке вещей. Старая, узнаешь в себе своих родителей, а в своих детях себя, и тогда понимаешь то, от чего на сердце у тебя вдруг начинают скрестить кошки. (А в России – там свои кошки: тоже было свое пионерское детство, свои советские в доску родители и кобзо-

ны с кристалликами.) И тщишься «отыскать еще не уничтоженный, теплящийся след существования отца» (Платонов).

В последний раз, что я приехал, мы уговорились с Женей – по-моему, я даже не звонил, а мы встретились случайно на Малой Конюшенной, ох уж эти случайные встречи, как во сне, так и верь им! Значит, когда он поедет на дачу, чтоб взял меня с собой. Зима, электричка, станция – удачная (дачная!) кулиса для «сомнамбулического экскурса» (Набоков). Дорога от станции: мимо бани с парикмахерской впритирку, за ней ларек. Петербург Петербургом, а область осталась Ленинградской. Пришли. Мгновенно вспомнил чемодан, перебираю: тетради – хорошо, что не дали вывезти. Рисунки куда интересней, они – палимпсест, каждый поверх чего-то: пса-рыцаря рисовал под радиопостановку «Левша». То вдруг всплывает в памяти «Борец и клоун», фильм, – это вернувшись с него, рисовал цветными карандашами Поддубного, для наглядности мускулатуры положив перед собой «Мифы» Куна, а усы и пробор сличая с «Милым другом», раскрытым на картинке... на какой-то там картинке. Дата и подпись. Папа учил, что всегда надо ставить число. А подписываться я и сам был горазд – пусть знают, что рисовал не старший помощник младшего дворника, а Л. Гиршович. Ниже чернилами написано: «Русский борец Иван Поддубный, 5-А класс, отряд...» То, в чем я участвовал, называлось, кажется, «Олимпиадой культуры». В нашей школе она проходила не по полной программе: не выступали кружки музыкальной самодеятельности – девочки в пубертете не пели, возводя глаза к потолку: «Школьные годы чудесные...», под аккомпанемент уже осыпавшейся от ветхости Надежды Иосифовны Рейнхарт, чья палка стояла прислоненная к пианину... к пианине? В нашей школе такой вопрос бы не возник – у нас «пианины» исключались абсолютно, во всех классах стояли рояли.

Стоп. Это уже не я, эти три мне вернули по ошибке – их нарисовал другой художник, С. Крупин-Вайзер. «Страшное открытие» – космонавты видят, что Луна – только половинка шарика, без оборотной стороны. Еще рисунок: «Страшная танкистка» – в нимбе откинутого люка псиглавец с огромным бантом (вспоминается хоровой класс: наискосок Никитич, словно в подарочной упаковке, и Крупин угощает тебя из пластмассовой коробочки жареными пельменями, от которых потом лоснятся пальцы – и вставочка тоже).

Ага! «Страшная тайна. Убийство на пляже». И что же я теперь вижу – потому как тогда за «тайну» принималась таинственность: мол, чего там изображено, на рисунке-то? Двое на одного, что ли? Рядом женщина какая-то, в море корабль взрывается: из борта – пучок лучиков. Тогда это казалось загадкой. На самом деле это была разгадка. Я не обратил внимания на одну деталь, да она бы мне ничего и не сказала: из сумочки у женщины тоже вырывается пучок лучиков в барашках дыма. В направлении дерущихся.

О, как Жаботинский ошибался, говоря: «Последний свидетель – Вайзер (идиот, который сидел на берегу с девушкой, чей цвет глаз он даже не заметил), находясь в двадцати метрах, вообще ничего не видел, и только подбежав, увидел женщину и раненого человека». Может, и идиот, но отец Крупина все отлично разглядел, подтверждением этому рисунок сына. Он, Вайзер, потому и оказался в двадцати метрах от места убийства, что ему было приказано не спускать с Арлозорова глаз. Не исключено, что его – или его друзей – опередили. Как опередили и подстерегавших Арлозорова «Макса» и «Морица», у которых в очередной раз украли победу, – с ними это постоянно (в Берлине, похоже, об этом так и не узнают: «Пусть Зепп не обольщается», – писала Магда).

Крупин запечатлел некое семейное предание. Он рос в семье, которая была не как все – чем он гордился или утешался и о чем помалкивал, но не всегда удавалось сдержаться. Девиз «Моя семья – моя крепость», спасительный для бездомных, сохранял щелочку в палестинском алькове родителей. Хотя мы родились с

ним в один год, зачат он был на тель-авивском пляже в тридцать третьем. Отсроченное рождение в пандан отсроченной смерти, когда пуле на то, чтобы поразить цель, потребовалось почти три года.

«Колтуну сорок с лишним. Взгляд утомленного еврея-интеллигента, шапка черных волос, которые не берет ни одна расческа, маленькие усики», – так пишет Ахемеир о сокамернике по прозвищу Колтун. Этот уже тронутый сединой колтун я помню.

Жаботинский недоумевает: как могла она оставить мужа на случайных прохожих, когда пуля в живот – это так болезненно? Зачем самой бежать в отель – позвонить? Нельзя было послать кого-нибудь другого, кто и добежал бы быстрее? Моя бы Аня...

Не дай Бог, за ним с Аней увязались бы ночью двое, и он с ними схватился бы аж до потери пуговиц на пиджаке – а в этом смысле они с Арлозоровым были одного поля ягода: одинаково бесстрашны и одинаково близоруки. И когда они сцепились, Аня, вместо того, чтоб в воздух, пальнула в них, да еще не метясь, через сумочку, может, засуетилась, неловко доставала, и дело вовсе не в фильме про роковую страсть.

– Евреи убили его! – кричит она в отчаянии и одновременно в попытке снять с себя вину.

– Нет, Сима, нет (или: нет, Аня, нет), – он мыслит наперегонки с болью, стоя на четвереньках. – Это были арабы... запомни...

Его мысль не затуманена, ей еще отпущено два часа. Потом наркоз ее реквизирует, обещая возратить... но кому возвращать? («Солдат с войны домой пришел, а дома нет – проехал танк», – поет хор обмундированных по-тогдашнему. А ты им: «Соловьи, соловьи, не будите солдат». – «А их уж и не разбудишь ничем».) Она должна уничтожить все улики... простреленная сумочка еще опасней пистолета... пистолет у нее могли вырвать... простреленная с одной стороны... куда угодно выбросить... запрятать... пусть скажет, что ей надо в отель... там телефон...

Его мысль о ней, своей невольной убийце. («Да, я заплакал, сразу после выстрела – оттого что впервые в меня проникла пуля... Теперь у меня в животе, в какой-нибудь складочке – я же согнулся, а когда я сгибаюсь, то на животе образуются складки – например, в той, в которой с детства любит прятаться мой пупок, появилась дырочка величиной с горошину, что уже само по себе непоправимо... А еще заплакал, горько-горько, оттого, что представил себе, каково ей – как яд непоправимости проникает в ее сердце, а также от досады, что вопреки всему еще, может быть, не поздно...»)

– Сима, это были арабы... – и еще долго, уже на больничной койке, настаивал: – Стреляли арабы... – о чем есть свидетельство медсестры Лолы Блюмштейн и полицейского Шмулика Шармейстера, но ни следствие, ни суд не приняли это во внимание: Сима уже опознала Ставского. И еще, как показывает та же медсестра, он очень беспокоился за Симу и все повторял: придет ли она... когда она будет... что с ней...

Сима до конца своих дней настаивала на том, что убийцей был Ставский. Пусть психиатры и психологи в этом разберутся. Кровь Арлозорова десятилетиями лежала проклятием на правых. В идеологии, как и в вопросах веры, всякое сомнение – отступничество. Став главным персонажем идеологических мистерий, когда убийство Арлозорова только что не разыгрывалось ежегодно, Сима навсегда осталась при своей роли. Даже родная сестра в конце концов призналась: всегда втайне думала на немцев. Сима была подобна магу побежденного Митры, который трагически хранил Ему верность, презрев обратившийся в христианство мир.

Объективно нарисованное Крупиным ничего не значит – это, как говорится, не более чем факт моей биографии. К тому же нет ничего принципиально нового в утверждении, что сама Сима и стреляла. Замечу только: при выстреле, произведе-

денном сквозь сумочку, пуля, пройдя в теле не меньше двадцати сантиметров, в нем бы застряла. Сразу сами собой разрешились бы вопросы баллистики: средне-статистической женщине, стреляющей сквозь сумочку, не попасть среднестатистическому мужчине выше пояса. Поворот же кисти делает неизбежным прохождение пули вверх в направлении лопатки. Так мне объяснили.

«Я слышал, что его лишили палестинского подданства и собираются изгнать из страны». Ахимеир не в курсе, родители Крупина еще долго жили в Палестине. Государство было провозглашено в ночь на 14 мая, а корабль с оружием для правых, не пожелавших стать под начало Бен-Гуриона, был потоплен по его приказу 22 июня. Очевидно, история с «Альталеной» – судно называлось в честь литературного псевдонима Жаботинского – тоже входила в семейный канон. На рисунке убийство, совершенное в тридцать третьем году, происходит на фоне потопления «Альталены». Анахронизм, впечатляющий своим скрытым смыслом. Сеня слышанное дома воспринимал вне контекста истории. Его воображение поразило случай: женщина стреляет, не вынимая пистолет из сумочки, и попадает в собственного мужа, ночью, на пляже. Другой случай, когда с того же места по кораблю – пах! пах! – из пушки. Люди прыгают в воду, спасаются вплавь.

Но спасаются не все. Среди погибших – Авраам Ставский. Признанный виновным, он тем не менее по решению суда был освобожден из-под стражи «за отсутствием второго свидетеля». Согласно турецкому законодательству, действовавшему на подмандатной территории, это делало невозможным вступление приговора в силу.

Ставский вернется в Польшу, женившись, эмигрирует в США, но свою смерть он найдет в виду тель-авивского пляжа – от рук однопартийцев Арлозорова, почти на том же месте, едва ли не в один с ним день по еврейскому календарю. Тоже отсроченная смерть? Рассказывают, Ставский собрался отстреливаться и выхватил пистолет. Успел он выстрелить или нет, он так или иначе попал – в кого целился. Огнем с берега командовал двадцатилетний Ицхак Рабин.

Я на две трети успел написать эту прозу, когда узнал нечто из области семейных преданий, относящихся на сей раз к нашей семье – в ее поза-позапрошлом поколении. Моя четвероюродная тетка, которую я видел лишь однажды, которой сейчас за восемьдесят (как говорится на иврите, до ста двадцати) и которая когда-то играла на скрипке в «Оркестре Колонна», – приходится внучкой Абраму Гиршовичу, моему двоюродному прадеду (как опять же говорится, благословенна память его – здесь ненапрасно говорится, ибо так оно и есть). Их было три брата, зачин русской народной сказки: Мойше, Борух и Аврум. Мой прадед, Моисей, служивший прокуристом в одесском отделении Черноморо-Азовского банка и, когда в 1916 году его разбило параличом, выбросившийся из окна; Борис, не имевший детей, но оставивший после себя с десяток зданий в С.-Петербурге, в одном из которых читатель почти наверное бывал – кто не бывал в кондитерской «Норд»? И третий – Абрам, раввин. В Йом-кипур 5277 года (1916) он погиб, пытаясь перейти линию фронта. Он собирался предотвратить, по его представлению, величайший из грехов: убийство еврея евреем в Судный день. Евреи воевали с обеих сторон. Он хотел договориться, чтоб не стреляли на то время, что продолжается Йом-кипур. Он надел цилиндр и пошел прямо на огневые позиции австрийцев. Он шел парламентом Бога...

Эту историю месяц назад привез мой сын из Парижа, где, помимо прочего, нанес «визит любознательности» пожилой даме, проживающей неподалеку от метро «Мальзерб».

Май – 21 ноября 2007 г.

ЧЕРЕЗ ПОЛНОЧНУЮ СТРАНУ...

* * *

Дерева в объятых снегопада,
Дерева,
От Оби до Хладокомбината –
Глушь и марева.

Лабиринт снегов нерукотворный
И души
Обмирает в Господу покорной
Пустоши.

Выстужена до преображенья
Родина,
В жертву для любви-богослуженья
Отдана.

Вот оно, усилие полёта...
Выпротай
Душу из пурги круговорота
И растай,

И останься, чтобы по сугробам
Выбрести
В ожиданье милости за гробом,
Милости...

2006

* * *

Загрустит над срубом журавель,
Мол, одна дорога – в Куршавель,

Закурлычет вслед за косяком,
Полетит по небу босиком,

Над станицей, Господи, прости,
Ты, бабуля, нас перекрести,

Над рекой, над полем молодым,
Там ли вьётся Прохоровки дым,

Там ли бьются с ворогом братья,
Там ли, там ли вылупился ты?

Там скрипит под ветром журавель,
Что одна дорога – в Куршавель...

2008

* * *

Над сонным лугом...

А. Блок

Рыжий коршун круги нарезает,
Ждёт подачи, варнак.
Закипел на костре в палисаде
Котелок... Коли так,
То пора надевать телогрейку
И картошку копать,
Строить вечную узкоколейку
И вину искупать.

Выпей, Павел, корчагу смиренья
И любовь – не суди.
Самурайскую веру боренья
В роднике остуди.
Ведь не в рабстве, не в силе державной
Наша боль и вина,
Но – пред Господом жалью стожарной

Обнажена.

2008

* * *

Б. К.

«Самое главное это стихи», –
Так говорят на Оби остяки.

Если увидел на льду остяка,
Знай: он стремится по следу стиха.

Нет без любви и без веры стихов,
Нет без улова живых остяков.

Всяк, переполненный свежим стихом,
С Пушкиным родственник и с остяком.

Без вдохновения, по пустяку
Ты не ходи на поклон к остяку.

Проза презренна. Не будь простаком!
В солнца сиянии – стань остяком!

2007

* * *

И след за кормою,
И вкус земляники во рту,
И небо,
И шлейф облаков из-за дальнего леса.
Меняются чайки
На долгом парома борту,
Звено за звеном
Поднимаются с кромки железа.

За крошками хлеба,
За-ради жестокой игры,
В воздушном бою,
На форсаже, на самом пределе!
И крики, и гвалт поднебесный,
И визг детворы,
Как чистая линия,
Тонкая пряжа кудели.

За белую чайкой
Поднимется в небо пацан –
Дворовый пройдоха,
Придумщик, малец конопатый,
Он стал капитаном,
Антошка, Антон, Антуан,
Штурвал на себя, до отказа...
Но только куда ты?

Куда ты, малыш?
Имя Чести уже не в чести.
Пустынна планета.
А звёздам без нас одиноко.
И как без тебя
Будет алая роза цвести
На лиственном склоне
Златого Алтая отрога?..

2003

* * *

Не ради Мира и Труда,
А для рекламного щита
Соорудили башню.

Ревела буря, гром гремел,
А мир ничтожел и хамел –
Сапожный и собашный.

Кренится башня и трещит,
И с высоты сорвался щит
И рухнул на прохожих!..

Убиты Ева и Адам.
И не найти по городам
На Господа похожих.

2008

ИЗ ГОРНЯЦКОГО ДЕТСТВА

Утром форточка открыта,
А над нею – чик-чирик,
И синичья звень, и сита
Злато-солнечного блик!

Духа блинного шкворчанье
На жаровном чугуне,
И воскресное качанье
Жёлтых зайцев на стене.

Это масленицы марта
Световая кутерьма,
Где, по-козьему космата,
В клети топчется зима,

Где сосульки пробивают
Сто колодцев до земли,
Где ещё весна бывает
В ослепительной дали!

Это рыхлые сугробы,
Под которыми вода,
Это рухнувшие гробы
Грубо колотого льда.

Это вынырнув из драки,
Мимо станции Топки
Весело бегут собаки,
Свесив набок языки...

2008

ПИМЫ

От корчи, порчи и чумы
Спасут меня мои пимы,
От жара-лихоманки,
От сора-перебранки,

От злой простуды и тоски,
От пьянки, рвущей на куски,
От полуправды вечной
И от жены сердечной,
От жажды славы и креста,
От страха чистого листа,
От близости ревнивой,
От низости ленивой.

Но не спасут мои пимы
Ни от сумы, ни от тюрьмы,
Ни от любви-печали,
Ни от слезы в начале
Тягучей медленной строки,
Из дребезги и шелухи
Явившейся на волю
Согреть мою недолю...
Я погружусь в мои пимы
Ещё до будущей зимы:
И нега, и отрада,
И думу думать надо.

2005

* * *

Через полночную страну,
Через страну полночную,
Сквозь облачную тишину
Бездонную, бессрочную,

Через поля, через моря,
В серебряном сиянии
Летел, увы, не я, не я –
Мой ангел расстояния.

Летел мой ангел за меня
Изведать дали дальние –
И средостение огня,
И льда первоблистание,

И хлябей пепельную мглу,
И бурь коловращение,
И откровения иглу,
И тайны причащение

Он возвещал мне... И плыла
Под сердцем влага талая!
И мной вселенная была –
Великая и малая.

Через полночную страну,
Через страну полночную

Душой летучей загляну
Во тьму безоболочную.

Туда, где ангела крыло
Мне помавает, светлое,
Туда, где всё уже прошло,
Где будет всё – наверное.

О, будь, мой ангел, милосерд,
Не оставляй старание!
И в космосе, и в ме-ло-се –
Я твой слуга заранее.

И лишь туда, где спит звезда
У Рождества заглавия,
Нас не допустит никогда
Небесная Аравия...

2008

* * *

Тополя шумят,
Шелестят,
К изголовью вал
Набежал.
Это просто – жить
Перестать,
Посулился быть,
И пропал.

Обещал любить,
И исчез,
Сочинял стихи,
И – молчок.
И в составе здешних
Веществ
Не найти тебя,
Дурачок.

Где ты есть сейчас?
Кто ты есть?
То ли добрый дух,
То ли дым...
То ли ты, прознав
Божью весть,
Стал уже навек
Молодым.

Океанский вал
Набежал:
Шум прибоя, шелест
И плеск.

Это снова я
Оплошал –
Не расслышу друга
Окрест.

А листва на вдохе
Кипит,
Восхищая ввысь –
Из груди...
И вовек никто
Не убит.
И один лишь день
Впереди.

2008

* * *

П. Крючкову

Не журись, Емеля-дуралей,
Поезжай, Емеля, на Алей!

Заживёшь от мира вдалеке
На Алее – медленной реке.

По степи течёт она, течёт,
Переправы всё наперечёт.

В омутах – то щука, то карась.
А назавтра – то же, что вчерась.

Там быки гуляют без портов,
Всё хвостами хлещут паутов,

По утрам сороки просто так
Брешут – хуже радио «Маяк».

Каждый житель знает что почём,
Пузо чешет солнечным лучом,

Мёдом запивает огурец,
Сам себе – натура и творец.

На тебе! Емеля, кочергу,
Чтобы разгонять метель-пургу.

На тебе! – и сани-полоза,
Дабы жить без хода колеса.

По зиме ты проруби руби,
Божие веленье полюби...

И храни, как смертное бельё,
Дуракаваляние своё.

2008

* * *

Червяк дождевой поселился под стелькой ботинка,
Ботинок лежит под крылечком аки сиротинка,
Крылечко давно от дождей, как зола, серебреет,
А дождик с подзола небесного сеет и сеет.

Последний паром уплывает во мгlistую осень,
А снежный десант, боже мой, разбивается оземь,
Где вера хранит до пришествия света былого
Разумное, доброе, вечное семя и слово.

Под стелькой, под столькими-столькими сада ветвями,
Под сельскими сводами серыми и облаками,
Под детского лепета – ангела крыл оберегом –
Ещё наградит меня Боже теплом и ночлегом.

А после: куда и зачем – непонятно и немо,
Рябина пылает и – ах! мироточит фонема...
Нанижет меня на крючок, благодатью палима,
В печали по Царствию рыбью рука серафима.

2008

МЯСО

ПОВЕСТЬ

Моему брату Евгению

1

Огромный тысячеваттный фонарь дохнул оранжевым и затих, оставив пространство перед КПП холодному лунному свету. Артур вздохнул и проткнул сапогом слюду на поверхности лужицы. До подъёма оставались считанные минуты...

Скоро выйдет из казармы старшина и сунет ему в руки пакет с сухим пайком, в котором вместе с бездушными консервными банками будет пакетик с домашними коржиками и трогательные вязаные варежки. А потом за воротами посигналит машина, и время застынет в немом ужасе...

Что ж, знал он про «круги своя». И, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Убеждался неоднократно на своей собственной шкуре. Не в силах, да, в общем, и не желая что-либо изменить.

Как знал он и то, что вслед за криком дневального оживёт, зашевелится сонная казарма. Вздохнёт сотней простуженных глоток. Скрипнет по израненному линолеуму двумя сотнями кирзовых сапог. И хлынет из дверей наружу...

Артур вытащил последнюю сигарету, смял пачку и бросил под ноги. Присел на крыльцо. Закурил. Дым, смешавшись с паром из лёгких, окутал его густым белым облаком. Во рту стало горько. Он сплюнул и растёр подошвой плевков.

Пять минут до подъёма. Тишина, отживающая своё, становится плотной и почти осязаемой. В ней всё принимает причудливые формы: и силуэты нагих деревьев, и виднеющиеся за забором цеха завода, и даже сигаретный дым. В густой тьме он словно обволакивает, обнимает невидимые простому глазу очертания, комки и сгустки...

Три минуты. Скоро шофёр поможет ему запрыгнуть в скрипучий, забросанный комьями земли кузов, и старенький, выдавший виды «ЗИЛок» отвезёт его в расположение гарнизона. Он пройдёт по двору, провожаемый тоскливыми взглядами солдат в красных погонах, взойдёт на крыльцо маленького кирпичного домика, где усатый молодец с серыми глазами сволочи снимет с него ремень и, брезгливо скользнув пальцами вдоль тела, вытащит из кармана галифе пачку «Мальборо». Потом нарочито больно стачит с запястья часы, прочтёт золотую надпись на порошке эмалью циферблате, и серые глаза его подёрнутся мутной пеленой...

После, зайдя в маленькую сырую комнатку, он прохрустит кирзой, давя комки хлорной извести и, облокотившись на пристёгнутые к стене нары, поправит сбившийся воротничок планиды. И тогда откроется со скрипом окошко в двери и бледная от ненависти рука плеснёт воды на рассыпанную по полу хлорку...

Минута до подъёма. Артур швырнул окурки во тьму и распечатал новую пачку. Закурил. Вытянул руку и поймал шальную снежинку. Шагнул с крыльца и подставил лицо реденькому снегу. Вдохнул, набрав полные лёгкие воздуха. Расправил до судороги, до сладкой истомы руки. И всё.

«Рота, подъём!» – крик дневального прорезал тишину, разорвав её в клочья, разрушив её покойное очарование.

И наступило утро. Артур так и стоял, раскинув руки. Лишь чувствуя, нет, не слыша – именно чувствуя, как за его спиной медленно просыпается зверь о ста головах и, оживая сам, наполняет жизнью бездушные стены казармы.

А потом, когда сигарета истлела и Артур прикурил следующую, они выходили наружу, съёжившись и похлопывая себя по плечам – воины страны с рвущимися по швам границами, защитники отечеств, стянутых веком в аморфный ком.

– Мусчины! – хрипел младший сержант Онуфриенко. – Носочек тянуть до хрусту... Носочек тянуть, я сказал!

У брусьев стояло с десятков старослужащих. Пространство вокруг них было пропитано матом и смрадом сигарет «Гуцульские».

– Давай, Ануфа, постриги дикобразов, – крикнул кто-то.

– Сэчас дам, брат-джан, – отозвались из строя. – Так дам, что давалка вспаеет...

– Опух, кабан?! – донеслось с брусьев. – Как со старым разговариваешь?!

– О-ля-ля! Какой ты мне старый, перкеле?! Мой старый в Хаапсалу рыбу ловит.

– Молчать, зверёныши! – брызгал слюной младший сержант Онуфриенко. – Загоняю до озноба!

– Валяй, брат-джан, гаяй. Не сиводня-завтра бардак распустят, из твоей кожи рэмней на партупею нарежу...

Онуфриенко выругался и повёл расхристанную толпу с плаца. У брусьев к строю примкнули старослужащие.

Артур выбросил окурок и повернулся к шагающей в его сторону ремонтной роте. Надел шапку. Застегнул крючок на воротничке. Поправил ремень и одёрнул гимнастёрку. Когда между ним и первой шеренгой оставалось несколько шагов, младший сержант Онуфриенко вскинул голову и закричал:

– Равняйся! Смирря! Равнение – на – ле-у!

Артур поднял ладонь к виску. Невольно затаил дыхание.

Они шагали сейчас в его честь. Вытянутые по струнке. С идеальной оттяжкой носка. И младший сержант Онуфриенко рисковал гауптвахтой.

О да! Ради этого стоило жить! Ради этого стоило гнить на гарнизонной киче, вдыхая хлорку и поливая слезами пол!

Проводив взглядом чеканящий шаг строй, Артур опустил руку. Обернулся. К подъезду подходил батальон охраны. В утренней тьме показался он Артуру непривычно малочисленным.

– Батальон, смирно! Равнение на... право! – крикнул сержант Качарава, и Артур снова поднял руку.

И всё. Потом они ушли в столовую, вдавливать в ломоть хлеба податливую желтоватую святыню, глотать комки каши из неведомых доселе круп. Артур остался один.

Теперь можно было расслабиться. Вздохнуть по бабьи, со всхлипом. Затравленно оглядеть наполненный тенями двор. Похожую на виселицу тень брусьев. Погружённый во мрак плац. Зловещие корпуса завода за увенчанным колючей проволокой забором. И потянуться за спасительной сигаретной пачкой дрожащими пальцами. Зрители покинули арену. Ломать комедию было не перед кем.

– Чего не на завтраке, Сагамонов? – замполит части старший лейтенант Комар появился прямо из воздуха. Подкрался, как хищник из семейства кошачьих.

– Боюсь к третьему звонку опоздать, – Артур сжал до боли кулаки. Не любил он, когда его заставляли врасплох.

– Шутник, – улыбнулся старлей. – С твоей бы выдержкой старшиной на дембель пойти. Если бы мозги мухи не загадили.

– К чему мне выдержка. Для меня гарнизонная губа – что дом родной. Да и зима стоит тёплая. Семь суток пролетят, как семнадцать мгновений весны. Глядишь, ещё и загорелым назад вернусь. Назло врагам мировой революции.

Артур закурил. Затянулся. Нарочито медленно опустил руку с сигаретой.

– Артист, – рот Комара скривился в ухмылке.

– Приходится. Серьёзные здесь в карауле стреляются. Или несварением желудка страдают.

Он выпустил дым прямо в лицо офицеру.

– Ммм, хороший запах, – сказал тот, втянув носом воздух. – Небось не «Гуцульские»?

– Не а.

– Ну-ну. С солдатской полочки купил?

– Ага, как раз на пачку хватило.

Старлей замолчал. Долго стоял не двигаясь, только глаза его смотрели на Артура из темноты. Потом он сказал:

– Ладно, Сагамонов. Бросай сигарету, пошли в казарму. Разговор есть.

– Вы идите, я догоню. Сигарету жалко. Всё-таки одна двадцатая солдатской полочки.

Артур отвернулся.

– Рота, смирно! – услышал он крик дневального за своей спиной.

2

Замполита Артур нашёл у себя в кабинете. Тот сидел за письменным столом и курил сигарету. Перед ним на полированной поверхности лежала тонкая серая папка-скоросшиватель.

– Разрешите войти? – спросил Артур.

– Вошёл уже, – замполит помахал рукой, разгоняя клубы дыма перед своим лицом. Потом затянулся и вдавил окурочок в обрезок артиллерийской гильзы.

Артур подошёл к столу. Отодвинул стул. Сел. Достал из кармана пачку «Marlboro», вытащил из неё сигарету и вставил в рот. Взял лежащие на столе спички.

– Сигарету убери, – сказал Комар. – Держи себя в руках. Курить в расположении роты – прерогатива командного состава.

Артур швырнул сигарету на стол.

– Приберите на потом, товарищ старший лейтенант. А то курите дрянь всякую...

Комар молча покачал головой. Взяв со стола папку, раскрыл её.

– Так, что тут у нас, – он потёр рукой подбородок. – Сагамонов Артур Александрович, семьдесят первого года рождения, уроженец города Башмак, холост, образование незаконченное высшее... ммм... мать – завзлом в ресторане «Ереван»... так... тут у нас всё заурядненько, – он перелистнул страницу, – а вот здесь начинаются чудеса. Танковый полк Страхув. Учебная рота. Семь суток ареста и прокурорское предупреждение за нанесение телесных повреждений старшему сержанту Тарасенко... Это что же за повреждения такие?

– Проникающее ножевое в мягкие ткани бедра, – ответил Артур, глядя на склонившегося над документами замполита исподлобья.

– Ууууу, – Комар сделал изумлённое лицо. – За проникающее ножевое семь суток ареста?! Это как это?

– Вы что, эти листы в первый раз видите?!

– Нет, не в первый. Но не устаю удивляться. Это же нонсенс. Посвяти же меня в неведомые мне тонкости военной юриспруденции.

– Тарасенко отказался от показаний.

– Чего вдруг?

– Оказалось, он на штык-нож случайно сел. В темноте не увидел.

Комар оторвался от текста и посмотрел на Артура.

– Ты ведь незадолго до инцидента с Тарасенко из госпиталя вернулся, где находился с множественными ушибами и сотрясением мозга, полученными тобой в результате ночного падения с лестницы. Тебе Тарасенко этот, случайно, не помог упасть?

Артур промолчал.

– Ну-ну, – сказал Комар, наморщив переносицу. – Читаем дальше. По окончании учебного подразделения очередного звания не присвоено. Отправлен рядовым в войска. С третьего апреля на авторемонтном заводе. За нарушения воинской дисциплины неоднократно содержался на гарнизонной гауптвахте, где наотрез отказывался работать, а также оскорбил действием ефрейтора Хамракулова, исполняющего обязанности выводного. Оскорбление действием – это пощёчина, что-ли?

– Она самая.

– Прямо вот так вот воину с автоматом и полным боекомплектом влепил леща?! Артур промолчал.

– И что, тоже с рук сошло?

– Нет, почему же. Десять суток добавили.

– Нууу?!

– Ладно, хватит паясничать, вы же сами приказ подписывали...

– Товарищ старший лейтенант.

– Чего?

– Обращаться, говорю, по форме надо, когда с офицером разговариваешь.

– Ладно, хватит паясничать, товарищ старший лейтенант.

– Держи себя в руках, – повторил старлей. – За воротами тебя уже машина дожидается.

Он снова уткнулся в папку.

– Три месяца назад проходил по делу о хищении воинского имущества. Тааак... Получил прокурорское предупреждение... Ну, Сагамонов! Как это тебе удаётся?! Ты на меня прямо суеверный страх нагоняешь. Может, ты разведчик в высоком чине, поэтому тебя командование бережёт? Даааа, чудесааа! Стащил партию финских электродрелей в кол. три тысячи шт., а ему хоть бы хны! Прокурорское предупреждение!

– Эти дрели разворовывали в течение последних пяти лет. А я просто уснул на посту и пропустил Дудинцева.

– Ладно, – Комар закрыл папку. – Мне-то что. Я-то чудеса люблю. А вот твой бывший командир майор Усков настаивает на пересмотре. Что и логично. Прокурорское предупреждение – это условный срок. Так что, скорее всего, он своего добьётся. И получишь ты свою первую судимость, рядовой Сагамонов, и сделаешь, наконец, свой первый серьёзный шаг по дорожке, протоптанной твоим легендарным папашей.

Артур вздрогнул.

– Не трясись, воин, – ухмыльнулся замполит. – Плохо, когда враг о тебе всё знает. А я не враг. Я – замполит части, твой старший товарищ и духовный наставник. И моя главная задача – это вернуть тебя на правильный путь, если это, конечно, возможно. Задача же командира кадрового батальона охраны майора Ускова, которого ты опозорил в присутствии всего личного состава, – сгноить тебя

либо в дисциплинарном батальоне, либо в исправительно-трудовом учреждении. Лично я советую второе. Даже если на более длительный срок.

– Так, ладно, я пошёл, – сказал Артур и поднялся.

– Ты куда это? – Комар недоуменно уставился на него.

– Надоел мне ваш длинный рассказ ни о чём...

Артур надел шапку и подтянул ремень.

– Разрешите идти?

– Сядь, – старлей посмотрел на него исподлобья.

– Я...

– Сядь, я сказал.

Артур сел. Сорвал шапку, бросил на стол и уставился прямо в глаза замполиту.

– Третий батальона охраны находится в госпитале, – сказал тот.

Артур молчал.

– Отравились чем-то, весь суточный караул, – продолжил Комар. – С минуты на другую военная прокуратура подтянется, будут разбираться.

– Я, что же, под подозрением? – ухмыльнулся Артур.

– Дело не в этом.

– Не в этом? А в чём же?

– Людей не хватает. Каждый человек на счету. Так что плакала твоя гауптвахта. Завтра в караул заступаешь.

– Вы хотите, чтобы я охранял завод?! После финских электродрелей?! После моего перевода в ремроту с клеймом «непригодности к несению»...

– Нет. Не завод, – оборвал его замполит. – Ты поедешь на пост номер семнадцать.

Артур расхохотался.

– Именно, – сказал Комар. – Ты не ослышался. Поедешь, отмочишь и вернёшься, покрыв себя несмываемой славой. А я во время твоего отсутствия подумаю, как тебя вытащить из вонючей выгребной ямы, в которую ты по неосмотрительности попал и в которой так элегантно барахтаешься. С «мальборой» в зубах, и так далее.

– Вы... – начал было Артур, но Комар его перебил.

– Тихо, солдат. Побереги энергию для службы. Думаешь, я не вижу, как у тебя поджилки дрожат. И правильно дрожат, между прочим. Потому как дошёл ты до точки, за которой остановиться уже нельзя...

– Всё, закончили? – зло спросил Артур. – Караул я, так и быть, отмочу. А на политподготовку я вам пару юродивых пришлю, если у вас ораторский нерв засвербило.

Он нахлобучил шапку.

– Пропавший ты человек, Сагамонов, – сказал Комар, протягивая ему лист бумаги. – Подпиши.

Артур взял в руки документ и вчитался в казённые фразы:

«Я, Сагамонов Артур Александрович, 1971 года рождения, уроженец города Башмак, заверяю, что инцидент с командиром КРВБ майором Усковым произошёл в момент моей полной невменяемости, вызванной употреблением препарата группы противифосгеновых антидотов...»

Таблетки, заключённые в маленький серый футлярчик, похожий на пенал для циркульных иглолок, назывались «Торен».

– Два колеса – и ты в Зазеркалье, – рядовой Бугунов прищёлкнул языком.

– Главное, чтобы не в кроличьей норе, – сказал Артур и пошёл в казарму.

Зайдя в умывальник, он высыпал на ладонь всё содержимое пенала. Таблеток оказалось пять. Он бросил их на язык и смыл внутрь водой из-под крана. Затем прошёл в расположение и лёг на кровать. Закрыл было глаза, но тут же зажужжали, зароились в черепе привычные мысли, и он приоткрыл веки.

В комнате стемнело. Чёрт, сколько же он уже лежит?! А может, это действуют таблетки? Странно. Никаких новых ощущений...

Вдруг какая-то мысль, мелкая, как букашка, выползла из глубин его мозга. Он наблюдал за ней, притворившись сонным, он пытался проникнуть в неё, пройти сквозь тончайшую оболочку её эфемерной формы, но не смог. И тогда она начала расти, наливаясь пунцовым, перекатываясь, шевеля своими толстенькими ложноножками-щупальцами.

Артур испугался. «Ведь как же», – подумал он, – «ведь если же два сообщающихся сосуда сравниваются по объёму, то объём одного из них станет равен...»

Сосуды не сравнялись. Когда отливающая всеми цветами радуги амёба мысли (Артур понял вдруг с ужасающей ясностью, что цвет есть качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона) почти сравнялась по объёму с оболочкой его мозга и он уже чувствовал боль от расплюснутых гипоталамуса и шишковидных тел и слышал хруст лобной кости... она вдруг лопнула, пролившись багровым дождём на зрительный бугор, открыв Артуру клинопись истинной своей сути.

Стены и потолок помещения, в котором он находился, были покрыты зловещими кровавыми надписями, пугающими своей одинаковостью.

«ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ», – гласила каждая из них.

Внезапно Артур понял, что раз надписи везде, то, значит, нанесены они не на побелку, а прямо на радужную оболочку его глаз.

Он вдавил кулаки в глазные яблоки, но кровавая вязь не исчезла.

«Эх, скипидару бы!» – мелькнула мысль, и он уже начал было рыться по тумбочкам в поисках желанной жидкости, когда потолок и стены запестрели вдруг надписями «ЭХ, СКИПИДАРУ БЫ!».

«Что же там раньше было!» – мучительно напрягся Артур, и потолок молниеносно отреагировал длиннющей и широченной «ЧТО ЖЕ ТАМ РАНЬШЕ БЫЛО», зато на стенах засветилось муаровым светом многократно повторённое «ВРАГ».

«ВРРАГ! ВРААГ! ВРАГГ», – подумал Артур, встал в проходе между кроватями и принял боевую стойку.

Грязные полосы на линолеуме стали зелёными и мшистыми, пол прогнулся под его ногами, а кровавые надписи на стенах колыхались, как листья кувшинок на поверхности подёрнутого рябью озера.

Он двинулся по проходу, реагируя на каждый шорох, готовый каждую секунду нанести смертельный удар тому, который не дремлет. А воздух в помещении, казалось, был соткан из шорохов. Вот вибрирующая погремучка ползающей под кроватью гремучей змеи. Вот полувсхлип-полустон мучаемого кошмарами филина. Так. А это – Артур прислушался, он просто весь превратился в орган слуха, он прямо чувствовал, как раковина его уха, приняв форму патефонной улитки, вытянулась навстречу упругим ультракоротким волнам, создающим в окружающем его киселе видимые простым глазом колебания, – а это таракан за стойкой третьей от двери кровати чешет ножкой хитиновое крылышко. Стены вокруг Артура запестрели графиками дифракций и интерференций, заставив его задуматься о том, как зависит амплитуда звуковых колебаний и изменения положения частиц от единовременной разницы достигаемых самими волнами фаз. Бррр... Он знал, что разгадка не за горами. Знал уже потому, что графики на стенах загнулись в сторону гиперболического, а что касается цветов, то здесь преобладали, да что

уж там – царили безраздельно оттенки, благородные и нежные, среди которых особо выделялись «нейчерал фэнси брауниш еллоу» и голубой травертин. Но главное, главное таилось всё еще за мутным чертогом безвестности, выставив наружу лишь свои такие тоненькие, многообещающие метастазы... Бррр...

Артур присел на колени и сжал ладонями голову. Почувствовал, как она пульсирует, бьётся под его пальцами и понял вдруг, как ошибалось человечество, почитая грудь за обитель сердца.... Бррр...

И он поднялся с колен, познав главное. А главное заключалось в том, что надпись «ВРАГ» исчезла со стен. Вначале он было усомнился, но надписи «СЛОВО ВРАГГ ИСЧЕЗЛО СО СТЕН» запестрели на штукатурке.

И комната умерла, потеряв свою ценность. Стала сосновой шишкой, на которую помочился самец из другого племени... Бррр...

Он вышел из расположения. Чёрный гляцевый коридор дышал и всхлипывал вокруг него, протягивая щупальца с розовыми сосочками на конце. Артур двинулся по нему, невольно повторяя ритм колыхающейся вокруг чужой материи. Он искал надписи, но надписей не было, а значит, ВРААГ где-то дальше. Притаился с намерением нанести удар.

Розовый сосок задел его лицо, оставив на щеке полоску прохладной слизи. Артур стёр её рукавом гимнастёрки и залепил окаянному отростку звонкую затрецину. Щупальце обиженно втянулось, оставив розовый пяточок в смолистом глянце стены.

«Нет, точно не ВРРАГ», – подумал Артур. «Ибо враг есмь равнеши ако сам».

И дальше подумалось ему: «Яко словесами не изыдिति, а сподобляши не изведати, но прежде падших возставляеши, то от врагов видимых и невидимых избавляеши...»

«Ага!» – пронеслось в голове. «Значит, всё же вооружаться...»

В следующий момент он наткнулся на часть тумбочки дневального, торчащей из пульсирующей блестящей хмари. Чуть выше тумбочки, прямо под розовым соском, болтался штык-нож. Артур поднял взгляд и наткнулся на выпученные глаза, глядящие на него прямо из чёрной поверхности.

«Что же ты в латексе-то, как пидор!» – возмутился было Артур, но вдруг понял, насколько наполнены эти рыбы пузыри, эти зенки, эти окуляры смертельной мукой, и гнев его тотчас прошел. На смену ему явилась жалость, но не слезливая бабья, а жалость воина, единственная допустимая кодексом Бушидо и уставом строевой службы... Брр... А приняв это сколь великолепное, столь и величественное чувство за откровение, каковым оно, по сути, и являлось, Артур выхватил из чёрных теснин штык-нож и из величайшей милости попытался эти глаза выколоть. Но взвились, крикнули, завизжали глаза, заголосили на чистейшем таджикском: «Ай, куси апат бакерам! Ай-ай-ай, анна шагом!» И потом: «Сагамонов, миленький, брат, пощади...»

«И ведь, стервец, имя моё знает!» – подумал Артур. «Да, далеко зашло...»

Но ткнуть лезвием в ненавистный зрачок ему так и не довелось. Его внимание привлекла противоположная часть коридора, стены которой были испещрены уже знакомыми красными надписями по белой штукатурке.

«ВРАГГ!» – сказал он глазам и назидательно покачал перед ними ножом. Те вскрикнули и утонули во тьме.

Коридор был пуст, если не считать знакомую вязь. У двери расположения четвёртого взвода буквы укрупнялись, каждая из них была теперь размером в полстены.

– Недолго уже, – прошептал Артур и увидел слова свои, вылетающие изо рта, словно пар на морозном воздухе.

Слова, выполнив петлю Нестерова, влетели в распахнутую дверь. Артур задумался было об аэродинамике перевёрнутого полёта, но быстро понял, что короток был блаженный миг созерцания, что истина вновь сокрыта за пеленой темпоральной причинности, как вдруг слова влетели обратно, повторили мёртвую петлю, а прямо на двери появился график. Несмотря на его сложность, Артур быстро сообразил, что график – суть кривая Жуковского для перевёрнутых полётов и, сдвув пару нулей с кривых потребных и располагаемых тяг, он шагнул внутрь помещения. Шагнул со спокойной совестью. Твёрдым шагом уверенного в своей правоте человека. Несмотря на пол, исполняющий под его ногами дьявольский краковяк.

Лес двухъярусных кроватей уходил верхушками в поднебесье. Артур взял штык-нож в зубы и принялся карабкаться по извивающимся под пальцами металлическим стойкам. Гибкие ответвления и отростки хлестали его по щекам, затрудняя подъём. Он хотел было перекусить один из них, но помешал зажатый во рту нож. Сердито засопев, он полез дальше.

Верх разочаровал его своей простотой и банальностью. На незастеланных постелях лежали люди. Прыгая с кровати на кровать, он наклонился к ним, вопрошая:

– Ты ВРАГГ?

Не ответвляя, они с криками прыгали вниз, в укутанную туманом бездну, и юный горный ветерок доносил заунывную песнь их бьющихся о камни тел.

Когда наверху уж никого не осталось, а истина была ещё сокрыта мраком безвестности, Артур стал спускаться вниз. Спуск, как это водится, был тяжелее подъёма и занял часа полтора.

«Где же бранные останки, где комья истерзанной плоти?» – подумал Артур, вступив на серый, в разводах, линолеум. Тотчас, гудя и пуская облачка пара, примчался ответ.

«Санитары» – вздохнул он. Но тут же игла сомнения воткнулась в подкорку.

«А почему так быстро-то!»

«Чух-чух», – приехал ответ. «Спецпаёк с надбавкой за вредность...» «Или за вредительство? Нет, за вредительство должны бы убавить... Хотя, если, конечно, срок, то могут и добавить, за вредительство-то...»

Окончательно запутавшись, Артур покинул расположение. В коридоре его встретили белые стены и выскобленный до неприличия линолеумный пол. Между левым и правым крылом одиноко темнела пустая тумбочка дневального, осенённая, словно крестным знаменем, красным флагом части. По ту сторону вестибюля взору открывался свежeweбеленный коридор. Ни тебе розовых сосочков на чёрных щупальцах, ни красных надписей на стенах.

Артур мотнул головой и направился к закрытой входной двери, по дороге отряхивая липкое чувство тревоги. Всё было слишком гладко, слишком спокойно. Слишком твёрдый пол, слишком белые стены. ВРААГ покинул казарму, это ясно. Всё говорило в пользу этого предположения. Хотя, может быть, просто кончалось действие... Какое, чёрт побери, действие?!

Почувствовав спазм в желудке, Артур согнулся, и его вырвало словами. Крошечные и милые, они расползались из образовавшейся на полу тёмной лужицы, насакаивая друг на друга, образуя зигзаги корявых фраз.

Он успел прочитать что-то о действии и противодействии, и обрамлённый похабненькими кудряшками лик Ньютона уже возник было перед его выпученным внутренним взором, когда наткнулся на знакомое «ВРАГГ НЕ ДРЕМЛЕТ» и понял, что медлить нельзя.

Распахнув дверь, он шагнул наружу и обомлел. По лиловому, почти до крон тополей-десятилеток, опустившемуся небу полыхали малиновые сполохи. Над усеян-

ным газетными обрывками двором носились тучи воронья с сопливыми индюшачьими мордами... Мордами?! Бррр... Несколько птиц сидело на увитой терновником кованой готической решётке, а над ними нависали руины старой крепости с бельмами бойниц.

Шагнув с крыльца, он чуть не упал, споткнувшись об одну из птиц. Та рванула в сторону, остановилась, сделала несколько неуверенных шагов, гордо закинула за шиворот... За шиворот?! ...свисающий с клюва лоскут и, отхаркнув, сплюнула на асфальт. Потом подошла к ближайшему дереву и задрала ногу.

«Пьянь» – подумал Артур.

– По весеннему льду то ползу, то бреду, – затащила птица пошленьким гнусавым баском, поливая клумбу.

Не разделяя веселья пернатых, Артур окинул тревожным взором горизонт. На востоке горели огни большого города, а на северо-западе вздымались к небу исполинские пыльные смерчи.

– Чёрт, конница в пустыне застряла! – вскричал он, дико озираясь.

В двадцати шагах от него, почти у самой решётки, какие-то люди в бескозырках, с маузерами и пулемётными лентами, жгли костры. В воздухе пахло предательством и гарью. Нет, пожалуй, гарью и предательством. Артур задрал голову и похлодел. Малиновые сполохи вспыхивали теперь в особом геометрическом порядке, образуя такое знакомое и такое ненавистное слово.

«Но где он, где?!» – простонал он с отчаяньем в голосе и вновь огляделся.

У КПП он увидел Ускова. Майор быстро шёл в его сторону, ожесточённо жестикулируя. Артур переложил штык-нож из левой руки в правую и ринулся навстречу.

– Проверить укрепления! – орал он, брызгая слюной.

– Развернуть полосу обеспечения перед первым оборонительным рубежом! – хрипел он, вздымая белую сталь ввысь, к лиловому небу. – Передислоцировать четвёртую танковую в район Судетских гор! Товарищ майор!

Командир батальона майор Усков открыл рот, закричал что-то, но Артур не расслышал, лишь удивился, когда выхватил взглядом тянущуюся к кобуре пухлую руку. Он посмотрел в лицо майора и всё понял.

– ВРРААГГ!!! – неистово возопил Артур и, твёрже сжав рукоять, прыгнул на командира батальона, подмял его под себя, извивающегося и визжащего, рванул за плечи, срывая погоны...

4

«...также приношу извинения сержанту Чхиквишвили и рядовым Алимардонову, Зинатулину и Зиялову за нанесённый им моральный и физический ущерб. Обязуюсь никогда больше не экспериментировать со средствами индивидуальной и коллективной защиты и своё любопытство удовлетворять в служебном порядке и на соответствующих занятиях...»

– Кто писал? – спросил Артур. – Может, в редакцию «Крокодила» пошлём? На курс «Нарочно не придумаешь»?

– Подписывай, давай, – махнул рукой замполит.

Артур сообразил корявый росчерк и отпихнул от себя бумагу. Комар взял её и убрал в папку. Сказал:

– Иди к командиру роты. Он тебя проинструктирует.

– Разрешите войти?

– Сагамоньч, миленький... – голос майора Оскомы доносился из-под накинутого на его лицо мокрого полотенца.

Артур подошёл к приоткрытому сейфу. Вытащил из него початую бутылку «Отарда» и стакан, занимавшие почётное место между пистолетом «Макаров» и папками с грифом «Секретно». Два дня назад он доставал из этого сейфа «Агдам», а в части ходили слухи даже о ёмкостях с содержимым парфюмерного толка.

Подойдя к столу, Артур постучал стеклом о стекло. Бледная рука приподняла полотенце, высвободив треть лица. Заплывший глаз приоткрылся, и указующий перст свободной руки уткнулся в бутылку. Артур налил на два пальца, отчего глаз наполнился невыразимой мукой. Тогда он налил ещё. Снова полёт дрожащих фаланг. Артур поставил стакан на стол. Майор откинул полотенце, сжал заветный фиал в ладони, нагнулся, и его зубы хрустнули на стеклянной кромке. На миг он слился со стаканом, стал с ним единым целым. Эдаким страусом, спрятавшим голову в песок с берегов Шаранта.

Внезапно он вскинул голову с прижатым ко рту стаканом, и янтарная, кажущаяся густой жидкость исчезла в полыхающей бездне. Ещё трясущейся рукой он поставил стакан на стол и налил до краёв. Теперь уже сам. Поднёс ко рту, умудрившись не расплескать ни капли. И осушил до дна.

Жизнь возвращалась в него окольными тропами, и лопнувшие на щеках капилляры уже казались здоровым румянцем, а игольные ушка зрачков – знаком сосредоточенности.

Майор встал, вытащил из кармана белоснежный платок, вытер рот, провёл по лбу, стирая испарину, застегнул верхнюю пуговку гимнастёрки, затянул и поправил галстук. Снова сел. Сказал:

– Сагамонов, ёма, ты бы крючок застегнул и оправился. Мы с тобой всё же не в кабаке сидим.

– Нет? – усмехнулся Артур, поправляя форму.

– Как же тебя в караул-то ставить? На внешние посты?

– А чего там ставить? Караулов я свои полсотни в батальоне отмочил? Отмочил. Если бы Дудинцева не проспал, мочил бы и дальше. А что ошибаться мне больше нельзя, вы и сами знаете.

– Ладно, – сказал майор примирительно.

Рука его, сжимавшая бутылку, почти не дрожала.

– Сегодня отработаешь, ёма, а завтра с развода заступаешь. С тобой поедут младший сержант Дымов и рядовой Юращенко. Начкаром – старший прапорщик Сармаш. Оружие и сухой паёк получите перед разводом.

Он выпил. Достал из ящика мятную конфетку. Развернул.

– И чтоб никаких кренделей там.

– Ну что вы, – улыбнулся Артур. – Какие же тут кренделя. Кренделя для нас теперь штука непозволительная.

– Ну-ну, – прохрустел конфеткой Оскома. – Ступай, раз так. Завод по тебе плачет.

– Лучше пусть завод, чем тюрьма.

– Ну-ну, – повторил Оскома.

Артур взял в руку шапку и направился к двери. Не доходя, остановился. Повернувшись, спросил:

– Товарищ майор, разрешите обратиться?

– Валяй, – окрепшая рука с бутылкой застыла над стаканом.

– Никак нельзя Юращенко заменить?

– Я тут как раз думал, ёма, как бы мне тебя заменить. Другие пожелания имеются?

– Имеются, – Артур распахнул дверь. – Вы бы швенкером обзавелись.

– Что это? – спросил майор.

– Рюмки такие большие. Это же все-таки коньяк, а не одеколон «Ромашка».

Проходя мимо дневального, бросил ему полпачки сигарет.

– Спасибо, старый, – солдат склонил голову для удара.

– Не прогибайся, – обронил Артур, не останавливаясь. – Хребет, он дольше всех костей срастается.

Снаружи рассвело. Снег прекратился совсем. Слабый, еле пробивающийся сквозь громады облаков свет заливал двор серой мутью. Взглянув на часы, Артур направился в столовую. Выходящий из штаба части прапорщик Попов проводил его недобрым взглядом.

В столовую он зашёл с чёрного хода. По отделанному белым кафелем коридору прошёл к подсобке и заглянул внутрь.

Четверо солдат, сидя на полу, скоблили картофель. Повар Лёша завис над ними хищной птицей.

– Кто же так чистит, босота?! Вы же не офицерью хавас толчёте. Своим же бедолагам. Так чего же вы, ёптэ?! Самим же радостно будет, когда я её, белоснежную, цивильно масличком полью...

– Лёх, – позвал его Артур. – Покорми, я без завтрака остался.

Минут через десять они присели в поварской. Артур, задумавшись, ковырял вилкой яичницу с помидорами и луком. Рядом, на запотевшей тарелке, лежал кусок жареного хлеба с растекающейся жёлтой лужицей масла.

– Чаю забыл, – встрепенулся Лёха.

Артур остановил его жестом. Снова было погрузился в мысли, потом решительно отложил вилку.

– Чего случилось-то? – спросил повар.

Артур посмотрел на него. Сказал:

– Я тебе с мясом больше помогать не смогу.

– Да ты!.. – всполошился Лёха. – Да как же я без тебя, ёптэ?! А куда излишки девать?! Да я...

– Какие излишки? Ты у солдат мясо ворует. Мало офицерё со склада кормится, и ты туда же.

Повар побледнел. Глаза его вспыхнули недобрым светом.

– Это ты меня, ёптэ, совестить будешь?! Да ты сам с этого мяса наживаешься не хуже моего...

– Наживался, – спокойно поправил его Артур. – Наживался.

– А яичница в горле не встаёт комом?! А помещение дружку твоему Дымову нравится?!

Артур отодвинул тарелку.

– Артур! – опомнился Лёха. – Не обижайся на меня, дурака. Ешь, давай.

И снова:

– Ты меня без ножа режешь! У меня все планы рушатся! И видак, и котлы с двумя заводилками, и «Адик» трёхполосный; в чём же я буду на гражданке вышивать? Ну Артур! Да что это на тебя нашло?!

– На мне, Лёха, срок висит. На меня каждый офицер, кроме Сармаша, пожалуй, какой-нибудь зуб, да имеет. День, когда меня посадят, объявят всеармейским праздником. Мне Комар сегодня моё личное дело зачитал, так меня даже затошнило. И за что? За пачку «Мальборо» и «Картье»? Или за то, что личный состав мне, проходя, честь отдаёт? Не слишком ли большая цена за массаж самолюбия?

– Так, ладно, понимаю. Слово даю, понимаю. И сочувствую, Артур, сочувствую, ой, как сочувствую... Но хоть адресок-то оставь...

– Нет, Лёш, – Артур поднялся из-за стола. – Мне сегодня бог руку протянул. Не могу же я в неё взять и плюнуть. А? Как ты сам думаешь?

– О-хо-хо, – вздохнул повар. – Ну, если ты в религию ударился... Куда же мне, ёптэ, мясо-то девать?

– А ты попробуй его в рацион солдатский докладывать. Как, в общем-то, и предполагалось, – бросил Артур, сделав шаг к выходу.

– Я, ёптэ, его лучше сгною, – услышал он за своей спиной.

Через пять минут он был у заводской проходной. На минутку заглянул в пристройку пожарной части. Новобранец, читавший книжку у пульта сигнализации, испуганно вскочил.

– Вольно, – сказал Артур. – Дымов где?

– Вышел куда-то, – ответил солдат, всё ещё пряча за спиной книгу.

Артур спустился во двор. Хотел было закурить, но вспомнил, что отдал пачку дневному.

– Угости сигаретой, – обратился он к усатому кавказцу на проходной.

Тот протянул пачку «Гуцульских». Артур вытянул сигарету. Прикурил от вынутой из кармана зажигалки «Ронсон».

– Кайф, – сказал кавказец.

Артур вопросительно посмотрел на него.

– Я сейчас тебя на рекламном плакате представил. Ты. Вокруг горы, на склонах апельсиновые деревья, барашки бегают, а ты, бля, кавбой, и «гуцулу» от «Ронсона» прикуриваешь. Представляешь, какой контраст.

– Ну да, – согласился Артур. – Облачко дыма выпускаю – на апельсиновых деревьях цветы вянут, а у овец пропадает молоко.

Кавказец засмеялся. Артур механически обвёл взглядом двор.

Из дверей казармы вышел старший прапорщик Алвртсян. Вслед за ним показались два офицера в красных погонах. Втроем они двинулись к КПП. Портупея с кобурой на старшем прапорщике отсутствовали.

– Куда они его? – спросил Артур.

– Судзя па пагонам, в гарнизонную камендатуру. Это у ниво в карауле салдаты траванулись. Мне земляк гаварил, перед тем, как в госпиталь ехать. К ним Камар с правяющим пришли. Правяющий – палкан краснапёрый – всё асмарел, в тумбачку заглядывает, а там миска с недаеденным «Малышом», вся зелёной плесенью покрыта, и пара высахших гарбулей. Палкан спрашивает: «Это что такое, таварищ старший прапарщик?!» А тот в тумбачку заглянул, выпрямился, глаза выпучил и гаварит: «Я думаю, таварищ палковник, там мишь живийёт». Ну, йиво сразу с караула и сняли. Камар за него астался, пака Папа не прислали. А через пару часов у первава салдата колики начались. Вот Алвртсяна теперь на антисанитарию и раскручивают. Наверна, и Лёху падтянут. Хатся, вряд ли. Еду караулу из общева котла наливают, а мы-та с тобой в парядке.

Артур пожал плечами. Из общего котла он не ел давно.

– Ладно, – сказал он. – Пойду взгляну, чем там мои работнички промышляют. И, шагнув через порог, направился к серому корпусу монтажного цеха.

Завод встретил его ударами и скрежетом на фоне общего монотонного гула. Над головой гудели кран-балки,плыли обезглавленные чудища кузовов, громадины мостов, карданные валы и рулевые тяги освящали выщербленный бетон брызгами машинного масла. У чана с кипящей щёлочью возился малыш в комбинезоне. Перед входом в моторный блок сержант Обрыдлов трепался с вольнонаёмными. Артур откинул брезентовую штору и переступил порог гальваники.

Рядовой Андрей Воронин стоял, склонившись над одной из ванн, и выживал из бурой жидкости катод с подвешенным к нему сетчатым ковшом. Увидев Артура,

он положил ковш на бортик и снял резиновую перчатку. Протянул ему ладонь с раздувшейся, покрытой шрамами тыльной частью. Спросил:

– Чудеса ещё случаются?

И улыбнулся щедро.

– Это ты про губу? – Артур пожал протянутую руку.

Воронин кивнул.

– Да уж, пришлось заложить душу дьяволу. Рассказал замполиту, что рядовой Воронин в гальванике оружие куёт, так меня теперь вместо губы к ордену представят.

Воронин ухмыльнулся и потряс чудовищным кулаком.

– Показывай, – сказал Артур.

Воронин подошёл к металлическому шкафу и отодвинул его от стены. Достал длинный, завернутый в тряпицу свёрток. Развернул. Отполированная сталь сверкнула в свете электрических ламп.

Артур зачарованно протянул руку. Взялся за инкрустированную камнями рукоять и провёл пальцами по клинку.

Воронин вопросительно мотнул головой.

– Совершенство! – искренне сказал Артур, не торопясь возвращать меч хозяину.

– Да, – согласился Воронин. – Хорошая сталь. Рессора. Я её при трёхстах семидесяти двое суток обжигал, до полного распада мартенсита. А потом в масле закаливал.

– В машинном?

– Обижает, в растительном. Лёха выручил, дай ему бог здоровья. Мы сюда ночью целый бидон протасили. Караульные на постах приставали, думали, самогон.

«...я её, цивильную, масличком полью», – вспомнил Артур, но ничего не сказал. Лишь снова провёл пальцами по прохладной плоскости. Потом протянул Воронину меч и сказал:

– Этот – последний.

Воронин поднял на него недоумевающий взгляд.

– Я больше не могу их сбывать, – сказал Артур.

– Ааа, – Воронин на мгновение замер, потом принялся запаковывать клинок в тряпицу. – Ну, раз не можешь, что же поделаешь. Хотя жаль, конечно. Я тут пару славных эскизиков набросал...

– Я дам тебе адрес и телефон, – сказал Артур, следя за исчезающей в тряпье рукоятью. – Только не попадись. Жаль будет, если какой-нибудь особист себе такой красотой хакири сделает.

Воронин, не поворачиваясь, кивнул. Скуп он был на елей, да Артур и не ждал от него благодарности.

Помолчали. Воронин убрал свёрток за шкаф и вытащил ещё один, значительно меньше размером.

– Это для Дымова.

– Спрячь, – сказал Артур. – Позже заберу.

Воронин кивнул и придвинул шкаф к стене.

Рядовые Алимардонов и Кизьякаев сидели перед ощерившимся, кособоким ЗИЛом и били баклуши. Выражение вечного недоумения, застывшее на плоском, как тарелка, лице Кизьякаева, залитый маслом пол и похожий на подавившегося червяком птенца Алимардонов придавали «разборке» дух этакой бесшабашной расхлябанности.

– По коням, хлопцы, – крикнул Артур подходя. – Кубань горит.

– Там гайка, мле, не откручивается, – Кизякаев взглянул на него красными, как рябина, глазами.

– Во-во, – сказал Алимардонов, и чудовищный кадык на его горле заходил взад-вперёд, живя своей собственной странной жизнью. Цвет его глаз был вишневым.

– Так, – сказал Артур, на ходу натягивая комбинезон, – Асрол, дуй к механикам за автогеном, а ты, Кизякаев, сбегай в распорягу и возьми у меня из-под матраса две пачки сигарет...

– Эй, а перекур?!

– Судя по твоим глазам, ты уже перекурил... Да и золотистую ленточку с сигаретной обёртки я предпочёл бы сорвать сам...

Оставшись один, он вышел из здания цеха. Невысокую насыпь прорезали железнодорожные рельсы. Двенадцать солдат из молодых разгружали стоящий на них вагон с углём. Командовал ими младший сержант Зелепунин.

– Здорово, Зелепуня, – обратился к нему Артур. – Подсоби личным составом.

– Обана, Артурик! А ты чего не на кичмане?

– Людей не хватает. У «разборки» план горит. Так чего, людей подкинешь?

– Не могу. К обеду уголь разгрузить надо. Мне после обеда заступать. И завтра тоже, бля... Надо же, нашли время травиться, дристокшонники...

Артур отошёл на пару шагов назад.

– Эй, воины! – крикнул он, задрав голову. – А ну слазь.

Четверо солдат замешкались, но видя, что Зелепунин молчит, спрыгнули с вагона на кучу угля, предварительно побросав вниз лопаты.

– Теперь назад отойдите, – сказал Артур и, обежав вагон, попытался скинуть петли с крюков. Тщетно.

– А ну навались! – гаркнул он солдатам.

Те подбежали. Упёрлись руками в передний борт. Надавили.

– Когда скажу, – сказал Артур, – отбегайте! Иначе придавит!

И, закричав «Назад!», скинул петли.

Борт рухнул с жутким грохотом, едва не накрыв замешкавшихся, и почти вся масса угля съехала по нему к ногам ошеломлённых солдат.

– Ну вот, – Артур отряхнул руки. – А ты говорил – до обеда.

– Ладно, – сказал Зелепунин. – Троих дам.

– Троих мало. Давай шестерых.

Зелепунин почесал затылок.

– А Кизякаев тебе через четверть часа пачку «Мальборо» подгонит.

– Ладно, – зевнул Зелепунин. – Возьми шестерых. Но не за сигареты, а за разбитую рожу Ускова.

– А, так Кизякаева не присылать? – спросил Артур.

– Присылай, присылай. Нам теперь до обеда только курить и осталось.

– Донат богом! – ругался Алимардонов, стирая рукавом ржавую труху со лба.

Кизякаев возился с задним мостом. Молодняк, облепив, словно тля, облицовку, лихо скручивал головы крепящим её болтам. Свет ламп отдыхал на сосредоточенных полудетских лицах. Сам Артур возился с бензобаком. Проржавевшие насквозь болты никак не хотели откручиваться.

Где-то под ним Алимардонов включил горелку. Артур бросился к баллонам и перекрыл вентиль. Крикнул, пнув торчащий из-под машины сапог:

– Ты чего, Аська, сбрендил! Дай же бензобак снять!

– Да ладно, чего там, – отозвался тот. – Я же сам с этой машины бензин сливал. Вон, левая фара разбита...

– Всё равно подожди, – сказал Артур. – Мало ли, сколько там ЗИЛов с разбитыми фарами.

Когда сняли бензобак, он оказался на треть полным.

– Ух ты! – удивился Алимардонов, и Артур вlepил ему звонкую затрещину.

Проходящие офицеры недовольно косились на молодых. Несколько раз прибежал начальник цеха из вольнонаёмных. Спрашивал, разберут ли к вечеру. Артур, загадочно улыбаясь, жал плечами. Начальник цеха ругался, говорил, что к весне надо выводить технику, и снова убежал. К обеду, когда младший сержант Зелепунин пришёл за своими подопечными, от ЗИЛа осталась лишь обглоданная рама, опирающаяся о передний мост. Теперь можно было не торопиться.

К концу рабочего дня на месте грузовика был лишь залитый маслом пол да пара капель крови Кизьякаева, зажавшего себе палец между мостом и крюком кранбалки.

– Что бы я без тебя делал, Сагамонов, – говорил начальник цеха. – И чего они все к тебе прицепились?! Да я бы тебя за такую работу... Да я бы тебя к высочайшей награде...

– Ладно, дядь Лёш, пойду я, – перебил его Артур. – Не то ты меня совсем слюной забрызгаешь.

– Эх, Сагамонов...

Вместе с ремонтной ротой он дошёл до столовой, но внутрь заходить не стал, а прошёл дальше, к клубу. При входе наткнулся на прапорщика Попова, разговаривавшего со своей женой, заведующей клубом Татьяной Васильевной. На рукаве у него была красная повязка дежурного по части. Артур прошёл было мимо, но Попов окликнул его.

– Стоять, солдат.

Артур остановился.

– Кругом.

Артур повернулся.

– Рядовой Сагамонов, почему не отдаёте честь?

– Так ведь честь у меня не безграничная. На всех не напасёшься. Ну и потом – вы с дамой...

– Смирно! Вы как разговариваете?! А ну крючок застегнуть, солдат! И где ваш головной убор?!

Артур повернулся и пошёл к столовой.

– А ну вернись!

Гравий ласково хрустел под ногами. Пара мёртвых листочков затеяла в воздухе головокружительный танец.

– Вернись, я сказал!

Артур видел сквозь окна столовой стриженные головы солдат. Их лица были повернуты к нему, глаза глядели на него и сквозь него. Артур улыбнулся им, и тут же позади раздался женский голос:

– Володя, пожалуйста, не надо...

Артур повернулся и пошёл прямо на схватившегося за кобуру Попова. Подойдя сказал:

– Виноват, товарищ прапорщик...

– Трое суток ареста!..

– Давайте сегодня без ареста. У меня что-то совсем нервы сдают.

– Да ты!..

– Я вас прошу. Такого больше не повторится, – Артур застегнул крючок и поправил ремень. Встал по стойке смирно.

– Да ведь это чёрт-те что...

– А за шапкой я сейчас схожу. Ладно?

Попов с сомнением посмотрел на Артура. А тот повернулся к плачущей женщине и сказал:

– Простите и вы меня, Татьяна Васильевна.

Когда он вошёл в столовую, тепло сотни солдатских тел ещё витало в воздухе. Пахло ваксой и казённой пищей. Артур сел за стол. Лёха поставил перед ним гренки из белого батона, блюдце с горкой жёлтых паек и банку с клубничным вареньем. Ушёл в кухню за чаем.

– Покрепче сделай, – крикнул ему Артур. – Мне сегодня спать вряд ли придётся.

– Чего это у тебя с Попом вышло, – спросил Лёха, ставя на стол дымящуюся чашку. – Он что, тебя действительно пристрелить хотел?

– Да нет. Так, пошутили.

Лёха с сомнением посмотрел на Артура.

– Ничего себе шуточки! Даже его жена слезу пустила.

– Да это она так, не поняла. Женщина всё-таки. Нервы слабые.

– А может, до него слухи какие... – начал было Лёха.

– Так, всё! Закончили! – Артур стукнул кулаком по столу.

– Так я ещё и не начинал.

– Закончили, даже не начиная.

Артур доел кусок гренки. Спросил:

– Дымов внизу?

– Дымов-то? Да вроде внизу.

Артур поднялся, взял с подоконника карманный фонарик и двинулся к выходу.

– Гренки-то как? – обиженно бросил Лёха ему вдогонку. – Хоть бы спасибо сказал...

Уже у двери Артур обернулся.

– Гренки сногшибательные. Спасибо тебе, Лёха.

– Правда?! – повар расплылся в улыбке.

Оставшись один, он отщипнул кусок от лежавшей на тарелке пухлой прелести. Понюхав, отправил в рот. Пожевал немного. Потом сплюнул на пол.

– Надо же, – сказал он, покачав головой. – Сногшибательно... Скажет тоже...

6

Оказавшись с обратной стороны здания, он со скрипом распахнул железную дверь. Прежде чем вступить во мрак, обернулся. Пристально взгляделся в окна офицерской столовой. Прислушался.

Никого. Он сделал шаг и закрыл за собой дверь. Плотная, глухая тишина объела его со всех сторон словно покрывалом. Не двигаясь с места, он достал из кармана фонарик. Сноп света осветил воду под ногами и торчащие из неё бетонные плиты. Артур прислушался. Где-то вдалеке на поверхность воды упала капля. Он направил на звук фонарик. Огромная серая крыса сиганула с трубы и поплыла, оставляя за собой зыбкие круги. Артур осветил себе под ноги и сделал шаг. Плита под его ногой слегка покачнулась. Он сделал ещё один, потом ещё и, больше не останавливаясь, двинулся по узкому коридору, перепрыгивая с одного бетонного островка на другой. Луч его фонарика скользил по водной глади, время от времени запрыгивая на стены, выхватывая примостившиеся на них куски бурой плесени.

Дойдя до развилки, он свернул налево, прошёл с десятков шагов вдоль толстых, укутанных стекловатой труб и снова повернул налево. Здесь пошёл медленнее.

Расстояния между плитами увеличились, и порой ему приходилось останавливаться и тщательно вымерять расстояние перед следующим прыжком.

Ещё несколько шагов, и луч, скользя по шершавому бетону, сорвался в пустоту. Коридор оканчивался большой, залитой водой комнатой с грудой полусгнивших ящиков в центре.

Артур опустил фонарик. Жёлтый луч выхватил из тьмы корпус старого, проржавевшего насквозь огнетушителя. Балансируя на шаткой плите, Артур повернулся влево. В стене, в двух шагах от комнаты, был узкий проход с дюжиной поднимающихся из воды ступеней. Взбежав по ним, он оказался перед железной дверью, покрытой слоем ржавчины, в которую был врезан новенький серебристый замок. Артур сжал зубами фонарь и достал ключ.

Свет дюжины стоваттных ламп заливал маленькую комнатку с тщательно выровненными и выбеленными стенами, с парой стеклянных витрин, стеллажом, хромированным столиком, накрытым простыней и большим платяным шкафом. Артур прикрыл рукой глаза, и его сапоги скрипнули на свеженьком жёлтом линолеуме.

Человек, склонившийся над столом, обернулся. Был он очень высок и худ, в белом халате прямо на военную форму и с марлевой повязкой на лице. Приветственно взмахнув рукой, он вновь вернулся к своему занятию. Артур запер дверь и подошёл ближе.

Обнажённый по пояс рядовой Бакотов сидел на табурете, выложив на белоснежную материю свою левую руку. От локтя до кисти она была раздувшейся и чёрной и напоминала не то обугленное полено, не то космического паразита, присосавшегося к щуплому телу солдата. Когда Артур приблизился, Бакотов поднял на него своё бледное, залитое потом лицо и сказал:

– Всё, Артура, хана. Дымов говорить, отымут...

Высокий человек в халате издал еле слышный смешок.

– Раз говорит, значит отнимут, – сказал Артур истекающему потом солдату.

Бакотов затравленно огляделся, и губы его затряслись.

– Ладно, – потёр руки Дымов. – Давай-ка посмотрим, что у нас там...

И натянул резиновые перчатки.

– ... Таак... Местная гнойная инфекция... Закрытый морфологический субстрат без абсцессов... Когда ты говоришь, нитку вшил? Три дня назад? Ага. А опухать начало быстро? Часов, значит, шестнадцать... Значит, у нас здесь грамотрицательные штаммы... Так, тут у нас гнойные затёки в области кисти, пассивное пространство гноя по тканевым щелям... Давай-ка мы тебе температуру измерим. Ну-ка, ручонку приподними, воот, локоточек согни... Хорошо...

Дымов выпрямился.

– Вот, полюбуюсь, Артур. Случай, достойный пера Шекспира. Любовь к простой сельской девушке подвигает нашего героя, посредственного во всех отношениях солдата Николая Бакотова, на поступок, по глупости своей граничащий разве что с рытьём Каракумского канала или поворотом рек Сибири вспять.

Он вздохнул и покачал головой.

– Давай, герой. Расскажи Артуру свою незадачливую историю.

Бакотов отёр рукой пот со лба.

– Дык я... я Свинолуповский, а она шваль за Гомель ёма ханурика отродясь. А он ведь выхлестыш, я ведь знаю его. Дык коровам хвосты крутят. А она и пишеть, я, мол, не чугунная, тебя дожидась, а я, чаго отвечать, не знамо. Ну, всё, думаю, хана. Тут мне Михась, москаль грёбаный, говорить, нитку, говорить, меж зубов пошоркай и в руку вшей. Враз комиссуют. Ну, я и вшил. Глыбко вшил, для пущей верности. А оно намедни ещё не так чтобы, а вчорась как сдоба вспухла, ёптэ...

А москаль мне, нитку, говорить, найдуть, посодють за вредительство члена, в смысле уклонения. Ну, я ему здоровой и заехал в дышло... Вот, теперь на Дымова одна надежда... Поможешь, Серёг?

Дымов вытащил термометр. Взглянул на него и покачал головой.

– Тридцать семь и два. Слабенько боремся.

Он повернулся к Артуру.

– Вот так вот, мой друг. Солдаты гибнут не от ран. Солдаты гибнут из-за плохого питания.

Он принялся ощупывать опухоль.

– ...Здесь у нас на незатронутые структуры флегмонка наползает... Нет ни свищей, ни абсцессов. Странно... Хотя, конечно, четвёртый день... Токсико-резорбтивная лихорадка...

Дымов взгляделся в покрытое каплями пота лицо. Дотронулся до трясущейся здоровой руки.

– ...Отсутствует. Хотя гнойный процесс тяжёлый, с высокой резорбцией... Перестань трястись... Встань и стяни штаны... Стяни штаны, говорю...

– Ты это чего?! Чего это ты?!

– Давай, дружок, мне тебя осмотреть надо. Таак. А теперь трусы.

– Ну уж нет! Это уж...

Дымов рывком стянул с солдата трусы.

– Так, теперь подбери-ка своё хозяйство... Признаков сепсиса нет. Желёзки... слегка припухшие... Чёрт! Артур, посмотри на эту руку и скажи мне, почему так слаба реакция организма. Мне, что же, опять министру обороны писать?! Знаешь, что мне в прошлый раз ответили? Да ничего не ответили. Комар к себе вызвал, сказал, что солдатский рацион соответствует ГОСТу и был кропотливо составлен на основании статистических данных и научных работ ответственных работников системы здравоохранения. Прямо так и сказал, представляешь? Работ работников системы... Тьфу! Да они моему письму даже за пределы части выйти не дали... Как же! Все офицеры по четвергам у склада отираются. Кроме, пожалуй, Сармаша и Оскомы... Да ладно, чего уж говорить. Давай, Артур, мой руки – и за дело.

– Поди, больно будет, – пропел Бакотов. Бледные губы его тряслись.

– Нет, больно не будет, – Дымов достал из шкафа новенький автоклав.

Артур подошёл к маленькому, прилепившемуся к стене умывальничку. Тщательно вымыл руки. Обработал их голубоватой жидкостью из стоящего тут же флакончика.

– Халат в платяном шкафу возьми, – сказал Дымов и принялся выкладывать на стол инструменты.

Артур надел халат. Подошёл к столу и натянул резиновые перчатки.

– Вон ту ванночку возьми, – Дымов вытянул руку с затянутыми в резину пальцами. – Нет, лучше то ведро.

И взял со стола скальпель.

Держа на весу ведро, Артур смотрел, как Дымов обколол распухшую руку новокаином, как выбрил мягкие светлые волосы от кисти до сгиба локтя, как вжал лезвие скальпеля в натянувшуюся кожу. Потом его стошнило и он отвернулся. Повернулся, лишь когда Дымов крикнул:

– Держи ровнее ведро, на пол льётся.

И тут же снова отвернулся.

Минут через десять Бакотов жалобно произнёс:

– Таперича шибко больно.

– Ничего, – успокоил его Дымов. – Осталось совсем чуть-чуть. Артур, убери ведро. Оставь его у входа и принеси ванночку.

Стараясь не разглядывать содержимое, Артур поставил ведро у двери. Взял с полки ванночку и, лишь опуская её на стол, впервые посмел окинуть его поверхностью взглядом.

Он увидел грязные тампоны и тряпки на побуревшей от нечистой крови простыне, тёмное месиво между двумя лоскутами чудовищно растянутой кожи и еле успел добежать до раковины.

– Усечь кожу я тебе сам не смогу, – сказал тем временем Дымов. – Я тебе её пока так задренирую...

Бакотов застонал.

– Сейчас, потерпи дружок, тут у тебя ещё некротические ткани остались... Чёрт, химопсина бы. У меня здесь никаких ферментов, один фурацилин и антибиотики. Артур, возьми в шкафу фурацилин с перекисью. И достань пенициллин с ампициллином. Придётся вводить и стафило- и стрептофаги. Я здесь даже раневую микрофлору высеять не смогу... Сейчас, дружок, сейчас. Артур, поменяй перчатки и приготовь марлевый дренаж. Хорошо... Нет, этого мало. И посмотри, сколько осталось стерильной марли. Дренаж надо будет менять четыре раза в сутки.

Артур застыл у раскрытой двери шкафа. Сказал, не поворачиваясь:

– Это невозможно.

– Что не возможно, – рассеянно, спросил Дымов.

– Тебе что, никто ничего не сказал?

– А что мне должны были сказать?

– Мы с тобой завтра на семнадцатый пост заступаем.

Артур подошёл к столу с запечатанной пачкой марли. Положил. Стянул старые перчатки и принялся натягивать новые.

– С каких это пор пожарники караулы мочат?

– Полбатальона в госпитале с отравлением лежит.

– Таак, – протянул Дымов. – Интересно, почему я всё узнаю в последнюю очередь?

– Да нет, – сказал Артур. – Это мне из-за губы раньше сообщили.

– Слушай, точно. Ты же на гауптвахте должен сидеть...

– Парни, вы обо мне не забыли? – раздался жалобный голос Бакотова.

– Ладно, – сказал Дымов. – Убери пока марлю... И набери два куба новокаина в шприц.

Он встал и подошёл к шкафу. Засунул руку под стопку чистых халатов и извлёк на свет продолговатый кожаный пенал. Открыл его, и кончики тонких серебристых игл заблестели в свете электрических ламп. Вернувшись к столу, он вытащил одну из них и, положив пенал на стол, принялся протирать смоченной в спирте ваткой. Потом зашёл за спину Бакотова. Тот принялся испуганно вертеть головой.

– Коля, посиди, пожалуйста, спокойно.

Дымов склонился над сидящим на табурете солдатом. Провёл смоченной спиртом ваткой вдоль позвоночника.

– Ты зачем это... – начал было Бакотов.

– Сиди смирно! – оборвал его Дымов.

Он долго возился, высматривая, высчитывая приметы на колючем юношеском позвоночнике, морща лоб и бормоча что-то себе под нос. Потом вздохнул глубоко и прижал кончик серебристой иглы к ложбинке между позвонками.

– Серёж, можно тебя на минутку, – сказал Артур.

– Подожди, не время сейчас...

– Серёжа, подойди, пожалуйста, сюда.

Дымов встал и отложил иглу. Подошёл к ждавшему его у двери Артуру.

– Ты чего это делать собрался? – тихо спросил Артур.

– Послушай. Если в ране останутся некротические ткани и фибринозный налёт, послезавтра ему в лучшем случае отнимут руку...

– Положи больше антибиотиков...

– Чушь! Время действия антибиотиков – четыре часа. Если новые вводить реже, штаммы привыкают и вырабатывают иммунитет, а сам дренаж служит дополнительным источником инфекции. Я должен почистить рану до живых, сильно воспалённых тканей. Локально я такое пространство обезболить не могу...

Бакотов напряжённо вслушивался в тихую речь Дымова.

– Сейчас, сейчас, – обернулся он к ёрзающему на стуле солдату.

– Сергей, что ты хочешь делать иглой?!

– Мне надо обездвижить на время руку, лишить её чувствительности. У третьего от крестца сегмента проходят корешки, отвечающие за конечности. При непосредственной анестезии обеих пар конечность теряет подвижность и чувствительность на время действия препарата...

– Ты сошёл с ума!

– Артур, послушай...

– Ты сошёл с ума!

– У тебя есть другие предложения? Может быть, у тебя есть противошоковые препараты? Или сильные анальгетики? Тогда заткнись и дай мне работать... И не пугай мне ребёнка...

– Эй, вы чего там, эй... – донеслось с противоположной стороны комнаты.

...Это было невероятно! В это невозможно было поверить! Распластанная, развороченная рука спала, совершенно не отзываясь на быстрые и точные движения скальпеля. Спали сморщившиеся и обвисшие края лоскутов кожи. Спали желтоватые нити нервов и белёсые перепонки связок. И сизые хитросплетения вен. И сочащиеся янтарным соком изъеденные бактериями ткани. И над всем этим сонным царством парили внимательные и живые глаза сержанта Дымова. Только они да колеблющаяся в такт дыханию марлевая повязка, да бледная рука с зажатым в ней лезвием жили сейчас в этой комнате.

Артур, затаив дыхание, следил за полётом скальпеля. Его больше не тошнило, ему было хорошо, несмотря на весь трагизм ситуации. Несмотря на пятна крови на белой простыне, отвратительный запах, пропитавший комнату, бледное, покрытое капельками пота лицо Бакотова. Ему было хорошо и покойно рядом с этим человеком в белом халате, и, пожалуй, сейчас он впервые понял, как близок ему Сергей Дымов. Как близок и как дорог.

Тем временем Дымов отложил скальпель. Принялся выбирать в шприц антибиотик.

– Готовить дренаж? – спросил Артур.

Дымов покачал головой. Спросил Бакотова, как он, и задержал ладонью его лицо, когда тот попытался взглянуть на свою руку.

Когда через двадцать минут они покидали комнату, Дымов наклонившись к Артуру шепнул ему на ухо:

– Надеюсь, я всё сделал правильно. Если нет – сначала ему конец, а потом и нам...

На улице было темно. На лицо падала холодная крошка. Артур вдохнул и выпустил изо рта маленькое белое облачко. Прикрыв дверь, догнал товарищей. По свежавывающему снегу они дошли до КПП, у которого их пути разошлись. Дымов

зашагал к заводской проходной, туда, где из трубы пожарной части в небо поднимался вертикальный столб дыма.

Артур с Бакотовым пошли к казарме. Прежде чем войти, Артур обернулся и выхватил взглядом грузные формы прапорщика Попова, хлебающего свой чай на КПП. В следующую секунду дневальный на тумбочке крикнул «Смирно!», и Артур прижал палец к губам. До отбоя оставалось не более двадцати минут.

По дороге в своё расположение Артур завернул к четвёртому взводу. Многие солдаты уже лежали в постелях. Пахло ваксой и грязными портянками. Повар Лёха сидел на своей кровати. Рядом кто-то из молодняка пришивал к его гимнастёрке подворотничок.

– Дело есть, – сказал Артур, подсаживаясь.

Лёха заинтересованно посмотрел на него.

– Бакотову из первого взвода хорошее питание нужно. Болен он. Серьёзно болен...

– Тыфу ты, а я уж думал, ты насчёт мяса передумал!

– Нет, насчёт мяса я не передумал.

– Ну, так а я тебе с Бакотовым помочь не могу. Пайку дополнительную он от своих кабанов получает, а от меня ему благо не светит. Не сезон. Мне теперь о своём рационе думать надо, раз дружок мой Сагамонов в религию ударился...

– На, – Артур снял с руки часы.

– Ух ты! – выдохнул Лёха, принимая их. – «Сартир»! А не шутишь?

Артур покачал головой. Сказал:

– Только чтобы без обмана. Куриный бульон, цитрусовые, витамины...

– Обижаешь, – сказал Лёха. – Накормлю как родного.

– Ладно, – Артур поднялся. – Пойду я. Надо выспаться, завтра на пост заступать. У двери он обернулся. Сказал:

– Только не «Сартир», а «Картье».

– А мне плевать, – отозвался Лёха. – Главное, что с двумя заводилками.

У себя он разделся и лёг среди вечного гомона и шума отодвигаемых табуреток. И даже успел увидеть сон: что-то про голубей в синем небе над родным городом. Но вскоре проснулся: кто-то светил фонариком ему в лицо. Артур прикрыл глаза рукой, и луч опал, свернул в сторону. В проходе он разглядел бесформенную фигуру прапорщика Попова. Тёмным призраком она скользнула вдоль коек и растворилась в распахнутой двери расположения. Вместе с ней исчез и луч фонарика.

Артур встал. Вытащил из-под матраса джинсы, футболку и новенькую пару носков. Достал из тумбочки кроссовки. Вытащил из шкафа новенький армейский бушлат. Одевшись, разбудил рядового Зюкала.

– Чего ты? – испуганно залепетал тот, закрывая руками лицо.

– Не бойся, – сказал ему Артур. – Просто ляг ко мне в кровать.

– Не надо... Пожалуйста, не надо...

– Да успокойся ты, дурень. Мне уйти надо, а Поп мою койку обязательно проверит. Просто поспи у меня, пока я не вернусь. А из твоей постели мы чего-нибудь соорудим.

– Аааа... А я уж было подумал...

– Дурень ты, дурень...

Проходя мимо дневального, Артур попросил у него часы. Тот, не раздумывая, стащил с запястья свою «Славу». Принимая часы у солдата, Артур взглянул на циферблат. Была четверть двенадцатого. Можно было не спешить.

На крыльце он закурил, пряча сигарету в кулак и поглядывая на дежурного по части, сидящего в двадцати шагах за стеклом. На крыльце вышел дневальный.

Артур протянул ему сигарету, и они молча курили, поглядывая на падающие с красноватого неба хлопья.

– Да, тёплая зима, – произнёс дневальный. – У нас на Урале сейчас минус тридцать и сугробы по пояс.

– Ну да, – сказал Артур. – А на губе сейчас цемент остывать начинает. Хотя не так чтобы он за день очень нагрелся. Всё, брат, познаётся в сравнении.

Он затушил сигарету о подошву и бросил окурочек в кусты. Потом перепрыгнул через собственную тень, пересёк двор и зыбким призраком мелькнул у забора. Дымов ждал его у проходной. Вместе они вышли на посты.

– За нами следы остаются, – разменял молчание Дымов.

Артур посмотрел на часы.

– Следующая смена в двенадцать. Успеет замести.

Они шли вдоль мертвых корпусов завода, подставив щёки ласкам пушистых хлопьев. Было как-то необыкновенно тихо, как это бывает только под снегом, и совсем не хотелось говорить.

– Стой, бля! Стреляю, нах! – раздался голос сержанта Калёкина..

– Полегче, Калёка! – крикнул Артур. – По уставу вначале «Кто идёт?» спрашивают.

– Я сказал, стреляю, нах!

– Этот выстрелит, – вздохнул Дымов.

– А ну ложись, бля! И по-пластунски, нах!

Дымов опустил на одно колено. Крикнул:

– Калёкин, прекрати балаган.

В морозной тишине раздался звук передёргиваемого затвора. Самого караульного видно не было. Дымов опустил на второе колено.

– Кажется, влипли, – сказал он тихо.

Артур пошёл вперёд. Прямо на голос. Туда, где должен был находиться сержант, направивший на него дуло своего автомата.

Когда он сделал шагов двадцать, из темноты на дорогу вышел Калёкин.

– Артура, ты ,что ль?! А я-то думаю, что за плесень по постам шляется...

– Я тебе сейчас дам, плесень! – Артур схватился за дуло автомата.

– Тихо, тихо, – сказал Калёкин. – Всё по уставу. Отпусти оружие...

– По уставу... По уставу по посту ходить положено, а не крысой по кустам прятаться...

– Ну ладно, чего ты завёлся, – Калёкин примирительно вытянул руку. – Уж очень проверить хотелось, ляжешь ты или не ляжешь...

– Сволочь ты, Калёкин, – произнёс подошедший сзади Дымов, отряхивая снег с вельветовых штанов.

– Но-но, без оскорблений! А то не посмотрю, что доктор, пуцу в расход, нах!

Он взял автомат за ствол и, вытащив магазин, передёрнул затвор. Остроносый автоматный патрон упал в снег. Калёкин нагнулся и поднял его. Выпрямившись, сказал:

– А ты, бля, Сагамонов, мужик. Не врут люди, нах...

У железнодорожного тупика они перемахнули через забор. Дымов порвал штаны о колючую проволоку.

– Да что же это такое, в конце-то концов! – культивированно выругался он.

Артур спрятал улыбку в темноте.

Вдоль забора они дошли до дороги. Машин не было. В близлежащих домах светилось несколько окон. Над оставшимся позади заводом висела жёлтая луна.

– У тебя чего сегодня? – спросил Артур.

– Банальный аборт, – ответил Дымов. – Но, как всегда, в приятной компании.

– Да, – усмехнулся Артур, – компания и у меня приятная. Но, надеюсь, обойдётся без абортот.

И они разошлись. Дымов пошёл вверх по дороге, а Артур перешёл улицу и углубился в офицерский посёлок, встретивший его гробовой тишиной.

Ему понадобилось минут пять, чтобы дойти до конца улицы. У последнего дома он остановился. Тихонько прокрался к калитке и скинул с неё скобу. Где-то вдалеке залаяла собака.

Узкая мощеная тропинка, ведущая к дому, была покрыта белым слоем. Артур задрал голову. Снег почти прекратился и падал теперь реденькой мелкой крупой. Решив не рисковать, он шагнул в сад. Между давно не стриженной изгородью и смородиновыми кустами прошёл к дому. Там, вжавшись в стену, сделал несколько осторожных шагов по мокрому гравию и тихонько постучал в дверь.

Открыли ему почти сразу. Он вступил во мрак и, слегка запутавшись в полах ночной рубашки, прижался к мокрой от слёз щеке.

– Ну, чего ты, – сказал он, целуя её в солёные губы.

– Так, как сегодня, я ещё никогда не боялась...

– Ну что ты, я же здесь.

– Я думала, он тебя застрелит.

– Ну, вот ещё! Глупости какие...

– Ты его не знаешь! Он иногда совершенно непредсказуем... И почему он тебя так ненавидит?!

– Я люблю его жену. Я сплю в его постели. Я...

– Но ведь он же не знает?!

– Чувствует. Дымов говорит, мы живём в мире причин и следствий. Больше, говорит, ничего нет. Пойдём в дом, а?

Взявшись за руки, они прошли в столовую. Сели на колючий шерстяной ковёр. Она спрятала голову у него на груди. Он сидел и гладил её волосы, время от времени целуя макушку и кончики ушей. Она пахла сваренной на молоке манной кашей. Везде-везде.

Таня подняла голову и поцеловала его в шею. Провела губами по ключицам. Взялась пальцами за низ футболки.

– Танюш, давай просто так посидим.

– Давай, – её голова вернулась к нему на грудь. В своё тёплое уютное гнёздышко.

– Я рассказывал тебе про своего отца? – спросил Артур.

Её тепло, смешавшись с запахом ночной рубашки, постепенно обволакивало его, заставляя натянутые как струны нервы безвольно обвиснуть.

– Нет, – промурлыкала она, уткнувшись носом в его футболку.

– Дымов говорит, я воюю за его любовь. И все мои беды из-за этого. Странно, да? Я ведь его совсем не знаю. Дома он бывал редко... Хотя, Дымов говорит, в этом-то всё и дело.

– А почему он не бывал дома. Он что, геолог?

– В какой-то мере, – усмехнулся Артур. – Геолог...

Они помолчали.

– Странно, да? – сказал вдруг Артур. – Придёт, месяца два пробудет и снова... А мать с него пылинки сдувает, дружков его кормит и поит... Да и я, как собачонка, у ног верчусь: папка, папка... Я, знаешь, рыбками в детстве увлекался, даже две породы впервые в неволе развёл: «риногобиус симили» и «элеотрис небулозус». Потом статью мою в журнале «Рыболовство и рыбоводство» напечатали. «Аму-Дарья – русская Амазонка». Лет одиннадцать мне тогда было... Или двенадцать, не помню... Потом он приехал. Поел, в кресло сел, закурил. Я ему, пап, говорю, смотри, у меня рыбки отнерестились... А он на пол сплюнул и сказал: «И это мой

сын!..» И все два месяца, пока его снова не... В общем, бычки он в аквариумах тушил. А я... А я ночами плакал... А когда его заб... когда его не стало, я пошёл в школу и забил до полусмерти одноклассника. Он мне в щёку из плевательницы бумажкой попал. Вот тогда всё и началось... И знаешь, не то чтобы мне по лезвию ходить нравился. Нет. Меня словно кто-то за ниточку тянет. А вот отцу нравилось, да... Ему нравилось... Дымов говорит, мне надо начинать жить своей жизнью. А какая она, моя жизнь? Ты случайно не знаешь?

Она промолчала.

– Вот из караула вернусь, надо будет подумать.

– Совсем тебе твой Дымов мозги запудрил...

– Дымов дело говорит.

Таня фыркнула, и он улыбнулся, представив, как она надула губки в темноте.

– Татьяна, ты ревнуешь?

– Нет... Да... Не знаю.

– Татъяаана!..

Она навалилась на него и закрыла рот поцелуем. Оторвавшись, сказала:

– Такой ты у меня, оказывается, болтун! Ужас!

– Что есть, то есть, – сказал он весело, внезапно почувствовав приятную пустоту в душе. – Как альтернативу предлагаю тихонечко включить радио.

Она встала и, подойдя к стоящей на трюмо магнитоле, повернула ручку. Из динамика раздался голос Фредди Меркури.

Привыкшими к темноте глазами он смотрел, как она скидывает ночную рубашку. Лёгкий ветерок донёс запахи её тела.

– Интересно, о чём они поют? – Таня подошла и опустилась на пол. – Ты понимаешь?

– Кто же хочет жить вечно, если любовь должна умереть, – усмехнулся в темноте Артур.

– Пошленько, – сказала она, стаскивая с него футболку.

8

В казарму он вернулся около трёх. Дежурного по части на КПП не было. Не было его и в казарме.

Артур разбудил сопевшего в его подушку Зюкала. Помог ему разобрать скрученное из пары одеял чучело. Затем снял с себя гражданское и засунул под матрас. Лёг в кровать и попытался заснуть.

Сон не шёл. Промучившись с четверть часа, он поднялся и вышел в коридор. Трое новобранцев драили пол под руководством дневального с чудовищным чубом. В расположении четвёртого взвода не спали. Пятеро молодых играли импровизированный концерт. Тема изначально называлась «Во поле берёзонька стояла». Коренастый малыш солировал тоненьким голоском. Худощавый азиат сидел на ударных. Кроме этого присутствовали бас-гитара, соло-гитара и саксофон. Лейтмотивом была песня «Ганз энд роуиз», «Райский городок» – если он, конечно, не ошибался. Соло-гитарист, играя на воображаемом инструменте, извивался как червяк. Саксофонист филонил, за что и схлопотал подзатыльник.

Несколько старослужащих сидели рядом, попивая сивуху, судя по цвету, во всяком случае. Один из них протянул стакан. Артур, поблагодарив, отказался. Двинулся вглубь помещения. Прошёл мимо бойца, изображающего дембельский поезд. Мимо другого, с усердием начищающего чьи-то сапоги...

У самой стены сидел штабной писарь и с ним ещё несколько солдат. В руках у писаря было письмо.

– Садись, Артуруч, послушай. Сегодня в корзине у зампотеха нашёл.

Артур остался стоять. Писарь поёрзал с минуту и начал читать:

«Здравствуй, дорогой друг! С пламенным приветом пишет тебе твой собрат по оружию с далёкого острова Диксон. Вспоминая твоё “Здорово, пехота”, хочется плакать. Хочется плакать, потому что драпала доблестная пехота из дружественной Чехословакии прямо в обосранных подгузниках. Эх, да чего там говорить! Дали нам сроку девять месяцев, как нагулявшей байстрюка публичной девке... Прости меня, друг мой, я пьян. Я безнадежно пьян, потому как трезвому в плохо отапливаемом офицерском общежитии холодно и тоскливо. И стыдно. Стыдно смотреть на беременную жену. Больно читать в её глазах...»

– Тут, это, несколько строчек зачёркнуто, видно, вообще уже лыка не вязал. Ага, вот тут дальше:

«...Доброй половине наших, особенно мелкозернистым, от старшого и ниже (хотя куда уже ниже?), внаглую предложили уволиться, потому как квартир всё равно нет и на довольствие всех не поставишь... Командный состав, бля, добро вагонами вывозил, даже пиво ящиками и всякой там бежеровки-шмехеровки. А я, бля, тут с оленями да с тюленями волком вою в ёбаной береговой охране, хотя хули тут охранять, кроме Клавкиного живота, да и он кому на хуй нужен... Всё, бля, писать не могу. Вынужден занять горизонтальное положение...»

Писарь расхохотался. Артур вырвал у него письмо. Сказал:

– Сука ты, Налим. Сука неисправимая.

– Ты чего, Артуруч...

– Никакой я тебе не Артуруч. Над чем ты смеёшься? Над тем, что люди веру в хорошее теряют?! Тварина ты, погань штабная! Хочешь, чтобы я тебя при кабанах на колени поставил?..

– Ты чего, Артур?!

– Того. Письмо это человек писал. И не тебе, гнида, над ним потешаться.

Пшёл отсюда!

– Артур, я сплю здесь...

– Пшёл отсюда, я сказал!

Писарь встал и, прижимаясь к кроватям, заспешил к выходу.

– Юращенко кто видел? – спросил Артур.

– На подсобке он, – отозвался кто-то. – Зампотыл его свинарник чистить загнал. Думаю, до утра не появится.

– Ясно, – Артур ударил кулаком в стойку кровати. – Эх! Что же вы, воины, уши развесили?! Некому остановить паскуду?!

Молчание было ему ответом.

Уже засыпая, он услышал возглас дневального «Рота, смирно!», и через несколько минут назойливый луч фонарика уткнулся ему в лицо. Но это было уже неважно.

Наутро Артур вскочил с подъёмом, выпавшийся и бодрый. Вместе со всеми поскакал в умывальник, чтобы подставить заросший затылок под ледяную струю. Солдаты удивлённо оглядывались на него; в это время они привыкли видеть его в постели.

– Хороша служба! – хохотал он, брызгая водой в заспанные лица.

И, натянув сапоги, бежал вниз, туда, где уже строились воины в длинную ломающую колонну.

– Тебя чего, Артурик, в сроке службы понизили?! – кричали ему с брусев.

– Хорош курить, болезные! – кричал он в ответ. – На гражданку вернётесь – жёны от вас чинариков нарожают! Дочку, спросят, как зовут, а вы ответите: Родопи! И смеясь, он вышагивал по плацу. Солдаты, идущие рядом с ним, тянули ножку.

– А ну подтянись, Онуфриенко! – кричал Артур шагающему рядом сержанту. – Где кренделёк, где оттяжечка?! Бери с подчинённых своих пример...

Он обвёл взглядом тёмный плац, обрамлённый остатками вчерашнего снега и, воздев голову к морозному небу, крикнул:

– Хорошо шагаешь, ремрота!

– Рады стараться, товарищ армии черпак!!! – грянул ответ.

И Артур радостно расхохотался.

На завтраке он отдал своё масло рядовому Зюкалу. Солдат покорно склонил шею для удара.

– Ну чего ты, дурень, – Артур потрепал его по шершавому затылку. – Ешь давай..

С соседнего стола наклонился детина с рыжим пухом на щеках.

– Тарелочку из-под сахара не дадите облизать?

– На, оближи, – сказал сержант Белый и швырнул тарелкой прямо детине в лицо.

Тот вскрикнул и прижал ладонь к разбитой губе. И у Артура испортилось настроение.

Несколько часов он отработал на заводе. ГАЗ-66, доставшийся им сегодня, был на редкость ржавый, и они провозились часа два, снимая кабину.

– Артурка, сходил бы за кабанами, – просил его Кизякаев. – Мы ведь так до вечера не управимся.

– А завтра чего делать будете? А послезавтра? – Артур закрепил за кабину крюк кран-балки. – Нет уж, давай-ка сегодня своими силами. Алимардонов, уснул, что ли?! Давай, дуй за автогеном...

– Да иду уже, иду, – проворчал тот, и кадык его исполнил возмущённую чечётку.

Около одиннадцати Артур вышел из цеха. Направился в пожарную часть. По дороге зашёл к Воронину и забрал приготовленный для Дымова свёрток. Откинув брезент полога, вышел наружу. Пошёл по асфальтированной дорожке вдоль поста номер один, мимо обшарпанных строений, мимо ангара для командирского УАЗика, мимо грязных комьев лежалого снега...

Когда выходил из проходной, раздался возглас «Часть, смирно!», и Артур увидел в десятке метров от себя голубые погоны полковника Скрыля. Едва успев отбросить свёрток, он остановился и вытянулся по струнке.

– Солдат, ко мне! – крикнул ему командир части.

Артур пошёл было вразвалочку, но потом, закусив губу, побежал. Подбежав, вытянулся снова и отдал честь.

– Вольно, – сказал полковник, прищурившись. – Что-то не похоже на тебя такое рвение.

Артур промолчал.

– Ладно, ладно, – сказал Скрыль. – Человеку ошибаться свойственно... Человеку, но не солдату!

Артур молча разглядывал парашютистов на голубых петлицах.

– Даём тебе сегодня последний шанс. Замполиту своему можешь сказать спасибо...

Артур молчал.

– Ну, скажи уж чего-нибудь, Сагамонов, раз ты сегодня такой ласковый.

Артур улыбнулся. Сказал:

- Если командир части знает твою фамилию, это не всегда хороший знак.
- Сам придумал?
- Не, Конфуций.

– Ну-ну. Так чего тут знать-то?! Часть-то крошечная. Вот в Борно-Сулинове у меня десантный полк был, там твоя пословица была бы к месту.

«Интересно», – подумал Артур. «Чего это тебя с десантного полка на полугражданский заводик перебросили?» Но вслух ничего не сказал.

– Ладно, Сагамонов, – произнёс Скрыль. – Я вот думаю, может, ты не тот, за кого мы все тебя принимаем. Может, тебе просто скучно в солнечную-то погоду? Может, ты герой и тебе гром нужен? А, Сагамонов? Может, под его, грома этого, раскаты твоя сущность героическая и проявится? Если так, то понимаю. Как ты думаешь, каково мне здесь сидеть после десантного-то полка? Вопрос риторический, можешь не отвечать.

– А я и не собирался.

Полковник снял фуражку и пригладил седые виски. Сказал:

– Герой. Только ты учти, герой, что в части ЧП, и для твоего чудесного перевоплощения сейчас самое время...

– Талантами земля русская полнится, – сказал Дымов, разворачивая свёрток.

– Ты ещё его клинков не видел! – махнул рукой Артур. Принёс я один такой антиквару, а он его в руки взял, бережно так погладил, аж дыхание затаил, и говорит: «Тоledo Саламанка! Одиннадцатый век! Чудо мосарабских кузнецов!» И так благоговейно, знаешь: «Откуда он у вас?» А эта Саламанка с неделю назад была рессорой от списанного шестьдесят шестого... Хотя Ворона говорит, у ЗИЛа рессоры лучше.

Дымов взял новенький скальпель. Воздел руку к лампочке под потолком. Сказал, вскинув голову:

– Обер и Дюваль! Двадцатый век! Чудо французских сталеваров!

Артур расхохотался. Спросил:

– Что, правда такая есть?

– Считается лучшей нержавеющейкой в мире. Хотя есть, конечно, ещё Ф. Ц. Дик и Золинген... Но вот это... – он потряс зажатый в кулаке скальпелем, – это тоже здорово. Кстати, откуда у него нержавеющейка?

Артур пожал плечами.

– Я не спрашивал, он не говорил... Ты же знаешь Ворону. Из него слова клещами не вытянешь.

– Да, Воронин чудесный парень. Добрый очень. Как он чемпионом Белоруссии по боксу умудрился стать, ума не приложу. Помню, в начале моей службы нас вместе в наряд по гарнизону послали. Он меня у тумбочки оставил, а сам пол принялся мыть. Солдаты местные над ним потешаются, а он улыбается и тряпкой пол трёт. Старательно так. И на шуточки их совсем не реагирует. Только очень уверенный в себе человек может противостоять толпе. Мало таких. Иисус...

– Серёга, не заводись, – сказал Артур.

Дымов грустно посмотрел на него. Потом рассмеялся.

– Чего смеёшься, дурень, – покачал головой Артур.

– Смешной ты, вот и смеюсь. А Воронин действительно сильный. Сильный и терпеливый. Если в человеке есть два этих качества, за него можно быть спокойным.

– Ты откуда знаешь, что он терпеливый?

– Руку я ему оперировал. Без анестезии. Когда же это было, дай бог памяти? Кажется, в июле. Ни звука не проронил. Сидел и другой рукой пирамидки из спичек строил...

Дымов опустил скальпель в грудку хирургического инструмента и вновь запаковал свёрток. Потом достал из-под кровати большую холщовую сумку.

– Посмотри, никто не идёт, – попросил он Артура и высыпал содержимое сумки. На стол легли облатки таблеток, упаковки ампул, новенькие шприцы с иглами, пачки ваты и бинтов.

Артур вышел. Минут через пять вернулся.

– Когда заступаем? – спросил Дымов.

– Как обычно. После четырёх, вместе с суточным нарядом, – отозвался Артур, беря в руки одну из упаковок.

– Амнопон, – прочитал он вслух. – С гарнизонных складов?

– Из нашей медсанчасти, – Дымов взял у него из рук ампулы и убрал их в стоящий у стены брезентовый рюкзак. Туда же перекочевали и все остальные лежащие на столе предметы.

– Пошли третьего искать? – спросил Артур.

– А кто у нас третий? – поинтересовался Дымов, воюя со стягивающими рюкзак тесёмками.

– Юращенко.

Дымов опустил рюкзак на пол и, к большому удивлению Артура, непечатно выругался.

10

Минут через десять они шли вдоль высоких угольных насыпей по посту номер два.

– Везут, везут... Скоро завод сворачивать, а они всё везут... – сказал Дымов.

– Уголь денег стоит, – Артур поднял маленький чёрный камешек. – Пока он там, – он мотнул головой в сторону ворот, – он их. А здесь он наш. А наш – значит ничей. Я уже сам было на него глаз положил, да дают мало. А вагонами грузить – возиться не хочется...

Дымов внимательно посмотрел на него.

– Не хотелось, – поправился Артур.

Около сотни метров они прошли молча. Угольные насыпи обмельчали. За ними уже можно было различить бурые, с соломенными и белыми проплешинами, склоны. Местами выскальзывала глянцевая поверхность реки, отливающая свинцовым в матовом, профильтрованном сквозь громаду облаков свете. Артур сказал:

– Мне парни из моторного УАЗик собрали из списанных запчастей. Ума не приложу, что с ним делать.

– И где же стоит этот шедевр коллективного зодчества? – спросил Дымов.

– На площадке, вместе с готовой техникой. Если за неделю не отогнать, увезут вместе с остальными в Мотыкало.

– Пусть увозят, – Дымов шёл, опустив взгляд в землю.

– Я так не могу. Ребятам заплатить надо. Они с ним больше трёх месяцев возились...

– Артур, или в одну сторону, или в другую, – сказал Дымов. – В обе нельзя. Получится, как в «Лебедь, рак и щука».

– Ненавижу тебя, – проворчал Артур. – Не из-за денег же, бля! Просто у них дело общее было. В кои веки раз. Они жили этим. Понимаешь?!

– А как заканчивались до сих пор твои общие дела?

– Ненавижу тебя, – повторил Артур.

– И лучше было бы, чтобы они машину разобрали. Попадутся – сам же себе не простишь...

– Да пошёл ты, – сказал Артур и ускорил шаг.

Дымов догнал его, и вместе они завернули за край угольной насыпи. Там взору их предстала следующая картина.

Из дверей прилепившегося к вершине холма свинарника вырывался бурлящий поток. Склон, по которому вода стекала к реке, пузырился бурыми комьями. Некоторые из них поднимались вверх, другие скатывались в реку. Дымов изумлённо посмотрел на Артура.

– Поросята, – сказал тот, и они вступили на гулкие доски моста.

А склон перед ними пенился, шевелился, визжал...

Дверь свинарника, дрожа, выпустила последнюю воду и застыла, оставив проём сочиться струйками и ручейками. Стараясь не ступать в глубокие лужи, они подошли ближе и заглянули внутрь.

В свинарнике царила тьма, плотная и вязкая. Потом она вдруг раздвинулась, и наружу, мелко семеня копытцами, выбежал поросёнок. Он тревожно хрюкнул, поскользнулся и скатился на брюхе по размокшему склону. Проводив его взглядами, они шагнули внутрь.

Шли вслепую, осторожности ради вытянув перед собой руки. Под ногами хлюпало и проседало. За загонами визжали свиньи, их массивные тела бились о перегородки с глухим стуком.

На ощупь, перебирая руками по шершавому частоколу, они двигались вперёд. Двери некоторых загонов были распахнуты, за их проёмами царила мёртвая тишина.

– Что здесь, интересно, случилось? – спросил Дымов. – И почему света нет?

– Ох! – сдавленно вскрикнул Артур.

Что-то мокрое и живое кинулось ему под ноги, отбросив к изгороди, ударилось несколько раз в близлежащие ограждения и с визгом кинулось в сторону, из которой они пришли.

– Что случилось, Артур?! Ты живой?

– Живой, живой... – проворчал Артур, чувствуя, как его сапоги наполняются влагой.

Держась за ограду, он нагнулся и нащупал в месиве под ногами свою шапку. Выжал её и засунул за болтающийся у пояса ремень.

– Вернёмся? – спросил Дымов.

– Давай в подсобку заглянем. Может, там кто-нибудь есть...

За грубо сколоченной из неструганых досок дверью горел свет. Ослепнув на первые несколько секунд, они застыли на пороге. Когда же зрение вернулось, сдвинуться с места они так и не смогли.

У широченной скамьи стоял согнувшись зампотыл части прапорщик Пуцек с портупеей в вытянутой правой руке. Левой он придавливал к скамье бритый затылок рядового Юращенко, стоящего на коленях. Галифе солдата были приспущены, и белоснежный зад сиял на фоне потемневшей от времени древесины. Хомуты, вилы и прочая утварь в спокойном безмолвии созерцали со стен вершающуюся в их присутствии расправу.

– Хрясь! – врезалась дублёная кожа портупеи в дебелию кожицу солдатского пончика.

– Хлоп! – шлёпалась следом полная, судя по звуку, кобура.

– Что делать будем? – тихо спросил Дымов.

– Кажется, вот это и называется «огульно охаживать»... – прошептал Артур, набрал в лёгкие воздуха и что было сил гаркнул:

– Отставить экзекуцию, товарищ, ёма, прапорщик!

Получилось очень похоже на майора Оскому. Дымов прыснул.

Пуцек обернулся. Рука с взвившейся портупеей застыла в воздухе. Глаза ошалело таращились на солдат.

– Товарищ прапорщик, разрешите обратиться, – отчеканил Артур, пользуясь заминкой.

– Обратиться, бля, – портупея, взвизгнув, снова врезалась в зад Юращенко.

– Обращайтесь.

– Хрясь! Хлоп!

– Я, бля, ща тут кое-кому обращаюсь... Хрясь! Так, бля, обращаюсь, что, бля, обрашала отвалится... Хрясь! Хлоп!

Юращенко, как это ни странно, деловито сопел.

– Смотри, тля, даже не вскрикнет... Хрясь! Я, бля, Ваську полжизни лечил, у него только с год, как вставать начал, а ты всех поросят... У, бля, уродец сраный...

– Хрясь! Хлоп! Хрясь! Хлоп!

Артур подошёл и схватил зампотыла за кисть.

– Но-но, чёрт лукавый! – взревел тот, вырывая руку. – Ща и тебе жолдас отполирую...

– Товарищ прапорщик, – спокойно сказал Артур. – Рядового Юращенко срочно к командиру части...

– Я вашего, бля, рядового, на губе за вредительство сгною... Хрясь! Сорок восемь суток вне очереди!.. Хрясь! Семьсот суток...! Хрясь! Сто шендернадцать суток! Боже ж ты мой! – он опустился на скамью, уронил портупею на пол и закрыл лицо руками. – Сколько же я с Васькой возился... Всё коту под хвост... Всё! Утоп, герой-ебливчик! Утоп!

Зампотыл согнулся, коснулся лицом колен, и плечи его сотрясли рыдания...

– Васька мой, Васька...

Артур поднял Юращенко с колен, помог нахлобучить шапку и мотнул головой в сторону двери. Когда они выходили, прапорщик Пуцек сидел в той же позе и плечи его по-прежнему тряслись...

– Да я рассчитал всё, точно говорю! – оправдывался долговязый Юращенко, когда они спускались с холма к реке. – И я так уже двести пятьдесят раз делал... Я в школе на труде макет построил, а меня потом на олимпиады мелиораторов и всё такое... Медаль даже дали – за доблесть и смекалку...

Он почесал затылок в галифе зад.

– ... Собрал я, короче, насосы с рукавами со всех теплиц... Даже из новой взял, что на откосе... Там насосище отличный стоит, из-за него, думаю, ошибка и вышла. Да и то, что уснул, вот... А так бы ещё и отпуск дали... А может, я бы армии патент продал... Освободил бы, так сказать, солдат от рабского труда. А чего, пару насосов, рукава в реку, и кемарь себе, пока вода на полметра не поднимется...

– Полметра! – не выдержал Артур. – А поросята?! Тоже полметра?!

– Ааааа...

– Ага, – сказал Артур и вlepил Юращенко подзатыльник. Потом нагнулся и схватил в охапку барахтающегося в грязи поросёнка...

– Эх, хреном бы его натереть да пивом полить, ёптэ! – крикнул Лёха из кухни, лязгая заслонкой духовки. – Да где же его сейчас добудешь, пива...

Артур с Дымовым доедали борщ. В помещении для приёма пищи кроме них никого не было.

– Я под это дело полбуханки смолотить могу, – сказал Артур, натирая ржаную горбушку чесноком.

– Дурная привычка, – сказал Дымов.

– Серёж, я тебя, конечно, уважаю, но иногда ты как затянешь свою заунывную песню...

– Чего вы там? Про борщ? – подал голос Лёха, выходя из кухни. – Так я его свежим свекольным соком заправил. Меня и в офицерку кличут, ёптэ, если борщ по расписанию..

– Алексей, а солдаты сегодня что на обед кушали? – поинтересовался Дымов.

– Чего-чего... Знамо чего. Сало-волосало, ёптэ, с перловкой третьей жёсткости.

– Вот поэтому, Артур, у Бакотова была такая слабая иммунная реакция. Сало-волосало...

– Да, кстати, ты Бакотова хорошо кормишь? – спросил Артур Лёху.

– Обижает, ёптэ, – ответил тот, бросив взгляд на часы. – Утром ему яблочек с морковкой пошкрябал, яйцо всмятку, медку опять же... В обед борща с чесночком, на ужин картошечки гражданской дам, рыбку поджарю, почти без опарышей...

Внезапно скрипнула входная дверь и в столовую вошёл Бакотов.

– О! – воскликнул Лёха. – Говно вспомни, оно и всплывёт... Тебе чего надо, воин? Али добавки захотел? Таким, как ты, ёптэ, хрен в рот не клади – откусют... Бакотов стоял насупившись и прижимая к груди больную руку.

– Пойду перевяжу его, – Дымов встал.

– Я тебе нужен? – спросил Артур.

Дымов покачал головой. Придвинув стул, пошёл к выходу.

– Удивляюсь я вам, – сказал Лёха, не дожидаясь, пока Бакотов выйдет. – И чего вы на всякую лошкатню силы тратите?! Как по мне бы, так хоть бы совсем сгнил, жених, ёптэ...

Дымов обернулся уже при выходе и укоризненно покачал головой.

– Лёх, хлебало закрой, – сказал Артур.

– Чего?!

– Хлебало, говорю, закрой.

– Не понял!..

– Сейчас черпаком тресну по сопатке, тогда поймёшь.

Артур поднялся. Придвинул стул. Сказал:

– Веришь, я сейчас впервые пожалел, что часы тебе отдал.

– Ну... это уж... – начал было повар.

– Они, Лёх, – перебил его Артур, – на твоей руке потускнеют и обесценятся...

Придя в казарму, он лёг на койку и сразу уснул. Проспал не долго. Ему показалось – всего несколько мгновений. Просто голову заволокло туманом, и сквозь него, сквозь туман этот, Артур вдруг услышал голос Дымова. Он сделал над собой усилие и раскрыл глаза.

– Я помешал? – спросил Дымов, примостив свои без вершка два метра на краешек кровати.

– Да уж не помог, это точно. Перед нарядом вообще-то отдых полагается. Особенно после бессонной ночи...

– Извини.

– Ладно, брось. Как там Бакотов?

– Ты знаешь, ничего, – радостно улыбнулся Дымов. – Грануляции розовые и сочные, эпителизация по краям нормальная...

– Серёж, говори по-человечески, и так голова раскалывается...

– В общем, будет жить рядовой Бакотов. Я его антибиотиками снабдил. Станет колоть каждые четыре часа внутримышечно – до нашего возвращения дотянет... Главное, что он питается нормально. Это, пожалуй, важнее всего... Да, кстати, я сегодня твои часы у Алексея на руке видел?

Артур кивнул, поморщившись.

– Так, на пару дней поносить дал.

Дымов покачал головой. Сказал:

– Почему бы просто не обрадоваться возможности сделать доброе дело...

– Серёг, давай сейчас без проповедей обойдёмся. Я его и так куска хлеба лишил...

– Ах, Артур, если бы ты только знал, как мало надо человеку для счастья, когда он сердцем чист и занят своим делом... Вот ты, например, когда в последний раз был счастлив?

– Сегодня ночью, – ответил Артур не задумываясь.

– А до этого?

– Когда майору Ускову погони срывал. То есть я думаю, что был счастлив. Сам-то я этого, конечно, не помню... Ладно, посиди минутку, я пёрышки почищу, у нас развод через час с небольшим... Или лучше нет, сбегай к Лёхе за поросёнком. Мне кажется, я его запах уже здесь чую...

Последующий час они провели в сборах.

Каптёр Айнашев выдал им сумки с сухарями и сухим пайком, достал спальные мешки и бушлаты. А также несколько пар шерстяных носков, печенье «Ротфронт», шоколад «Алёнка», две пачки детского питания «Малыш» и две бутылки «Столичной».

– Валенки нужны? – спросил он.

– Смеёшься? – Артур скорчил гримасу.

– А рукавицы?

Артур только махнул рукой.

– Я у тебя там флягу «Ц2Аш5ОАш» видел, – обратился Артур к Дымову, когда они вышли в коридор. Наша доля присутствует?

Дымов отрицательно покачал головой. Артур снова вошёл в каптёрку. Через пару минут вернулся. Затягивая вещмешок, сказал:

– Теперь у нас и без этанола достаточно антисептика.

В оружейной комнате, куда они пришли получать оружие и боеприпасы, препирались Попов и Пуцек.

– ...Бабец у тебя голый на стенах вместо портретов Ленина! – кричал дежурный по части.

– Да при чём тут это, бля. Он мне Ваську угробил, да поросят не считано! Пусть теперь отвечает... Это же, бля, уголовное дело.

– Ты мне тут не блякай! Нечего было солдата ночью на подсобку загонять! Не предусматривает устав такой меры наказания... Ещё и в моё дежурство!

– Так, значит, товарищ старший прапорщик! Своим же, бля, в спину... Ну, я это так не оставлю!.. До Москвы дойду, если надо будет! Ходатайствовать буду о несоответствии...

Пуцек сплюнул на пол и выбежал из оружейки.

– Москва будет против! – крикнул ему вслед Попов.

Дымов деликатно закашлялся.

– А, солянка сборная мясная! – повернулся к ним дежурный по части. – А где третий уродец?

– А кто ж его знает, – сказал Артур. – Наверное, раны зализывает.

– Это кто же его поранил? Поросята?

– Да нет. Пуцек отстегал портупей.

– Прапорщик Пуцек.

– Прапорщик, – согласился Артур.

– Ну-ну. На-ка, распишись за два магазина и штык-нож. Сержант Дымов, открой пирамиду и достань табельное оружие. И за свои два магазина закорючку поставь. Таак. Моя бы воля, я бы вам, конечно, на орехи выдал, а не оружие. Особенно тебе, Самогонов. И за Юращенко смотрите. У него сейчас, судя по свинарнику, полное затмение. Тотал эклипсов за хорт. Так то, Самогонов...

– Сагамонов, мать твою, – тихо сказал Артур. Дымов дёрнул его за рукав.

– Что ты сказал, солдат?! – воззрился Попов на Артура. Во взгляде его сквозило почти детское удивление.

– Сагамонов, мать твою, – повторил Артур. И добавил:

– Товарищ старший прапорщик.

С минуту они молча смотрели друг на друга. Артур поправил ляжку автомата на плече.

– Ладно, – неожиданно сказал Попов. – Раз уж у нас сегодня день всепрощения... Ступайте. На развод не опаздывайте. Да, и Юращенко не забудьте ко мне прислать...

На суточные наряды разводил дежурный по части майор Оскома. В седой шинели с маршальскими погонами и в дымину пьяный. Петляя по ведущей к плацу дорожке, он несколько раз оступился и чуть не упал.

– Наряд, смирря! – крикнул капитан Чуприна, когда нетвёрдая нога майора вступила на плац.

И побежал докладывать. Прапорщик Сармаш остался со строем.

– Я на рембыттехнике колымил, бля, – сказал сержант Калёкин. – Тама спец по печаталкам бухмеля был, который по стиралкам – так тот вообще не просыхал, а холодильник я по трезвяне и не видел. Только начальник не бухал, подшитый был, что ли. Вот они с утраца три четверти, к одиннадцати две чекушки, в обед литруху и к расходу пол. Такой, бля, у них был приём пищи. Холодильщик, тот диабетиком был... Ну, типа, дают ему конфету, бля, закусить, а он: я, мол, диабетик, нах, не дозволено, и хрясь стопарь. В другой раз, который по стиралкам пельмени притаранил, цивильные, с лучком-чесночком, всё такое... А холодильник в отказ. Не, говорит, бля, диабетик я, нах... А сам – хрясь стопарь... И, между прочим, переходящее красное знамя, бля, никуда от них не переходило... Ударники соцтруда были, нах...

Он помолчал. Потом добавил:

– А мне, бля, на вторые сутки заступать. И за это мне не знамя, бля, а хуй на рыло...

И сплюнул под ноги.

– А к нам, помню, сам Брежнев в школу приезжал, – начал Юращенко. – Сам, своими руками с нами металлолом грузил. Сидим мы с ним потом во дворе на пеньках, а он фляжку из пиджака достал, открыл крышку, ордена поправил, выпил и мне даёт. Я тогда в первом классе учился... А можно, спрашиваю. Нужно, говорит, дорогой ты мой товарищ Юращенко. И целоваться лезет. Я тогда жутко его бровей испугался... А он из кармана гаечный ключик достаёт и мне протягивает. На металлоломе, мол, нашёл. А сам говорит: «Вот так я и под Курском, дорогой товарищ Юращенко, когда контру раскулачивал, изъятое перераспределил, а поросёночка-другого к себе в хозяйство... А как же без этого-то. Без этого никак... И на малой земле – патроны солдатам роздал, и себе ящичек не забудь... А на целине поднятой вообще – грузовик пшеницей загрузил, и себе мешочек в сторонук...»

– Отставить смех на плацу! – гаркнул прапорщик Сармаш.
– Скажи мне, Юращенко больной? – тихо спросил Артур Дымова.
– Любви не хватило, – так же тихо ответил тот. – Вот теперь и побирается...
Внезапно зашелестели, загудели выстроенные в две шеренги солдаты. Артур огляделся.

От КПП к зданию казармы шла Татьяна Попова. Проходя мимо, она мельком взглянула на строй. Увидев Артура, улыбнулась и тут же опустила лицо.

– Ух, я бы ей жиклёр прочистил! – сказал москвич Лозинский.
– Да, с такой ляхой по главной улице пройтись – бабы друг-дружке глаза повыцарапают, – вторил ему кто то из строя.
– Сиповка, бля! По походняку вижу, сиповка, нах! – определил Калёкин.
Артур скрипнул зубами, и желваки заходили на его скулах.

– Смирно! – крикнул Чуприна, подойдя. – Если солдат хочет увидеть что-либо вне угла, так сказать, его зрительной передачи, у него есть два выхода. Один – непосредственно обратиться к начальнику, то есть – представиться: рядовой Хупкин-Золупкин, и дальше товарищ гвардии ё-моё, разрешите обратиться, и так далее. Или же, другая возможность – стрелять глазами. Сейчас будем тренироваться. Показываю: делай раз, делай два...

Снова пошёл снег. Майор Оскома маршировал по плацу, нарезая круги по малому периметру. Временами его бросало из стороны в сторону. Дважды он упал. Пытался ползти, потом поднялся снова...

– Жаль мужика, – прошептал Артур. – Единственный человек из всей этой братии...

– Поэтому и спивается, – сказал Дымов. – Как волк среди псов. Перегрыз бы их всех, а вот не может. Так и погибает от тоски...

– Делай раз... Делай два...
– Жена небось пилит, – предположил Лозинский.
– Он, гаварят, из казино не вилезает, – возразил рядовой Чхиквишвили. – Азарт йиво губит, нэ жэнщина. Жэнщина нэ губит. Эх, женщина...

– Меня раз Попов к себе домой послал, Татьяне Васильевне помочь картошку чистить, – вмешался Юращенко. – Подхожу к дому, стучусь – никто не открывает. Я дверь толкнул, смотрю – открыто. Вошёл. Никого. Слышу – шум воды в ванной. Я сразу туда. Дверь, значит, приоткрыта, из щели пар, значит. Заглядываю... Мать честная! Она стоит под струями воды, как Самсон, и сосцы себе мылом натирает. А они у неё длиннющие – сантиметра четыре...

– Эй, биджо, – раздался голос Чхиквишвили. – Ти толька Самсона нэ трогай, да...

– Отставить смех на плацу...!
– Дурила ты, Юращенко, – зло сказал Артур. – Тебе за свиней год дизеля светит. Если тебя раньше Пуцек не пристрелит... А ты тут Петрушку из себя корчишь...

Снег падал плотными сухими хлопьями. За их стеной шагающий по плацу Оскома казался персонажем из фильма про войну. Этаким пленным немцем в великоватой шинели, шагающим по заснеженным русским равнинам навстречу своей незавидной судьбе.

– Зампотыл, оказывается, человек чувствительный, – сказал Дымов. – Как он сегодня рыдал из-за погибших животных...

– Ну да, – усмехнулся Артур. – Он поросят этих по три убитых енота за кило живого веса загнать намеревался.

– Откуда ты знаешь?
– Он с человеком договаривался, которому я Лёхино мясо загоняю... Загонял.
– Эй, воины, может, заткнёте, – прикрикнул на них Сармаш. – Нас так до ужина не разведут...

– Тварищи слдаты! – майор Оскома попытался было разогнать снег перед своим лицом, но потерял стабильность и вздохнул. – Я посылаю вас... Я плл... Я вас посылаю... Я... Я...

– Ну, пошли уже нас всех на хер и отпусти с богом, – сказал рядовой Лозинский. В строю засмеялись. Прапорщик Сармаш опустил лицо вниз. Капитан Чуприна недовольно обернулся.

– Товарищщи слдаты! Я посылаю вас... Я... Я, ёма, вас посылаю...

12

– Осторожней, – сказал Дымов, подавая высунувшемуся из кузова Юращенко раздувшийся вещмешок.

– Тяжеленный, – сказал тот. – И чего это у вас вещей так много?

Артур не ответил. Бросил забирающемуся в кабину Сармашу:

– У поворота на «Краковку» остановишь.

Тот кивнул. Повернулся к водителю.

– Вода в последнее время часто закипает, – обронил тот, глядя перед собой.

– Авторемонтный завод, бля, а сами на старье ездим. Сапожники без сапог...

Артур захлопнул дверь и, обежав машину, забрался в кузов. Ударил кулаком по деревянному ребру, и водитель завёл мотор.

– Смотри, как заметаает, – сказал Дымов, когда они поехали.

– Метёт, – Артур, сидящий на скамье у заднего борта, подставил руку под падающие с неба хлопья. – Всё не слава богу. Новый Год всухую встречали, а теперь...

Машину занесло при выезде на дорогу, и Юращенко съехал со скамьи на дно кузова. Дымов помог ему подняться. Артур страдальчески поморщился.

– Помнится, мы у Обводного канала стояли, я и Анна, – сказал Дымов, усаживаясь. – Она снег рисовала, а я ей что-то объяснял, что-то, что сам только что понял... Кажется, по медицине что-то... Да это и неважно... Потом вдруг сказал, что люблю её. Совершенно неожиданно как-то... А она не услышала. Всё рисовала свой снег...

– А разве можно снег рисовать? – спросил Юращенко.

– Можно, Андрей, можно, – вздохнул Дымов.

Они проезжали мимо офицерского городка. Серые, унылые домики, скорбное запустенье дворов, склепы уличных удобств, путаница дров на подворье, какие-то цепи, колёса, бруски...

– Теперь хоть снег срам прикроет, – скривил губы Артур.

– Не любим мы чужую землю, – грустно сказал Дымов. – Не лю...

– А мы, – перебил его Юращенко, – помню, в лес придём зимой, костёр под деревом разведём, значит, еду разложим – кто чего принёс, ну, там яички, лук, скумбрию горячего копчения, вина... Печенья... Бубликов... Варенья...

Артур вздохнул.

– ...Мороженого... Сосисок... Печёночного паштета... Молока... Сливочных колбасок... Охотничьих колбасок... Сыра... Творожных сырков...

– Юраченко!

– ...Сою в томатном соусе... Лука... Сосательных конфет... Шоколадных конфет... Су...

– Юраченко!!!

– А... Аааа, ну и сидим, короче, кушаем. А снег на ветвях подтаял и вдруг – бух! Вся эта снежная масса на нас, представляете! А мы хоть бы хны – кушаем дальше. А снег от тепла наших тел подтаивает, и вот уже вокруг нас пещера. И мы сидим в ней, угли раздули, светло, дальше кушаем. Ну, там, рыбу, хлеб, колбасу, сыр...

– Юращенко!!!
– А... Ну вот, значит... Звери, значит, к нам пришли погреться. Грызуны в основном, но также и пернатые, и хищники... И сидят рядышком, как детки совсем... Он задумался на мгновение, потом продолжил:
– ...А воробышки, помню, такие игривые стали у нас. Просто снаружи озябли, пташки малые, а у нас отогрелись. Снаружи, там, всё-таки, выюга с рёвом бешеным...
Артур с Дымовым расхохотались.
– Чего вы? – воззрился на них Юращенко.
Потом вдруг ойкнул и схватился за живот.
– Чего, – спросил Артур, вытирая слёзы, – скумбрия хвостом шевелит?
– Больно, – сказал Юращенко. – Ой!
Он откинулся на скамье, вытянув ноги.
– Начинается, – проворчал Артур, и машина остановилась.
Артур с Дымовым прыгнули вниз, Юращенко остался в машине.
– Когда скажу, подашь большой мешок, – сказал ему Артур.
– Угу, – произнёс Юращенко и застонал.
Артур зло сплюнул на снег.

Минут через десять Сармаш спросил:
– Долго ещё?
Артур пожал плечами.
– Через пять минут выезжаем. У нас смена в шесть.
Дымов угрюмо молчал. Прошло ещё десять минут.
– Закрывай капот, – крикнул Сармаш водителю. Потом подошёл к Дымову.
– Мне очень жаль, Серёж, но надо ехать.
Дымов молча кивнул, оглядел мёртвый перекрёсток и зашагал к машине. Артур двинулся за ним.
В кузове они нашли лежащего на полу Юращенко.

– Давно это началось? – спросил Дымов.
– С месяц уже. Схватит – отпустит, схватит – отпустит...
– Чего же ты в санчасть не пошёл?
– Очень даже пошёл...
– И что там тебе сказали?
– Сказали, чтобы в туалет ходил...
– Сволочи! – произнёс Дымов.
– Сергей, кого ты слушаешь?! – сказал Артур.
– Не надо так... Зачем ты... Привстань-ка, Андрей, я тебе бушлат снять помогу...
– ...Где болит? Здесь? А здесь? Вздутия нет... А ну повернись... Здесь? А когда постукиваю? Мочиться больно было в последнее время? Хочется исключить почечную колику... Давай, повернись на живот... Теперь обратно на спину... Чего такое? Пальцы холодные? Ну, уж извини, дружок, какие есть... Стул давно был...? Ноги согни в коленях... Теперь опусти... Больно?
– В общем, так, Артур, – сказал Дымов, поднимаясь с колен. – Похоже на аппендицит. Приедем, надо будет Сармашу сказать, пусть его назад отвезут. А с нами кто-нибудь со старого караула останется; не думаю, что они на семнадцатом очень устали...
– Ну да, – согласился Артур. – Разве что с похмелья маются...
– А у меня, это, прошло всё, – Юращенко вскочил на ноги и застёгивал штаны.
– Во, точно, я в туалете давно не был...
– Ну, Айболит, говорил я тебе, – злорадно усмехнулся Артур.

Дымов, взглянув на Юращенко, укоризненно покачал головой.

Они ехали мимо поседевших перелесков, мимо пятнистых яблочных рощиц, мимо деревень и пустых полей, и всё белее становилось вокруг, всё чище, всё пустынное...

Снег залетал в кузов плотными прядками, ложась на дерево, не таял, покрывая пол у заднего борта мягким белым ковром.

– Где-то здесь мы во время учебки яблоки собирали, – сказал Артур. – В конце прошлой осени. Я таких никогда прежде не ел. Сердцевина у них твёрдая и прозрачная, на вкус как груша... Говорят, это они после первого мороза такими становятся. Особый зимний сорт...

– А я как-то иду домой, – встрепенулся в углу Юращенко. – Подхожу к подъезду, значит, смотрю – рефрижератор здоровенный перед подъездом стоит. Мак супер лайнер. А рядом отец, значит. Из поездки вернулся. Полюбуйся, говорит, сынок, чего я тебе привёз. Замок отомкнул, двери открывает, а там!.. А там черешня рассыпью до потолка! И на каждой яголке наклейка – «Марокко»...

– Симулянтам слова не давали, – шикнул на него Артур.

– Никакой я не симулянт, – обиделся Юращенко. – Поболело и прошло, бывает же такое...

– У кого бывает, а у тебя только такое и бывает. Особенно когда уголь грузить или в наряд по столовой.

Юращенко насупился, втянув голову в плечи.

– Ехать бы так и ехать, – задумчиво проговорил Артур, глядя в белую муть за бортом.

Дымов удивлённо посмотрел на него.

– Чего? – смущённо улыбнулся Артур.

– Ничего. Странно звучат в твоём голосе романтические нотки.

– Ничего странного. Я, между прочим, романтик. И ещё какой. Все мамыны украшения девчонкам передарил...

Дымов засмеялся. Потом спросил:

– А мама что же?

– Ничего. Она у меня привыкшая. Как отца осудят, так всё ценное из дома и забирают. Барахло дома не задерживалось. Они хоть и не расписаны были, но вещи-то все ворованные...

– И ты так же хотел? – спросил Дымов.

– Хотел, – согласился Артур. – Ты моего отца не видел. Когда он в дом входил, все замолкали и съёживались. Худой, как скелет, а какая силища!..

– Ну и что?! Ради чего?! Таким бы города строить, людей в бой вести, а он?!

– Серёг, давай-ка без морализма, – неожиданно жёстко сказал Артур. – Отца не трогай. Он у меня – большое место...

– И всё-таки не твоё это. Ты другой...

– А какой я?! Ну, ёб твою, какой я?! Вот сейчас едем, болтаем – хорошо. Приедем, водки попьём, поросёнком молочным закусим – хорошо. Этот вот клоун, – Артур ткнул пальцем в сторону Юращенко, – цирк устроит, посмеёмся – хорошо. А что потом? Когда вернёмся? А?! То-то, бля! Как Алиев под Ускова стелиться, что ли?! Да?! Или жопу рвать за лычки?! Говорить, бля, все умеют...

– А ты сердце своё слушай, – голос Дымова был спокоен.

– Да как его слушать, ты, умник! Стетоскопом, что ли!

– Мы мальчишками в морг при университетской клинике бегали. Очень интересовала смерть, знаешь ли, в определённый период нашей жизни. Заглядывали в окна. Убегали с визгом. Рассказывали байки в школе. Про трупы,двигающие конеч-

ностями, и прочую чепуху. Мальчишки даже играли в футбол найденным на университетской помойке черепом. Истлевшим, обтянутым сморщенной кожей. Этим их интерес ограничился. Они ушли и никогда не возвращались. Просто стали старше. Это стало для них, знаешь, как прочерченная на дверном косяке риска, что ли. А я вернулся...

Неподалёку от нового, затянутого кафелем, находился старый морг для безродных. В мрачных и сырых его подвалах, на потемневших досках и полотах стояли гробы с втиснутыми в них кое-как человеческими остатками. Там, в этом странном месте, в этой обители покоя и скорби, я впервые понял, кто я есть. Знаешь, мне пришлось даже страх перед товарищами разыгрывать... В этом возрасте ещё стесняешься своих особенностей... Знаешь, если честно, единственное чувство, которое я испытывал там, внизу, было настойчивое, даже несколько болезненное любопытство. Помнится, я долго не мог уйти, всё ходил между едва различимыми во тьме гробами, вдыхая запах тлена и ещё чего-то, едва уловимого и таинственного... Это состояние было сродни эйфории. У меня кружилась голова и звенело в ушах... Ты когда-нибудь испытывал такое?

– Ты псих, – сказал Артур и отвернулся. И, не поворачиваясь, добавил:

– Мы, между прочим, тебе на мои несправедливые кабинет отгрохали – любой врач бы позавидовал... И Парацельса твоего в изгнании поддерживаем. Так что варезку подбери и не вякай... А если на устное творчество потянуло – вон Юращенко сидит. На нём практикуйся...

Помолчали.

– Когда, кстати, Пшемеку его ордена и регалии вернут? – спросил Артур. – Ты говорил, ему из-за «Солидарности» практиковать запретили, так Валенса теперь большой человек...

– Практики его лишили из-за спиртного. Пил он раньше. Бывало и перед операциями.

– А, ну, значит, правильно, что лишили.

– Он талантливый хирург. Врач божьей милостью. И вот уже десять лет не берёт в рот ни капли...

– Так чего же его не прощают?

– Не знаю. Он не рассказывает, а спрашивать, думаю, бестактно. Полагаю, что-то они там не поделили. Как раз с соратниками из «Солидарности».

– Тоже мне – борцы за независимость! – зло сплюнул Артур. – Бились вместе, а как трофеи считать – каждый свои... Пусть письма пишет. Кается.

– Ты в своей жизни много каялся?

– Конечно. Только про себя.

– Вот-вот. А у меня опыт. Я-то письма писал, дурак наивный. Мог ведь на военной кафедре остаться – нет, напросился в двадцать три года. Полевая медицина, полевая медицина... Книжек начитался, олух! Я им пишу, я студент четвёртого курса, я уже оперировал сам, чёрт побери! А они мне, советский солдат должен уметь всё. Мы, мол, Каракумский канал, да реки Сибири, из навоза каучук... Что же, мы из врача Дымова пожарника не сделаем?! А зачем, зачем из меня пожарника делать, если я врач?!

– Серёг, чего мы с тобой орём так?

– Ветер, чёрт! Мотор! Шумно... Сволочи... Бугунову грибок банальный до трофической язвы долечили!.. Позор!

– Да, это уж точно, – сказал Артур. – У меня, помню, все ноги нарывами покрылись, так меня в санчасти врач осмотрел и говорит медсестре: «Цэ есть инфекция. Корку у каждой язвы сдирать, и сначала перекисью, а потом йодом...» Медсестра – прелесть. «Снимайте, говорит, кальсоны, солдат». Ну, я снял. А там, мать честная! Вся моя невестребованная любовь к телам небесным потянулась... Какой вы, гово-

рит, солдат, невоздержанный! И по шляпе шпателем. А сама хохочет... А минут через пятнадцать я от боли сознание потерял... На следующий день пришёл, калсоны снимаю, а язв двое больше, чем накануне. И от предстоящего ужаса волосы на голове шевелятся... А болван стоит, ему хоть бы что. Только она уже больше не смеётся...

– Стрептодермию конечностей, в частности, нижних, друг мой, в двадцатом веке лечат пенициллином, – сжал кулаки Дымов. – Быстро, легко, безболезненно. Тебе бы даже штаны полностью не пришлось снимать. Так, оголил бы мягкое место...

– Нет, так я не согласен, – засмеялся Артур. – Лучше страдать, но чтоб со спущенными штанами... Эх, сильны в нас, друг мой Дымов, инстинкты первичные...

– Ещё бы. Заперли подростков в период полового созревания без противоположного пола. Жизнь, Артур, это чудовищная сила, и если ей перекрыть естественный путь, она себе проложит новый. Только вот какой? Это зависит от многих факторов... Я слышал, у вас ночью в бытовке Аверченко насилует...

– Доходили слухи.

– И что же?

– Подходил, разговаривал. Нет, говорит, всё в порядке, ничего такого. Я ему, не бойся, дурак. Я помочь могу. Нет, говорит, и хоть ты тресни.

– Может быть, и правда слухи...

– Да нет. В ремоте зверьё лютует, это факт. Анвар, как с Мотыкало вернулся, точно с цепи сорвался. Всё ходил кабанам показывал, как его там девчонки целовали. Натурально. А Аверченко боится, что если фурсы узнают, устроят показательное разбирательство с письмами на родину, а ему ещё туда возвращаться. Вот и терпит. Хотя, как такое можно терпеть?!

– Н-да, – вздохнул Дымов.

– Чего? – не расслышал Артур.

– Н-да, говорю! – прокричал Дымов ему в ухо.

– Ерунда всё! – махнул рукой Артур. – Никто никому писать не будет. Офицерам дедовщина на руку. Ушли домой в обед, пробухали всю ночь, вернулись – казарма сияет, личный состав чистенький, сапоги, бляхи блестят. И наплевать, что кабаны всю ночь вкалывали, в промежутках между дембельскими концертами и «эпитафиями сигарете». Пока такой Бахметьев где-нибудь за трансформаторной будкой не вздёрнется...

– Или такой Рюхин на швабру не сядет, – сказал Дымов.

13

– ...Давай, Рюха! – кричал младший сержант Бобриков. – Рывок назад с переворотом! Держи ровнее швабру, Ёлкин...

Рюхин, вцепившись побелевшими пальцами в крюк кран-балки, боязливо оглянулся через плечо. Выхватил взглядом стальную трубу, зажатую в руке рядового Ёлкина. И сильнее сжал холодный металл крюка.

– Теперь подьём махом, бля! Давай, Рюха, чему тебя только в школе учили! Швабру держи ровнее, мудила... – Бобриков вlepил Ёлкину подзатыльник.

Рюхин, перехватив руку, закачался в воздухе.

– Таак, идём на всплытие! – крикнул Бобриков и вдавил кнопку в жёлтом пульте. Рюхин плавно взмыл к потолку.

– Ааай, не надо больше! – взвизгнул он оттуда.

– Чего! – возмутился Бобриков. – А как же, бля, нормативы ГТО! Или ты, бля, не готов к труду и обороне! Вот скинут тебя, Рюха, скажем, над территорией вра-

га! Над лесами и болотами штата Масачупес... А твой парашют за дерево зацепился... А враги прямо под тобой на привал, бля, устроились. Костёр разожгли, прикемарили. И снится одному из них сон: дунька его масачупесная по кличке Мэри, акула империализма с глубокой глоткой. И так его, бля, нежно покусывает... И образуеться под тобой, рядовой Рюхин, такая вот швабра... Ровнее держи, бля, кабан!.. А ты говоришь, не надо. Надо, Рюха, надо... Я ведь не говно беспринципное, мне из тебя бойца сделать надо, чтобы избежал ты участи Мэри из Масачупеса и не сел своей колодой на вражескую швабру...

– Не могу больше... Руки немеют...

– Брехня! Нет такого слова – «немогу»! Есть слово «нехочу», но его-то мы и должны исключить из нашего, бля, словаря...

– Сари, бля, цирк уехал, а клоуны, бля, остались! – гоготнул подошедший сержант Гунько. – Поддёрни, Бобёр, к верхотуре!

– Молчать, залётный! – огрызнулся Бобриков. – Мой цех – мои законы!

К ним начали подтягиваться другие военнослужащие.

– Сматри, брат-джан, кабан на адной руке висит, – сказал, подходя, рядовой Вачьянц. – Эй, чудо, пакажи, парадуй. Не асрами радзителей, цават танэм...

– Равнея, обрешотка! Равнея!

– Осаночку держи...

– И не филонить, ёма, не филонить!

– Санжировочку! Из виса сзади!

– А ну, заткнулись, бля! Я здесь старший по званию! Махом, подъём в угол обратным хватом... Швабру, бля, держи, Ёлкин...

– Ааааааааааа!

Рядовой Ёлкин ошалело уставился на Рюхина, оказавшегося вдруг прямо перед ним, прямо над его обхватившими швабру пальцами. Несколько секунд он не мог пошевелиться, отказываясь поверить в то, что произошло. Потом отдёрнул руку, и насаженный на швабру Рюхин с глухим, отчётливо слышимым в воцарившейся тишине стоном завалился на бок.

Ёлкин вскрикнул и рванул из цеха.

– Мамочка родная!.. – сказал кто-то и все уставились на Бобрикова...

– Как-же это... – только и смог вымолвить он, а цех огласился вдруг леденящим душу воем.

– Аааай, больно-то как! Оооооой! Аааааааааа...

– Швабру, швабру вытяните, – сказал кто-то.

Попытались вытащить швабру. Визжащий и катающийся по полу солдат напоминал гигантскую ящерицу, хвост которой молотил по бетонному полу, высекая из него щебень и искру.

– Не подступиться, бля! Ногой, ногой наступи, сука!

– Ёптэ, да он мне так ноги переломит!

На крики уже сбегались офицеры. Перед бьющимся в конвульсиях телом солдата они останавливались и стояли как вкопанные, беспомощно озираясь. Кто-то попытался схватиться за швабру, но слопотал по ногам и отступился.

– Ой, мамочки!!! Ооооооой!!! Ммммм!!! Уууууууууу!!! Больно то как! Ой, блядь, как же больно!!!

– Дымова, Дымова позовите! – крикнул кто-то.

– Уже побежали... – ответили в толпе.

Минут через пять появился старший лейтенант Комар.

– Что за... Ёб твою мать!

Он бросился к солдату, схлопотал по ногам, отступил, снова прыгнул, придавил его к полу и ухватился за стальной штырь.

– Ууууу! – взвыл Рюхин и сдавил ягодицы.

– Ну, давай, чёрт! – крикнул замполит. – Да помогите же, кто-нибудь! Ноги, ноги к полу прижмите...

Офицеры, опомнившись, бросились помогать. Солдаты, разинув рты, стояли неподалёку. Комар, покрикивая на суетящихся вокруг людей, принялся было снова тянуть за швабру, когда удар кулака сбросил его с тела солдата.

– Отойдите все, – раздался спокойный сухой голос.

Офицеры поднялись и отошли. Замполит вставал, потирая скулу.

Дымов сделал шаг вперёд, наклонился, не обращая никакого внимания на бьющую его по ногам швабру, и приподнял голову Рюхина.

– Бооооольно... – простонал обессиленный солдат.

– Дыши, дружок, дыши глубже, – тихо сказал Дымов. – Ещё. Ещё. Глубже. Вот так. Так. Ещё. А теперь затаи дыхание...

Он положил пальцы на напряжённую, изрезанную вздувшимися венами шею и надавил. Присутствующие, затаив дыхание, следили за его действиями.

– Тсс, тсс, – шептал Дымов, и измученный Рюхин опал, обмяк в его руках.

Дымов отпустил горло солдата и вытер лоб тыльной стороной ладони.

– Тряпку дайте какую-нибудь, под голову ему подложить. И принесите носилки. И верёвку – швабру зафиксировать.

Подложив тряпье под безжизненную голову солдата, он поднялся, огляделся и вдруг поймал ненавидящий взгляд замполита.

– Простите, – смутившись, сказал Дымов. – Я не хотел.

Комар отвернулся. Тем временем принесли верёвку. Дымов вновь склонился и принялся вязать ручку швабры к недвижимым ногам Рюхина. Пока возился, рядом поставили носилки.

– Помогите перенести его. И осторожно, – попросил Дымов стоящих рядом солдат.

Внезапно воцарилась тишина. Несколько минут её нарушали лишь сопение да шорох трущегося о бетон дерева, потом вдруг чей-то голос произнёс:

– Там в сартире Ёлкин повесился...

14

– Приехали, – крикнул водитель, откидывая борт кузова.

Артур очнулся. Спросонья не сразу сообразил, где он, потом рядом зашевелился Дымов, и всё встало на свои места. Он схватил свой вещмешок и прыгнул в снег. Следом спрыгнул Дымов, и Юращенко подал им остальные мешки.

Густой хвойный лес навис над ними тёмной громадой.

– Снег здесь, видимо, не один день шёл, – сказал Дымов, выбираясь из полуметрового сугроба.

– Да уж, – отозвался Артур, слепил снежок и швырнул им в цепляющегося за борт Юращенко.

– Ай! – вскрикнул тот и упал в сугроб. Поднимаясь, уронил автомат, потом сно-ва упал сам...

– Пошли смену принимать, – сказал подошедший Сармаш. – Пока ещё хоть что-то видно. А ты здесь подожди.

Водитель запахнул бушлат и полез в кабину.

По занесённой снегом дорожке они двинулись в сторону обнесённого колючей проволокой забора, за которым темнел бревенчатый ангар с жестяной крышей.

– Ты бывал здесь? – спросил Артур Сармаша.
– Ты бы ко мне при посторонних по форме обращался, – тихо сказал прапорщик.

Артур кивнул.

– Бывал, – ответил Сармаш.

– Что это, вообще, такое – пост номер семнадцать.

– Вот. Этот ангар.

Они дошли до забора и свернули на идущую вдоль него тропинку, еле различимую под снегом.

– Сейчас в сапоги снегу натащим, потом ходи в сырых портянках всю ночь, – Артур обернулся и окликнул отставшего Юращенко:

– Догоняй, воин. И ноги выше поднимай. Лечить тебя здесь будет некому.

– Как некому? А Дымов?

– Вот наглая тварь! – беззлобно возмутился Артур. И Сармашу:

– А что там, в этом ангаре?

– А ты, что же, примеряешься? – усмехнулся тот.

– Брось... Бросьте, товарищ прапорщик. Куда мне теперь примеряться. Так, любопытство мучает.

– Ну-ну. Любопытство. Что-то заморозили здесь в семьдесят седьмом году, после оперативно-стратегического учения «Запад». Может, котелки, может сухпай просроченный.

– Оружие?

– Не думаю. Наверд ли... Хотя, кто его знает. Объект этот раньше за Страхувским танковым полком числился. Потом, когда Страхув выводить начали, Свинтошувскому гарнизону передали. Теперь, вот, нам... Скоро здесь совсем ничего нашего не останется...

Он взгляделся в часы.

– Без четверти шесть. Эй, воины, а ну поторопись! Юращенко, тебе заступать через четверть часа!

– А почему это мне?!

– Отставить разговоры! Догнать строй, солдат!

– Строй, строй... Где здесь строй?! Чуть что, Юращенко... Вот, так всегда... Юращенко, Юращенко... Что там Юращенко, что здесь Юращенко...

– Юращенко, заткнись, а! – крикнул ему Артур.

– А повежливее нельзя? – спросил Юращенко исполненным трагизма голосом.

– Можно, – сказал идущий с ним рядом Дымов. – Будь любезен, заткнись, пожалуйста.

Юращенко вздохнул.

– Опаздываем, – старший прапорщик Балаба вышел им навстречу из огромной общевоинской палатки.

– Да, – махнул рукой Сармаш, – тут, брат, такая неразбериха... Полбатальона на вторые сутки заступило. Весь вчерашний караул с тяжёлым отравлением в госпитале...

– Нууу!

– Вот тебе и ну.

– И как же это?

– Да кто его знает. Алвртсяна вчера в гарнизон забрали на дознание. Пока не вернулся.

– Да что ты говоришь!

– Да, брат, такие дела.

– Ты-то хоть поспал?

– Да, я-то поспал, бог миловал.

– А воины твои? Сагамонов, ты, что-ль?

– Так точно, Ваше высокоблагородие!

– Остриишь?!

– Так точно, Ваше высокоблагородие!

– А это кто? Никак Юращенко! Мать честная, ну и народец тебе достался! Ты, Вась, с ними построже...

– Ладно, – оборвал его Сармаш. – Пошли в палатку, вещи положим – и на посты. Твоего менять надо.

– Не суетись, – ухмыльнулся Балаба. – У меня там Бажолбаев на снег не нарадуется, видел его, говорит, три раза в жизни.

– Счастливчик, – сказал Сармаш. – И всё же.

Они откинули полог и вошли в палатку. В помещении с выцветшими брезентовыми стенами горела единственная лампочка-стоваттка. Под ней, на выдавшем виды спальном мешке, лежал одетый в форму и бушлат рядовой Аверченко и читал книгу. Сержант Гурзум-оглы сидел за деревянным столом и грел руки о стоящую рядом буржуйку с уходящим в брезентовую крышу дымоходом.

– Аверченко, ёкарный бабай! Ну не ложись ты в проходе, сколько раз говорить! Читающий солдат хрустнул печеньем.

– Аверченко, оглох?!

– Товарищ прапорщик, дайте страничку дочитать, потом хоть заоритесь...

– Встать, мле, солдат!

Аверченко нехотя поднялся.

– И приведи себя в порядок! Нет, Вась, всё же расслабляюще действуют на личный состав такие каникулы...

– Ладно, пошли на посты, – сказал Сармаш. – Сагамонов, Дымов – располагайтесь. Юращенко – со мной.

– И вон тот спальник у стеночки подсушите, – хохотнул, выходя, прапорщик Балаба. – У Бажолбаева, кажись, брачный период.

– Ну, как служба, братья по оружию, – спросил Артур, когда начальство вышло.

– Служба как дружба, – отозвался рядовой Аверченко. – Кому впрок, кому в бок.

– Да какая здесь служба, – Гурзум-оглы надкусил сахар. – Так, ходим-бродим. Был бы прапор путём – побухали бы. А с Балабоном каши не сваришь. Сам ведь мучается, огызни сейдым, по хлебалу вижу. Я заикнулся было, в смысле в деревню за вином – куда там! У меня, вон, в мешуге три четверти «Выборовой», так назад и везу. Позорище...!

– Ну так открывай, – перебил его Аверченко. – Чего мучиться. Ты как певец больших и драматических... Божба божбой, а как откупорить – Страхув – Свинтошув.

– Пусталыга ты, Аверченко, – Гурзум-оглы разгрыз ещё кусочек сахара. – Я хоть в Баку и в русской школе учился, а твою текстуру без словаря не хаваю...

– Хавай, не хавай, – проворчал Аверченко, не отрываясь от книги. – Где бутылка-то? Воот, трепостат ты и есть, хоть и с Баку... А может, не с Баку? А то жидишься, как с Житомира...

– Вы прямо как пожилые супруги, – сказал Артур. – Серёг, достань бутылку. Там, в моём рюкзаке.

– Во, – вскочил Аверченко, – другой базар! В каком рюкзаке?

Он схватил первый попавшийся. Принялся развязывать тесёмки.

– А ну, положи, – тихо сказал Артур, и зрачки его сузились в щёлочки.

– Ты чего, Артура, не доверяешь? – Аверченко развязал узел и просунул руку внутрь.

Артур спустил с плеча автомат. Рывком передёрнул затвор. Аверченко застыл на месте.

– Руку высунь. Так. Теперь тесёмочки завяжи. Серёг, возьми у него мешок. А теперь достань из вон того мешка бутылку. Я сказал – Серёга!

– Ты чего – псих?! – спросил Аверченко, садясь на пол.

– Я-то? А, ну да. Псих. Ещё какой, – Артур вытащил магазин и передёрнул затвор.

Патрон выскользнул из щели казённого и покатился по брезентовому полу палатки.

– Серёг, поторопись с водкой, – сказал Артур. – Сейчас начальство вернётся.

– Ну-ка, ну-ка, – Гурзум-оглы поднялся из-за стола, подошёл к Артуру и, нагнувшись, поднял патрон. Спросил:

– Ты чего это, Сагамонов, баптист?

– Спрячь-ка водку, Серёж, – сказал Артур, беря патрон из рук сержанта.

– Эй, эй, чего ты! – возмутился было Аверченко. – Тоже, что ли, из Житомира?

– Заткнись, – отрезал Артур. И Дымову:

– Пошли выйдем.

У входа в палатку он принялся вытаскивать из магазина патроны.

– Что случилось? – спросил откинувший полог Дымов.

– Полог опусти! – донеслось из палатки. – Не Анапа, бля!

Дымов прикрыл вход в палатку.

– У меня патроны холостые, – сказал Артур.

– Да что ты говоришь?!

– Представь себе...

Артур ссыпал патроны в карман и достал из подсумка ещё один магазин. Выдавил патрон. Протянул Дымову.

– Дела, – сказал тот, подкинув его на ладони.

Артур выдавил ещё один. Поднёс ко рту. Надавил на кончик зубами. Потом швырнул его в снег, сел на корточки и обхватил голову руками.

Дымов поднял патрон, вынул из руки Артура магазин и вставил его обратно. Спросил:

– Как это могло произойти?

– Попов, – сказал Артур, поднимаясь.

Невдалеке слышались голоса.

– Пошли внутрь, – Артур взял у Дымова магазин и примкнул к автомату. – Потом разберёмся...

– Ну, Вась, счастливо оставаться, – сказал прапорщик Балаба, покидая палатку. – Пост сдал.

– Пост принял, – ответил Сармаш, склонившись над протоколом передачи. – Сагамонов, проверь-ка здесь точку.

Артур взял со стола трубку и обвёл взглядом стены в поисках гнезда.

– Тама, – сказал продрогший Бажолбаев, указывая трясущимся пальцем в точку над столом.

Артур всунул штекер в гнездо. Поднёс трубку к уху. Сказал:

– Есть контакт.

И Сармаш подписал протокол. Балаба взял его и покинул палатку. Вслед за ним вышел Аверченко.

– Пошли, туземец, – сказал Гурзум-оглы Бажолбаеву, взяв в руку прислонённый к столу автомат.

Бажолбаев поднялся, еле разогнув ноги. Обвёл палатку диким взглядом и, вздохнув тяжело, поплёлся к выходу. Гурзум-оглы двинулся за ним.

– Магомет, – окликнул его Артур.

Тот обернулся, уже откидывая полог.

Артур ткнул пальцем в магазин, потом поднёс его к губам. Гурзум-оглы кивнул и вышел.

– Пошли перекурим, – сказал Сармаш. – Заодно и осмотримся.

Они взяли оружие и вышли наружу, прямо в густые морозные сумерки.

– Снег перестал, – сказал Дымов.

– Да уж пора бы, – отозвался Сармаш. – Посты по пояс завалены...

Артур достал сигареты. Закурил. Протянул пачку прапорщику.

– Пойдём, я вам удобства продемонстрирую, – сказал тот, закуривая.

По еле различимой тропинке они вошли в лес, необычайно светлый, несмотря на непрестанно сгущающиеся вокруг сумерки. Было тихо, только хрустел снег под ногами да лежалая ветка трещала под чьей-нибудь неосторожной лапой. Нарушать такую благодать не хотелось, и они шли молча. Шагов через сотню лес оборвался, заснеженная земля круто ушла вниз, и там, внизу, у противоположного края расстилающейся у их ног долины замигали, заискрились крошечные огоньки.

– Деревня, – сказал Сармаш и стукнул кулаком в стену крошечного фанерного сооружения, примостившегося на краю обрыва.

– Это, что ли, удобства? – спросил Артур.

Дымов приоткрыл скрипучую деревянную дверь.

– Они самые, – ответил Сармаш.

– А поближе не могли поставить? – поморщился Артур.

– Пытались. Летом такая вонь стояла – и караула не надо: ни враг, ни друг не подойдёт. Солдатский рацион, сам знаешь.

– Да уж, – вздохнул Дымов, закрывая дверь.

– Вон, видите, – Сармаш вытянул руку. – Там, перед домами, белая полоска.

– Вроде вижу, – приглядевшись, сказал Артур. – И чего?

– Транспарант. Со Дня Революции висит. Дать бы по нему короткой очередью...

– Что на нём? Написано что-то?

– Написано.

– Вась, не томи душу! Чего написано-то?

– Чего написано? «Счастливого пути» написано.

– Ааа... А я думал – оскорбление...

– А разве это не оскорбление?! – зло спросил Сармаш.

– Да уж, – согласился Артур. – Враги.

– Ну, почему же враги? – подал голос Дымов.

– Эти-то? Точно враги. Мне Калёка рассказывал, он к ним за вином мотался, в одну хату стучал, в другую – не открывают. Он давай в стекло, вышли два хлопца с обрезам и собаку на него спустили. Ели ноги унёс.

– Может, из-за автомата?

– Он «калаш» в караулке оставил. Божится, иначе бы пса пристрелил, а потом, может, и хозяев. Хотя я лично не верю. Калёкин – трус.

– Странно, – сказал Дымов. – Любить нас, конечно, не любят, но чтоб так, с собаками...

– Тут танковый полк стоит, не забывай. Тут их землю железом терзали. Представь, твоя бы жена во двор вышла бельё развешивать, а мимо танки едут, грохот, как на войне, да ещё и рядовой Хамраев ей с башни жопу голую показывает. Как бы тебе такое понравилось?! Лично я бы хлебнул «выборовой» и из обреза бы прямо в эту жопу...

– Ладно, – махнул рукой Сармаш. – Оправляйтесь, и пошли.

– Нет уж, – сказал Артур. – Лучше я в лесок сбегаю...

В палатке они разобрали вещи и поправили спальные мешки.

– Давно мы здесь караулы мочим? – Артур прислонил автомат к стенке и достал бутылку водки из мешка.

– С августа, – ответил Сармаш.

Он нагнулся и вытащил из своего вещмешка консервную банку.

– Убери, – сказал Артур, и на столе появился завёрнутый в фольгу поросёнок.

– Это по нему сегодня зампотыл панихиду служил? – усмехнулся Сармаш, убирая сухой паёк.

– По нему, – кивнул Артур. – А также по отцу его и братьям.

Он присел на стул и развернул фольгу.

– Красота! – восхитился Сармаш.

Он воткнул штекер в гнездо и прислонил к уху телефонную трубку.

– Пост номер семнадцать, начальник караула прапорщик Сармаш. Докладываю: объект принял по списку. Печати и замки без повреждений. На посту находится рядовой Юращенко. Отдыхающая и бодрствующая смены со мной в караульном помещении...

Сармаш положил трубку на стол и отсоединил провод. Сказал:

– Оскома пьян в стельку. Жаль мужика. Был когда-то хорошим офицером...

Артур отстегнул от ремня штык-нож.

– С ума сошёл – такой тупенью, – Сармаш положил на стол свой, перочинный.

– Интересно, – сказал подошедший к столу Дымов. – Ещё ничего не решено, а мы первые полки выводим. Не подвинет ли это процесс в неблагоприятную для нас сторону?

– А что, – рот Сармаша скривился в ухмылке, – у нас есть благоприятная сторона?

Дымов задумался.

– Польша такой территорией, как сейчас, никогда раньше не обладала, – сказал Сармаш. – Несмотря на вой Валенсы о советской оккупации... Это наш единственный козырь. Хотя, если разобраться, какой уж там козырь. К нам ни линия Керзона, ни Восточная Пруссия, ни Гданьск никакого отношения не имеют. Не вспоминать же нам про Галицкую Русь... С другой стороны, если мы шум поднимем, глядишь, и бывшие хозяева встрепенутся. У «бундесов» голос на международной арене всё громче становится. О «Третьем рейхе» им, кроме жидов, никто и не вспоминает...

– Давай по маленькой, – сказал Артур, разливая водку в стаканы. – Чего нам о грустном...

– Ну, почему же о грустном? – усмехнулся Сармаш. – У нас хоть время есть котомки собрать. В отличие от других групп войск. Я тут такие письма из Чехословакии и Венгрии читал – впору удавиться.

– Да я тоже читал, – сказал Артур, поднимая стакан. – Имел удовольствие. Ну, за хороших людей...

Они чокнулись.

– Взглянуть бы на таких, – проворчал Сармаш и выпил.

– Ну-ну! – сказал Артур, потирая руки. – Не время терять веру в человечество. И разлил по второй.

– Вам легко говорить, вы через полгода – тю-тю, – Сармаш хмуро посмотрел на Артура с Дымовым. – А мне здесь хрень расхлёбывать. И жене каждый день в глаза смотреть... Жене офицера, бля...

– За наших любимых! – провозгласил Артур и поднял стакан.

– За обманутых нами любимых, – сказал Сармаш и выпил.

– Вась, – сказал слегка захмелевший Артур. – Кончай хандрить. Мне через полчаса заступать. У меня от слёз автомат заржавеет... А твоя, Серёг, любимая небось медсестра?

– Ну, почему же. Нет. Она на филологическом учится.

– Ой-ой-ой! На филологическом! Ну прям интеллектуал на интеллектуале...

– При чём тут это? Она человек хороший...

– Нууу! Это серьёзно. А я-то думал, тебе её анатомия, как хирургу, приглянулась.

Гипоталамус, там, дуги надбровные. Первичные признаки млекопитающего... Артур налил в стаканы.

– Да нет, друг мой, – сказал Дымов. – Душа мне её приглянулась, душа... А ты бы не пил больше. Тебе алкоголь не полезен, как я вижу...

– Ой-ой-ой! Мне доктор пить запрещает! Скажите, пожалуйста...

– Отставить словоблудие! – гаркнул Сармаш. – Рядовой Сагамонов, поставь стакан, встань и оправься... Через двадцать минут заступать... Счастливики! Полгода – и домой!

Артур поставил стакан на стол. Посмотрел на Сармаша и сказал:

– Какие полгода, Вась, мне Попов холостые патроны подсунул, а я за боекомплект расписался. Мне теперь с моими заслугами перед родиной даже «дизелем» не отделаться...

– Что же ты раньше молчал?! – Сармаш стукнул кулаком по столу. – Когда старый караул мог подтвердить твои слова?!

– Я не знаю, – тихо сказал Артур. – Я растерялся...

– Кто выдавал тебе боекомплект?

– Попов.

– Вы получали оружие вместе с батальоном?

– Нет. Только я и Дымов.

– А Юращенко?

– Юращенко? Юращенко позже.

– Сергей, – Сармаш повернулся к Дымову. – Отстегни магазин.

Дымов протянул руку к стоящему у стены автомату.

– Забавная история получается, – сказал Сармаш, вороша рассыпанные по столу патроны с пластиковыми пульками.

Он вытащил из кобуры пистолет и вынул из него обойму. Выщелкнул на стол аккуратненький пистолетный патрон. Сказал:

– Хоть кто-то из нас боеспособен.

Артур слабо улыбнулся. Дымов молча стоял у стола.

– Чего улыбаешься, – сказал Сармаш Артуру. – Мне боекомплект тоже Попов выдавал. Интересно, у Юращенко в магазине что за плесень... А что у тебя с Поповым, Артур?

– Так, личное... А с кем у меня ничего?! Слушай, Вась, а может, я ошибаюсь? Может быть, это случайность? Ну ладно – мне. А Дымову зачем холостые выдавать?

– Да нет, – Сармаш взял в руку один из патронов и постучал пластмассовой пулей по столу. – Тут-то как раз всё сходится. Дымов бы с тобой магазинами поменялся, и дело с концом. Ну, схлопотал бы, там, недельку губы за халатность... У Юращенко тоже холостые, голову даю на отсечение.

– Но ведь если это так – это чудовищно! – произнёс Дымов. – Это подло, в конце концов...

Артур с Сармашом посмотрели на него.

– Хорошо, что ты у меня есть, – неожиданно сказал Артур и, сделав шаг, обнял смутившегося друга.

Потом сказал Сармашу:

– Ладно, звони в часть, докладывай. Не дело это – по постам с холостыми шляться.

Сармаш посмотрел на него, сжав в ниточку губы. Взял лежащий на столе магазин Дымова и принялся вставлять в него рассыпанные вокруг патроны. Сказал:

– Проверять надо было амуницию при получении, бя. Тебе теперь возврат по двум прокурорским сделают...

– Да, ладно тебе, Вась, – улыбнулся Артур. – Чего теперь-то...

Сармаш поднялся. Взял было трубку со стола, но, подумав, положил обратно.

– Пошли-ка сначала Юращенко сменим. А то он и с боевыми на посту – нелепость. А в часть я, когда вернусь, сообщу.

Он поправил шапку и пошёл к выходу.

Артур посмотрел Дымову в лицо.

– Если бы не ты... – сказал Дымов. – Если бы не ты...

И в глазах его блеснули слёзы.

– Да ладно тебе, – Артур положил ему руку на плечо. – Не хорони меня раньше времени. Глядишь, откусаемся...

Он подхватил прислонённый к стулу автомат, повесил на плечо и сделал несколько шагов в сторону колеблющегося брезентового полога. У самого выхода обернулся и смешно наморщил нос...

ДОНЕСЕНИЕ

Начальнику генерального штаба

Северной группы войск генерал-лейтенанту

Юмашеву Н. В.

Товарищ генерал-лейтенант!

23 января 1991 года подвергся нападению внешний пост номер семнадцать, ранее относящийся к Страхувскому танковому полку, ныне же, в связи с началом широкомаштабной операции по выводу войск, приписанный до завершения таковой к авторемонтному заводу в г. Ворцлев.

Во время нападения погибли четверо военнослужащих, несущих на вышеназванном объекте караульную службу: прапорщик Сармаш, сержант Дымов, рядовые Сагамонов и Юращенко.

Излагаю обстоятельства произошедшего. 23 января 1991 года вышеназванные лица выдвинулись из расположения завода к посту номер семнадцать для смены старого караула и дальнейшего несения караульной службы. Приём-сдача поста прошла нормально, в соответствии с установленным уставом караульной службы порядком, о чём имеется свидетельство начальника старого караула старшего прапорщика Балабы и запись в караульной книге, а также показания дежурного по авторемонтному заводу майора Оскомы, принявшего соответствующее сообщение от прапорщика Сармаша по телефонной связи в девятнадцать пятьдесят пять.

Так как по истечении последующих двух часов прапорщик Сармаш на связь не вышел, майор Оскома поднял по тревоге отделение кадрового ремонтно-восстановительного батальона, которое тотчас отбыло по направлению семнадцатого поста.

Трупы прапорщика Сармаша и рядовых Сагамонова и Юращенко были найдены непосредственно на посту, неподалёку от охраняемого объекта. Прапорщик Сармаш убит

выстрелом в голову, рядовой Сагамонов скончался от многочисленных огнестрельных ранений в области живота и потери крови. Смерть рядового Юращенко, также получившего несколько огнестрельных ран, наступила в следствие разлитого гнояного перитонита. На этот счёт имеется свидетельство патологоанатома военного госпиталя гарнизона Свентошув капитана Терентьева.

Так же, в ходе обследования места происшествия следователями военной прокуратуры старшим лейтенантом Ебугиным и капитаном Срятем было установлено следующее. Сержант Дымов, по всей вероятности, подвергшийся нападению в караульном помещении и получивший тяжёлое огнестрельное ранение грудной клетки и многочисленные ранения нижних конечностей, дополз до объекта, где пытался оказать первую помощь рядовым Юращенко и Сагамонову, но к моменту прибытия отделения батальона охраны сам скончался от потери крови.

Табельное оружие, в частности, пистолет ТТ прапорщика Сармаша, а также автоматы АК-74 в количестве трёх единиц пропали, возможно, были похищены нападавшими. Замки у входа в объект сломаны, печати и пломбы отсутствуют. Странным обстоятельством является то, что на объекте не было найдено ни одной гильзы или пули, выпущенной из вышеупомянутых единиц огнестрельного оружия. Это обстоятельство позволяет предположить, что сопротивления военнослужащие, несущие караульную службу на внешнем посту номер семнадцать, нападавшим не оказали.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рядовой Сагамонов Артур Александрович, тысяча девятьсот семьдесят первого года рождения, имел многочисленные дисциплинарные взыскания и за грубые нарушения устава неоднократно содержался на гауптвахте, а также имел два прокурорских предупреждения: за нанесение увечий и соучастие в хищении социалистической собственности. Лишь по недосмотру и из-за недостаточной бдительности офицерского состава войсковой части рядовой Сагамонов избежал справедливого наказания, как то лишение свободы или перевод в дисциплинарный батальон.

Следствием также установлено, что рядовой Сагамонов параллельно со службой на заводе занимался деятельностью криминального характера, как то продажа по нелегальным каналам предметов солдатского довольствия, изготовлением и сбытом на чёрном рынке холодного оружия откровенно бандитского толка, сбытом украденных на заводе запасных частей автомобилей. Кроме того, он покровительствовал сержанту Дымову, человеку, как выяснилось, тяжело психически больному, возомнившему себя врачом и проводившему на территории части чудовищные медицинские эксперименты на своих сослуживцах.

Вышеупомянутое даёт возможность предположить, что рядовой Сагамонов вошёл в преступный сговор с неизвестными лицами и самолично организовал нападение на пост номер семнадцать с целью поживиться хранящимся на объекте имуществом.

Рядовой Сагамонов не учёл одного: ангар, находящийся на территории объекта, использовался во время командных учений «Запад77» как резервное помещение Страхувского танкового полка для хранения обмундирования союзнических армий и с 1978 года пустует. Следствию представляется очевидным, что сообщники, привлечённые рядовым Сагамоновым для нападения на пост и разочарованные отсутствием добычи, казнили его и его друга Дымова в порыве злобы.

Роль в происшествии начальника караула прапорщика Сармаша и караульного рядового Юращенко выясняется.

Заканчивая, хотел бы подчеркнуть, что значительная доля ответственности за произошедшее ложится на командный состав войсковой части ПЯ 3450, допустившее своим

попустительством и халатным отношением прорастание, так сказать, гнилых семян на войсковой почве.

*Следователь по особо важным делам при военной прокуратуре
Северной группы войск, майор Звягинцев.*

- Серёж...
- Тссс... Не говори. Тебе нельзя. Ноги согни. Вот так.
- Серёж... Мне надо... Это важно... Ххххх...
- Да помолчи ты, глупый...
- Серёж, помнишь... Помнишь, ты рассказывал... Ну, морг, там, и всё такое... Мммм!.. Ну, что счастье было, в ушах шумело... Я тебя тогда ещё психом назвал... Уууууё...!
- Помню. Помню, Артур. Ты не разговаривай. Нельзя тебе сейчас.
- Я ведь тоже знаю... Знаю... У меня на шкафу банка с лялиусами стояла... Хххххх!.. Рыбки такие... Красивые... Самец гнездо из пузырьков воздуха построил, самку... Самку туда заманил, обнял, обжал своим телом... Бляяааа...! Не могуууу большееее!
- Артур, замолчи! Ты силы теряешь...
- Представляешь, обнял... А ещё говорят – рыба любовь... Ммммаааа...! А я лежал на шкафу, и у меня в ушах шумело... И счастье, Серёг! Если бы ты только знал, какое это было счастье!..

Stuttgart, 3.08.2007

ТРЕТЬЯ ХОДКА

credentials

Жил человек, его звали так-то и так-то,
сын такого-то – впрочем, он явно и сам не промах,
во чужом пиру, не имея довольно такта,
бушевал, насмешничал – в царских, порой, хоромах.

Он умел на меч насадить за косые взгляды,
надломить копье, уплывая от пьяной погони,
если надо – вдоль леса увлечь боевые отряды,
и по морю прокладывать путь при любой погоде.

На зеленом острове дом он поставил. Пашню
распахал, несчетно добычи свез из набегов,
подбавляя побольше крови, поменьше фальши,
он сидел у огня, говоря за вещей Олегов.

Если в браге отрава – рог прорезают руны,
грабежей и негоций след – за кормой теряться,
поднимаются солнца, ночь освещают луны,
и из уст жестоких – рокот аллитераций.

2008

Ponte sul Felizon

Осень, билирубин
тех, кто не вечнозелён.
Пятна вольных рябин,
клен залетный – так клен.

Две державы на спор,
боевой дирижабль,
рельсы, канат, топор,
трое убитых. Жаль.

В гору входит туннель,
насквозь пройдет, до дна.
Нижней рубахи фланель –
кровь уже не видна.

Мост ложится на скат.
Не пролежит века.
Так спускаются в ад –
но без проводника.

Вот имперский сапер
вымерил новый пролет.
В сердце разрушенных гор
если уж лед – так лед.

2007

памяти Пушкина

I

и он бы мог как шут скользнуть
по легкому паркету
и он бы мог как шут дерзнуть
на ту или на эту
и он бы мог как шут как шут
меж небом и землею
висеть
прозрачный парашют
мембрана
тень алоэ
и он бы мог и он бы мог
как шут как шут как шут как бог
и он бы мог

II

александр сергеич явился на бал в сапогах
пусть по ошибке но всё одно не по форме
выводок дебютанток фактически распугал
им не к лицу порхать на некомильфоне

нет мельтешить с сачком на фамильных лугах
трогать соседских барышень за живое
он же пусть по ошибке на бал в сапогах
с бала взбешен но в карете но без конвоя

гнать бы ему коня в бессарабскую степь
легкий ковыль сливая в вольные волны
топчется меж четырех золоченых стен
где заводят пиры затевают войны

гнать бы ему кибитку в яйцкий простор
остужая бураном кипучий норов
где разносит оплоты емелька вор
где собирает виселицы суворов

верно придворный миньон опасная роль
и культура отделена от власти недавним декретом
но без присмотра всякая шваль и голь
и себя и ближнего величает поэтом

вольному воля сказал старик гераклит
буйному бойня добавил циник-историк
глянь кто-то в море давно по колено стоит
что за рыбку он ловит может не стоит

III

Редееет облаков
летучая гряда,
таинственная тьма
приходит из-за моря.
Когда-то ты уйдешь,
когда-нибудь, когда,
когда-то ты уснешь,
ни с кем живым не вздоря.

Редееет облаков,
и памяти, и лет,
и что там ни гряда –
редееет и редееет.
И от земли тепло,
и из-за моря свет,
и наплывает тьма,
и вот уже владеет.

Но остается день –
неведомый пока –
целительный, связной –
благодаря природе,
когда по-над тобой
редееют облака,
и небо в вышину,
еще светясь, уходит.

2008

* * *

Мальчишка, знающий связь слов,
сложил три строчки – и был таков.
Зачем ты, мальчишка, сказал, кому –
«и зло наскучило ему»?
Мальчишка, что бы судьба ни плела,
не видно скучающего зла.
Куда ж ты, куда ты, стой, объясни –
и только потом усни.

2008

астро

кто над нами вверх ногами
расправляет оригами
и изнанку заполняет
драгоценными слогами

кто развесил там покров
неохватных катастроф
дыры темновых материй
поглощение дум и слов

под надзором гесперид
наверху звезда горит
и покуда не исчезла
со звездой говорит

2008

бересклет

Геле Гриневой

Занимается дымчатый серый рассвет.
Черно-алый глазок отворил бересклет:
почтальон с отвращением крутит пакет –
ищет смазанный адрес,
и дорога бежит, упираясь в распад, –
на краю еженощных своих эскапад
раскрываешь, как главную весть, наугад
ботанический атлас.

Так случается – сонную рошу с утра
разъерошат небрежным касаньем ветра,
и тропа по ущелью на камень щедр
или перышко мяты. –
Тонкой веной взбегают цикадная трель,
полутенью на отмель выходит форель,
и пчела выбирает незримую цель,
покидая пенаты.

Ей еще позудеть, собирая пергу,
нализаться, остаться надолго в долгу,
зарываясь слезой в лепестковом снегу,
жалом вздрагивать жадно, –
подражая неслышимой музыке сфер,
нагудеть на пчелиный басовый манер
мелодраму, комедию, или пример
благородного жанра.

Отделившись, похоже, от всех пуповин,
ты из тех, кто с ребром, предпочел бы один

не пиры сопряжения двух половин,
а слепые объятья,
но давно миновав середину пути,
понимаешь, что время платить во плоти –
признавайся, ужели не мог ты найти
поскромнее занятия.

Мы пришли любопытство свое утолить –
не о чуде молить, и не свечи палить,
и не кутаться в белый с лазурью талит –
это все наносное...
Затевая пространство, и голос, и слог,
и семь пар недобитых ведя на порог,
почему же в начале не мог ты, мой бог,
выразаться яснее?

Там на склоне багровый горит бересклет, –
может, это и есть твой лукавый ответ:
растолкуй откровение или запрет –
все сокроется в дымке.
Опозданье, неведение или вина, –
но куда эта длительность обращена,
для кого та пылающая купина
остаётся на снимке?

2006

хлопоты

по заветной делянке
сновали танки
то тут то там
рассовывая по углам
величье страны родной
хмельной мирной заводной

2008

* * *

Извините, но эта страна
опасна при артобстреле.
Извините, но эта стена –
не стена. На самом-то деле
здесь вывешиваются списки
лишенных прописки
на этом проклятом свете,
но главные – пока в секрете.

2008

экстерном

Занимайся настырно
и зубри торопливо:
«надо править бесстыдно»,
и «проливы, проливы».

2008

о погоде

Стояла чудная погода,
люди собирались на обед,
а враг какого-то народа
бубнил свой просвещенный бред.

Вещал, глаза полужакрыв:
мол, подберемся, потеснимся,
в одну семью соединимся
когда-то. Распри позабыв.

2008

ретролингвистика

Если идти за корнями «люблю», «убью»,
за бытованием, чередованием звуков,
можно ретроспективно застать в раю
шорохи выноса к бою щитов и луков,

или – что у них было – рубил, дубин,
шкур в колтунах, не тертых еще квасцами,
слово затылком помнит: убил, любил –
словно волчица сцеженными сосцами.

Слово – суставчатый остов, оно – обезьяний ген,
перебирай – по-дружски – стертые чётки:
что случалось, сочилось, кого уводили в плен,
сorrowные гати, бегств от голода метки.

Множащейся дрозодилы от века белы глаза,
слово устало, сникло, подвяли звуки,
стало можно – кажется, было тогда нельзя,
луки, копыя, серпы, тамбурины, луки...

Сводится всё к тому, что оно идет
в сторону моря, туда, где фонемы немы.
Вёсел ряды, на закат нажимает флот,
брызги звуков слизнешь – припомнишь: триремы.

Перетекает язык в язык, словарь в словарь,
розы – в розы, язвы, понятно, в язвы.
Что повторяют, токуя, тетерева,
что на бесшумной ноте промолвят язи?

Рей, виноградная кисть, как герольдов флажок,
вызов труби, рожка безумная глотка.
Рваная рана. Факел поднес, прижег.
Это за словом, кажется, третья ходка.

2008

ИЗ ЦИКЛА «МУЖИК ФЁДОР»¹

Новеллы

Как поссорились мужик Федор и Патрикей Болотников

Милые бранятся – только тешатся.

Постараюсь быть точным. Федор сидел за столом и слушал передачу радиостанции «Юность». Вечерняя зорька светила прямо в окно, когда в избу дробовым зарядом влетел кот Хома. Шерсть его стояла дыбом. Не глядя на хозяина, Хома метнулся на печь, залег и замер.

Кота своего Федор не видел вторую неделю и уже начал скучать. Конечно, он подозревал, что рыжий прохвост проводит время у кошки соседа Патрикея Болотникова, однако проявлял снисходительность, сочувствуя в глубине души любым романтическим порывам. Порою мужику казалось, что с ним самим – в этом плане – еще может приключиться нечто волнующее; но Дуся, заметив лукавое, мечтательное выражение на физиономии мужа, всегда вовремя ухитрялась найти ему какую-нибудь работу по хозяйству...

По радио передавали песню «Увезу тебя я в тундру». Разнежась, Федор решил спокойно дослушать ее чарующую мелодию, а уж потом потолковать по душам с Хомой и выяснить, почему кот прячется на печи и дрожит мелким бесом.

Внезапно за порогом раздался яростный топот, в сенях – грохот ведра... И в распахнутых дверях появилась разгоряченная Акулина, жена Патрикея. Она втащила за руку своего семнадцатилетнего сына Алешку.

– Иди, иди сюды, Леш... Неча стесняться! Они нам за все заплотют!

Рубаха на парне была разорвана. Бугаиная шея и могучие руки – в кровавых царапинах.

– Кто это его?! – Федор вскочил с лавки. – Неужто опять к девкам приставал?

Парень стоял потупившись, кривя губы, и сплевывал на пол.

– Все котяра твой, Хома! – застонала Акулина... – Чтоб он от лишая окочурился, паразит, гнида!

– Мя-а-а-у! – злобно донеслось с печки.

– Здеся он! Попался! – не скрывая мстительной радости, завопил Алешка.

– Но-но, вы не очень-то! – вмешалась Дуся. – Толком объясните.

– Неча тут объясняться, – угрюмо угрозил парень, – в первую голову Хоме все кишки повыпускаю.

– Не шуми, пацан, – строго одернул его мужик. – А то, ишь, нос задрал, грамотный! Поди вон умойся лучше. Кровища твоя дурная так и хлещет!

¹ Новеллы из цикла «Мужик Федор» переносят читателя в российское так называемое Нечерноземье 70-х годов теперь уже прошлого века, в село Опухлики. Повествование ведется от лица друга мужика Федора – интеллигента, москвича, краеведа Еврипида Бурдына, которого Федор по-свойски и для простоты именует Ерепеем. (Прим. автора).

На глазах у Лешки выступили слезы, он взвыл и бросился к рукомойнику.

– Довели мальчонку! – перешла было на личности Акулина.

Но Федор остановил ее:

– Не шебурши, Акулька. Говори, чем Хома провинился: не такой у меня кот, чтоб ни с того ни с сего на людей бросаться. Он даже мышей не ловит.

– То-то, что не ловит... А колбасу жрет, сволочь! Какой кусище я к потолку подвесила! Кра-а-ковская... Патрикей из столицы привез. Есть бы да есть! А он, черт рыжий... С пола ведь, с пола сиганул! И как допрыгнул только?

– Неужто весь круг уволок? Ай да Хома! – мужик Федор закашлялся.

– А я про что говорю? Уволок! И сожрал на местах... – Акулина всхлипнула. – Прихожу в дом, а он лежит – отдувается, ну чистый пузырь! И Муська сыта... Одна веревочка слюнявая осталась.

– Может, это Муська твоя колбасу слязмила, а Хома только присутствовал?

– Да куда ж ей, брюхатой!

– А может, брюхо-то у ней от колбасы раздулось?

– Ты че, Федор, совсем за дуру меня держишь? Все Хома твой, разбойник!..

– Ладно, согласен, – сказал мужик. – Дальше-то что?

– Как это че? Стала я думать, какую бы казнь ему учинить. Тут Лешка с работы приходит – тоже выражаться начал... Говорит, дело непростое: на речку далеко ходить. Ну взял он его в мешок, я веревку прихватила. Пошли на огород... Давил его Лешка, давил – а он, бестия, вишь, вырвался... Паренька в ключья – и побег.

Федор нахмурился:

– И чего ж ты теперь, Акулина, желаешь?

– В суд подам! Откупись, Федор, – лучше будет. Ты ж наемни зарплату получил... Наверняка еще не все пропил. Двадцать рублей давай!

– Та-а-ак! – Дуся подбоченилась, правый глаз ее почернел, как ночь. – Непьющего мужика оскорблять?! Денег требовать! Слышал, муж: судами нам угрожают! Чхала я на их суды. По какому праву они чужих котов казнить будут?!

– Мя-а-у! – подтвердил с печки Хома.

– Он колбасу сожрал! – рявкнул Алешка, вытираясь полотенцем.

– Молчи, сосунок! И вы, бабы, – тоже, – веско произнес Федор. – Щас я сам суд произведу... Ну, Леха, отвечай, как же ты давил Хомку?

– Веревку на шею накинул поперек мешка, ну и тягал в разные стороны.

– А ты, Акулина, что делала?

– Ясно – че... Рядом стояла. Слышу, он хрипеть перестал, – я и в дом пошла.

– А ты, Алексей?

– Сказала ж мать. Как он трепыхаться кончил, гад живучий, я петлю отпустил. Тут он и рванул из мешка. Зенки выкатил – и на меня, словно с того света... Я чуть не помер со страху!

– А скажи-ка мне, парень, – лицо мужика Федора стало медленно наливаться кровью, – как же решился ты на такое дело? Тебя этому в школе учили? Этому?!

– Мне мать пятерку дала.

– Все-таки сын родной! – загордилась Акулина. – Патрикей в райцентре... А если кого со стороны позвать, никто меньше двух бутылок нынче не возьмет: жулики вы все, мужики, пьяницы...

– Фашиста, палача выкормила ты, Акулька! – закричала Дуся. – Это надо ж – за пять рублей живое существо мучить! И сама ты хороша стерва! Обрадовались, схватили кота беззащитного, а он небось и бежать-то не мог после колбасы!

– Мя-а-а-ау! – жалобно пискнул виновник скандала.

Болотниковы явно были огорошены таким поворотом.

– Нет, мать, – мужика Федора прорвало, – они хуже фашистов! Они эти... Как их?.. Дебилы они! Вон отседова! Я до Верховного Совета дойду!

– Ну, Федор, погоди! – Акулина помахала своим сухощавым кулаком. – Вернется Патрикей, он тебе покажет Верховный Совет!

Она хлопнула дверь. Алешка сплюнул в Дусино полотенце и последовал за матерью.

В два часа ночи Федор с женой проснулись от стука в дверь. Заспанный мужик, отворив, не сразу узнал соседа: Патрикей был в галстукее...

– Я, Федор, с тобою ругаться не намерен, – сказал он, четко выговаривая слова. – Прими письменный ультиматум. Срок на обдумывание – двадцать четыре часа.

Болотников повернулся и ушел, выпрямив спину.

Федор развернул скатанный трубочкой тетрадный листок. Претензии соседа были изложены в шести пунктах:

1. Выдать на расправу Хому (в мешке);
2. Оплатить колбасу (3 р. 40 коп.), купейные билеты – до Москвы и обратно (16 р. 00 коп.), суточные: день отъезда плюс день приезда (5 р. 20 коп.);
3. Оплатить порванную рубаху (12 р. 00 коп.);
4. Оплатить кровавые раны (100 граммов крови по таксе донорского пункта – 10 р. 00 коп.);
5. Возместить словесные оскорбления в денежной форме:
за «стерву» – 4 р. 62 коп.
за «палача» – 5 р. 25 коп.
за «фашистов» – 8 р. 12 коп.
за «дебилов» – 9 р. 12 коп.²

Всего принести в конверте 73 рубля 71 копейку (и это еще по-божески!);

6. Принести извинения в письменной форме. А именно: покаяться.

Затем следовало предупреждение: «В случае невыполнения данного ультиматума на охоту лучше не ходи: спрошу по всей строгости советских законов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОХОТИНСПЕКТОР П.Е. БОЛОТНИКОВ»

Утром Федор приколол «ультиматум» кнопкой на виду в отхожем месте (там я и познакомился с этим документом: висел он не менее двух месяцев, пока не был использован)...

По истечении срока ультиматума, тоже в два часа ночи, мой друг загрохотал сапогом в дверь Болотниковых и передал Патрикею, который ждал и не ложился спать, письменный ответ по всем пунктам. Дома у мужика на всякий случай осталась копия:

«1. Друзей не выдаю. Хому не видать вам, как своих ушей. За то, что шкуру ко-ту веревкой попортили (а шкурка денег стоит), взять бы с вас десятку, как минимум! А уж попорченную психику Хомки никакими деньгами не возместить.

2. 3 р. 40 коп. платить не стану. Акулина пускай в другой раз колбасы на замок запирает. А и цены знаем – не за печкой на свет родились: чтобы круг колбасы краковской на весь килограмм потянул – это уж навряд ли... Нечего мне мозгу вкручивать! 16 р. 00 коп. тоже платить не стану. Бреешь, Патрикей, про купе: в общем вагоне ездешь, как все люди... Во-вторых, еще небось кругов десять этой колбасы в леднике лежит; да и не за одной колбасой шлялся: масло покупал, Дуся говорит, банку селедки, заварку к чаю, конфетки... А чаю с конфетами мой Хома не пьет. Так что о суточных не заикайся! Любой суд тебе всю катушку накрутит за лживость, шантаж и вымогательство...

² Полагаю, Патрикей имел в виду только что установленные новые цены на вино-водочные изделия (и тем самым намекал на путь к примирению), хотя, возможно, он взял цифры и «от фонаря»...

3. Рубаху заштопаете – невелики кулики! Да и не покупали-то ее: Акулина шила... А матерьяльчик она же на ведро картошки у цыгана выменяла.

4. Царапины Лешкины заживут, как на собаке, – без йода. К тому ж кровопускание для здоровья ему полезно.

5. Расценок таких за слова, в справедливом гневе сказанные, не знаю. И догадываться не хочу. Потом, свидетелей у вас нет.

Стало быть, денег не дам.

6. Сами покайтесь – перед совестью своею. Вам до смерти грехов не замолить. Передо мною можете не виниться. Коту под хвост ваши извинения, хотя Лешка нам в полотенце плюнул...

Законы советские, Патрикей, не хуже твоего знаю. А ты слаб в коленках, чтоб меня в лесу поймать.

Мать-перемать.

Ф.Ф. ГАКОВ»

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Засвидетельствовать Алешку в медпункте Акулина не догадалась, и пока раздумывала, стоит ли судебная овчинка выделки (поскольку была убеждена: не подмажешь – не поедет), царапины действительно без йода зажили так, что и следов не осталось. Рубаху, как и предсказывал Федор, она по-хозяйски подштопала, уничтожив тем самым еще одно вещественное доказательство.

Мой друг тоже не слишком спешил привести в исполнение свою угрозу – прийти до Верховного Совета.

Однако атмосфера сгущалась. Напрасно кружила Муська вокруг да около Федоровой пятистенки, ласково помяукивая. Хому для его же блага за порог не выпускали. Вечерами мужик выгуливал kota на короткой веревке под ехидными взглядами Алешки, который неизменно отирался поблизости с колом в руках.

Федор врезал пятирублевый замок и, выходя из дома по любой надобности, запирает теперь входную дверь на ключ. Дуся и Акулина, встречаясь на улице, мрачно молчали. А на ферме по рабочим вопросам общались через посредницу – девяностолетнюю уборщицу Акимовну. Бодрая старуха, приставив к уху ладонь, металась между ними – исполнительно, но, к сожалению, не всегда точно передавая информацию. Разговор приобретал примерно такое свойство:

ДУСЯ: – Эй, Акимовна!

АКИМОВНА: – Ась?

ДУСЯ (*показывая взглядом на Акулину*): – Скажи этой, чтоб не стояла руки в боки, пусть бидон вынести поможет.

АКИМОВНА (*досеменив до Акулины*): – Акуль, Дуся ховорит: бери нохи в рухи, а то бык Хвидон занеможет!

АКУЛИНА: – Скажи этой, что Гвидон здоров и пасется. Не наша забота! А коли ей больше всех нужно, пусть сама к ветеринару бежит.

АКИМОВНА (*досеменив до Евдокии*): Дусь, Акуля ховорит, что сама недужна – дрожит чегой-то, как в пещне поется...

ДУСЯ (*поднимая бидон сама*): Скажи этой, пусть идет к чертовой матери!

Разумеется, долго так продолжаться не могло: надои резко ухудшились. Но поведение самого Болотникова уже не укладывалось ни в какие рамки. Я получил от своего друга тревожное послание. Федор писал:

«Ерепей, голубчик!

Душа кровью обливается за Патрикея. Сызмальства мы с ним первые корешки. Не один пуд соли слопали! Пацанами вместе немцев партизанили. По три года Родине в одном пехотном взводе отдали. Вместе гуляли – дурью мучились. Сколько вечеров жизнь на пару обсуживали! А вот нынче глядеть на него больно: поддался

на Акулькину провокацию. И в кого превратился? В тень загробную. Ходит худой, зеленый – ночей не спит, ест всухомятину... Каждый божий вечер да все выходные у забора стоишь со своим инспекторским удостоверением – меня караулит. Куда я – туда и он. Пойду на речку жерлицы щучьи снимать, а Патрикей уж тут как тут: молчит, сзади идет. На бережку сядет и в затылок смотрит. Все норовит застукать на недозволенном. Ташу я, значит, намердн из омутка щучищу... Не выдержал Патрикей: скачет рядышком, по коленкам себя хлопает. «Круче шнурок держи! – орет. – Сорвется, Федька, – так ее растак!». А чуть выволок я на берег крокодилицу эту – опомнился: подходит важно, весы с крючком из кармана достает... «Ну-ка, – говорит, – щас на вес прикинем: по закону больше пяти кило за раз не положено!». А щука моя на восемь с полтиной потянула – такая, понимаешь, хорошая! «Все, – говорит Патрикей, – акт на тебя, Федор Федорыч, составлять буду!». «Нельзя ли, – говорю, – Патрикей Егорыч, без акта? Ты ж, хрен собачий, не рыбнадзор! Давай полюбовно: три кило тебе от щуки отрежу – хоть с хвоста, хоть с головы...». Подумал Патрикей, помялся: «Нет, не купишь, Федька, общественного инспектора взяткой. Нельзя без акта!» Совсем рехнулся мужик – пользы своей не понимает. Такое меня зло взяло: врезал бы ему как подобает... Да он же и обрадуется – вот, мол, довел-таки Федьку... Нет, мыслью, не доставлю ему такой радости! Взял я щуку и в речку кинул: шиш ему – акт!

Разве это жизнь? Я в лес по грибы – Патрикей, как репяг, на хвосте висит. Рядом стреляют – браконьерничают, а ему хоть бы хрен: меня пасет, на шаг отойти боится. Чьи от этого интересы страдают? Государственные.

А как настоящий охотничий сезон начнется, да ты, Ерепей, в гости нагрянешь, он ведь совсем житья не даст. Если, конечно, не сляжет от переутомления... А то и помереть может!

Нет уж, надо принимать меры...»

Чистосердечный рассказ Федора несколько дней не давал мне покоя. И я взял грех на душу: сел на работе за пишущую машинку и сочинил документ под названием «Выписка из перспективного плана Всесоюзного общества охраны природы». До сих пор удивляюсь, как могла мне прийти в голову такая авантюра. Однако факт остается фактом. В данной бумаге я, Еврипид Иванович Бурдын, самочинно указал, что в ближайшую пятилетку планируется внести в КРАСНУЮ КНИГУ СССР следующую живность: дрозда-рябинника, мышь полевку, сверчка запеченого, а также кота-производителя ярко-рыжей среднерусской породы – Хому (владелец Ф.Ф. Гаков, село Опухлики). Внизу вместо печати я наклеил для убедительности марку «Красного креста», которую недавно вручила мне за 30 копеек наша ЖЭКовская общественница, обходившая квартиры.

С этим листком и с бутылкой полусладкого шампанского выехал я в Опухлики – мирить мужиков.

Патрикей с синими кругами под глазами поднялся навстречу, уважительно оглядел меня с ног до головы и усадил на табуретку. Особое впечатление произвел на него белый носовой платок, который я интуитивно держал в правой руке, как флаг парламентаря...

– Вот, Патрикей Егорович, – сказал я, – некоторые перемены в столице назрели. Через больших людей узнал и решил сразу тебя известить по-приятельски, а то – как бы неприятностей не вышло...

Патрикей встревоженно уставился на меня.

– Слыхал, что такое КРАСНАЯ КНИГА?! – спросил я как можно торжественней. И протянул хозяину отпечатанную мной бумагу.

Прочитав ее, Патрикей схватил у меня с колена белый платок, вытер мгновенно взмокший лоб и, судорожно нацепив на нос очки, принялся вглядываться в наклеенную марку.

– Вот-вот! – подтвердил я, не давая ему прийти в себя. – Наслышаны где надо о здешних делах. Соображаешь, как все обернуться может?

Голова у Патрикея Болотникова работала быстро. Ничего больше объяснять ему не потребовалось.

– Акулина! – загрохотал он на весь дом и сунул документ под нос вбежавшей жене. – Все ты, все твои фокусы! Соображаешь, чем срыв пятилетнего плана пахнет! Читай. Спасибо товарищу Бурдыну – предупредил!

– Господи, – ахнула Акулина, вглядываясь в бумагу, – да откуда ж там про Федорова кота знают!

– Там все знают, – уверенно рассудил Патрикей и пожал мне руку. – Что ж делать-то теперь, Ерепей Иваныч, как быть? Федор-то, конечно, уже в курсе?..

Я честно заверил Болотникова, что еще не ходил к Федору и пообещал посодествовать переговорам. После чего смело направился к своему другу.

Вникнув в суть моей затеи, Федор пришел в восторг. Ему даже взбрела мысль повесить на шею Хоме табличку с надписью «КАНДИДАТ В КРАСНУЮ КНИГУ». Однако о том, чтобы пойти к Патрикею, он не желал и слышать:

– Отродясь никому задницу не лизал. А эдак-то получится, что я первый попятился.

Через два часа, устав от непрерывной беготни между двумя избами, я стоял на нейтральной полосе за огородами, держа наготове шампанское.

Мужики вышли из своих дверей секунда в секунду и, не глядя друг на друга, стали равномерно сходить, образуя острый угол. Каждый нес граненый стаканчик. Торжественный момент близился.

Пробка шумно взлетела в вечернее августовское небо, шипучая пена наполнила подставленную посуду. Я произнес короткую речь:

– Ты, Патрикей Егорыч, – народ. И ты, Федор, – народ. Негоже ссориться на радость врагам. Кот между вами пробежал непростой, это ценить надо. Да такого кота озолотить мало, в ножки ему надо поклониться, что колбасой не побрезговал! В столице, если хотите знать, обычных породистых псов, которым и не светит в КРАСНУЮ КНИГУ попасть, чистым говяжьим азу каждый день кормят, во всем себе отказывая, – по два килограмма: это по пять шестьдесят выходит...

Услышав такие цифры, Федор недоверчиво покачал головой, а потрясенный Патрикей часто заморгал.

– Так вот, мужики, – мое красноречие начало иссякать, – недолго ждать осталось: скоро, может, и Патрикею Егорычу благодарность из центра придет за производство ярко-рыжей среднерусской породы – Муська-то здесь не последняя спица в колеснице! Так что давайте... будем здоровы! А кто старое помянет – тому глаз вон!

Мужики осушили стаканчики, поморщились по привычке и, вздохнув с облегчением, обнялись.

– Допьем бутылку... – предложил я.

– Это мы лучше для баб оставим, – неодобрительно цокнул языком Патрикей.

Вскоре все мы сидели за широким столом в избе Федора. Акулина и Дуся с чувством пели:

Из-ве-е-ла меня кру-у-чина,
Подко-о-лодная зме-е-я.
До-го-о-рай, гори-и, моя лучи-и-на...

– До-го-о-рю с тобой и я-а-а... – подтягивали мы с Федором.

Алешка скромно пил чай из блюдечка. А Патрикей кормил с рук принесенным из дому салом Хому, прилегшего у него в ногах. Кот не проявлял никаких признаков брезгливости либо зазнайства.

Долгожданный мир воцарился в Опухликах. Говорю об этом как очевидец. И пусть Гоголь классик, а все же, думается, для большей художественности сгустил он краски в отношении Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: не могут люди на Руси долго зло помнить.

Мужик Федор и политика

Чем похвалишься, тем и подавишься.

Чем старше, тем рассудительней становился мой друг. «Не бабское это дело – политика», – обидчиво одергивал он жену, когда пыталась она вмешиваться в его запутанные отношения с администрацией совхоза.

Если за Федором в тот момент не числилось никаких невостребованных грешков, Дуся тактично отступала, зная, что зерно сомнения все равно заронено в голову мужика. И все чаще, поразмыслив, принимал он ее советы к сведению, ибо внутреннюю политику (то есть дела сугубо семейные) следовало увязывать с политикой внешней – той, что выходила за пределы избы.

Особенно охотно рассуждал Федор о высоких сферах. Там парил он, как весенний жаворонок в небе, упиваясь открывающимся простором и собственным красноречием.

– Гляди, Федька, обломают тебе крылышки! – частенько по-дружески предупреждал Патрикей Болотников соседа, зарвавшегося в рационализаторских идеях государственного и международного масштаба.

– Я за свои слова ответчик, – не желал опускаться на землю мужик. – Может, ты, Патрикей, против моего курса выступаешь?!

Нет, Патрикей в целом одобрял курс, однако считал необязательным излагать политические соображения слишком громко: и без того слухи о Федоре Гакове давно вышли за пределы района...

– Жизнь наша есть клубок противоречий, – четко формулировал Федор. И продолжал наставлять всех желающих слушать. – Главное в моем курсе что? Советь! Прочая экономика приложится... Правду в матку режь! Трудись, дабы народ тебя добрым словом помянул, когда окочуришься. Внутреннюю политику во внешнюю впрягай! Клубок по совести разматывай... Живи – кум королю!

Увы, пришлось Федору на собственном опыте убедиться, что в клубке можно запутаться, придерживаясь даже правильного курса. Не все обстоятельства можно предвидеть заранее. Как говорится, знать бы, где упадешь, соломки бы постелил...

Федор с Дусей уже поужинали и собирались ложиться, когда в окошко тихонько, по-партизански постучали: тук-тук... и еще – с перерывом: тук-тук-тук...

Федор прислонился к стеклу и, узнав заведующего клубом Михея Ступина и своего сменщика Ивана, крикнул:

– Чего в избу не заходите?

Михей приложил палец к губам, другой рукой поманил мужика Федора из дома.

– Дело тонкое, конспиративное, Федор Федорыч, – зашептал он, – тут с парадного хода не войдешь... Надумали мы кой с кем из наших в депутаты райсовета тебя двинуть. Как смотришь?

– А то опять какого-то Упыря С. С. из Области выбирать будем! – наморщился Иван. – Чего нам этот Упырь! В глаза его не видели. Как будто Федор Гаков в Опухликах не политик!

– Больно вы молоды, мужики, чтоб выдвигать... – засомневался польщенный Федор. – Уж начальство-то вам не простит!

– Да оно и не поймет, начальство-то, откуда ветер дует. – Принялся убеждать Михей. – Глазом директор Осьмудеев не моргнет, как тебя изберем.

И Федора посвятили в хитроумный план, согласно которому девяносто процентов предварительно обработанных избирателей из Опухликов и Жирновки в день выборов опустят в ящик не официально выданные бланки с именем безвестного С.С. Упыря, а собственные листки, куда каждый от руки впишет Федора Федоровича Гакова. Тут уж, как ни верти, а победа будет обеспечена и, что самое главное, – малой кровью.

– Имей в виду, Федор Федорыч, народ на тебя рассчитывает, – важно предупредили ночные гости, ручкаясь на прощанье с моим другом.

– Первым делом строительства дороги добьюсь как депутат. – Пообещал на следующий день мужик Патрикею Болотникову. – После водопровод в селе органиую, на снабжение замахнусь, пенсион Акимовне выхлопочу... А уж после – меня вообще не остановишь!

Патрикей опасно покачал головой, но, потолковав с Михеем Ступиным, вдруг раззадорился и сам включился в предвыборную кампанию Федора.

Для избежания лишнего треп агитаторы только по ночам обходили избы наиболее сознательных людей и успешно вербовали все новых сторонников в обоих селах. Сеть ширилась. Нескольких недолюбливающихся Федора недостаточно благонадежных сельчан ни во что не посвящали. Находились и сомневающиеся, и просто робкие, которые опасались, что все это выйdet боком: потом, дескать, каждого по почерку узнают и приусадебные участки отберут... С таких брали клятву молчания и обещали: придет время – Федор выступит и скажет нечто такое, что окончательно рассеет всякий туман.

Мой друг ходил по селу деловито, чувствуя на себе внимательные взгляды со всех сторон, и без прибауток отвечал на многозначительные приветствия и поклоны.

В пятницу, за день до выборов, Михей с Иваном и Патрикеем Болотниковым сопроводили Федора к магазину, где ему надлежало произнести речь перед десятком колеблющихся и завоевать голоса, недостающие для полной гарантии.

Среди прочих у магазина отирался и хитрец Трифон Гузня. Пришел он будто бы купить леденцов и теперь покуривал с мужиками, но было совершенно ясно, что не сладости интересовали Гузню...

– Вот, граждане, наш Фёдор Фёдорыч... – сказал Иван и замялся.

Фёдор поздоровался с каждым за руку, закурил... искал глазами какое-нибудь возвышение, откуда удобнее было бы говорить, и – не нашел.

Мужики молчали, смущенно покашливали. Обстановка явно не располагала к произнесению речи, однако следовало начинать...

– Все мы тут люди свои, – удачно нашелся мой друг. – Нету чужих то есть.

Слушатели согласно закивали, – начало имело успех. Федор сделал паузу и уловил ораторским чутьем, что сейчас следует сказать нечто такое, что сразу подняло бы его политический авторитет, а уж потом – излагать курс и ковать железо, пока оно будет горячо...

– Значит... – неожиданно для самого себя выдохнул мужик. – Надо помочь развивающимся странам!

Эти слова, которые вырвались у него изо рта, на мгновение ошеломили Фёдора своей смелостью.

Патрикей Болотников выпучил глаза чуть раньше остальных:

– Это как же?

– А так, – пошел в наступление Федор, поскольку назад ходу не было, – деньгами! Подарками ценными! В Москву следовало послать – в Фонд помощи. Что, мы здесь лыком шиты да пенькой подвязаны?!

Мужики переглянулись. «Настоящий депутат! – говорили их взгляды. – Круто берет!»

Моментально под ноги Фёдору сунули ящик из-под вина, появившийся неизвестно откуда. Но Трифон Гузня, осознав, что речь идет о деньгах, нарушил торжественность минуты ехидным замечанием:

– Раз он предлагает, пускай первый и пошлёт – пример покажет, а мы подумаем...

Мой друг посмотрел на Трифона с высоты ящика:

– Само собою! Щас прямо возьму и пошлю!

Фёдор взглянул на свои замусоленные часы «Слава», сунул руку в карман ватника, зашарил в штанах и, не обнаружив денег, вспомнил, что всю получку до копейки отдал жене. «Дуська для развивающихся стран не даст... – подумал он тоскливо.

– Срам-то какой!»

– Слушай, Трифон, – неуверенно произнес мужик, – может, одолжишь мне рубликов двадцать – на неделю?

– Я куда в своем уме, – ухмыльнулся Гузня.

– Ты что же, мне, мне... не веришь?! – рассвирепел Федор. – Ну, мужики, кто Фёдору Гакову в долг двадцатки не пожалеет?

Патрикей вынул три рубля, Иван – рубль, Михай Ступин выгреб у себя пригоршню мелочи.

– Вовсе Федька и не хочет куда-то деньги посылать, – продолжал подливать масла в огонь Трифон. – Это он так, цену себе набивает... Ишь ты, двадцать рублей!

Это, образно говоря, переполнило чашу терпения моего друга. Лоб его покраснел от вдохновения.

– Да если знать хотите, я для бедных народов ничего не пожалею, штаны последние с себя сниму! И-эх, узна-а-ете, трепач Гаков или нет! Все ждите здесь...

Фёдор смотался домой за выходными бордовыми штанами Дусино пошива, надёванными всего раз пятнадцать. Встряхнул их перед магазином, повертел на вытянутых руках, дабы все могли убедиться: заплат нет. На глазах изумлённых избирателей он упаковал штаны в свежую газету, перетянул крест-накрест бечёвкой и подчеркнуто легкой походкой отправился к почтальонше – отсылать. Вся компания шла за мужиком до самой избы Меланьи. И когда Федор на крыльце велел ей с завтрашной оказией отправить «ценный подарок» по адресу «Москва, Фонд помощи развивающимся странам» – да еще заказной бандеролью, общий восторг был неописуем. Друга моего пытались повести угощать, но он не поддавался искушению – «не положено!».

Голоса были завоёваны. Гузня растерялся, и сомнение в своей правоте закралось в его душу.

Но субботним утром – спросонья – мужику Фёдору пришлось не один раз протереть глаза: бордовые штаны висели на стуле возле кровати.

Поначалу в мозгу моего друга мелькнула мысль, будто вчерашнее – только красивый сон... Ополоснув лицо колодезной водой из ведра, он бесповоротно пришел в себя и строго поинтересовался у жены:

– Мать, ты где мои штаны взяла?

– Из Африки их назад прислали, – фыркнула Дуся. – Не подошли они там никому – в развивающихся странах.

Оказалось, Меланья еще до зари сообщила ей подробности дела и отдала бандероль.

– Развода потребую! – заорал Федор. – Карьеру политическую погубила ты бабским умом своим! А Меланью судить буду – за разглашение почтовой тайны.

Дуся так посмотрела на мужа, что пыл его несколько охладился. «Может, и правда, никому бы они там не пришлись впору...» – утешил он себя за кружкой чая.

Встретив Меланью по пути в ремонтную мастерскую, Фёдор показал ей кулак. Бабёнка шарахнулась в сторону, но полсела уже всё равно знало, что бандероль не ушла по назначению.

– С получки деньгами отправлю, – оправдывался мужик направо и налево.

– Чего уж там, Фёдор, бывает... – сочувственно вздыхали односельчане. – Поди управься с бабами! Нешто мы не понимаем! Крепись до завтра... Народ поддержит!

– Крепко по авторитету Фёдора жена ударила. – Делился мыслями с Михеем Ступиным не без труда сагитированный тем же Михеем бухгалтер Назар Козодоев. – А все же умен, стервец! Этого у него не отнять... Такой, можно сказать, провал в свою пользу поворачивает! Представь, Михей, да посади он хоть один фингал Евдокии, завтра ни одна баба за Фёдора бы голосовать не стала. Большую силу нынче набрали бабёнки, распустили мы их! Да уж, соображает Фёдор, нечего возразить... Надо, наверно, его поддержать в трудный час – это потом аукнется...

– И жирновские за Гакова как один, Назар Кузьмич!

Знал ли о готовящейся акции Осьмудеев? Дошел ли слух до его заместителя Терентия Фомина и парторга Виктора Шумовкина, ответственных за проведение выборов по объединенному Опухликовско-Жирновскому избирательному участку? Тут есть над чем поломать голову. Может, знали, а может, и нет. Купаешься иной раз в пруду, плаваешь поверху в прогретой солнцем водичке, – вот и не ведаешь до поры о холодных ключах в глубине и опасных ямах... Не потому ли так удивились Фомин и Шумовкин, когда вдруг завклубом (а участок помещался именно в клубе) потребовал перенести ящик для бюллетеней от края сцены за занавес: дескать, соблюсти проформу...

– Это ещё что за новости! – взвился Фомин. – Сроду не припомню такого. Коммунизма без доверия не построим!

Но присутствовавшие инструктор райкома и представитель райсовета не возражали: не всё ли равно...

Вскоре потянулся народ. Мужики с празднично принаряженными женами, каменная лицами, поднимались по левой лесенке на клубную сцену – к столу, покрытому красным плюшем, отмечались, получали бюллетени... семейно исчезали за занавесом и, выходя, чинно спускались с другого края сцены...

Осьмудеев с инструктором райкома сидели на стульях в первом ряду зальчика и, переговариваясь вполголоса, наблюдали за действием...

– Лозунг у нас подгулял, Пал Игнатьич, – заметил Осьмудеев соседу и самокритично сощурился на широкую полосу ватмана под потолком, где кривоватыми буквами было написано «ХИМИЗАЦИЯ сельского хозяйства – ПУИВ ПРОГРЕССА!». – Художник торопился...

– Скажи, пускай поправит. А вообще ничего, незаметно... – благодушно утешил инструктор.

За дверями клуба проголосовавшие обменивались красноречивыми взглядами с Козодоевым, который стоял в сторонке и отщёлкивал голоса, поданные за Федора, на бухгалтерских счетах. Акция проходила без лишних разговоров и суеты, как было задумано.

Евдокия явилась голосовать в одиночестве. Она задержалась у доски объявлений, внимательно прочитала биографию официального кандидата Сергея Сергеевича Упыря и вошла в клуб.

– Фёдор где? – спросил ее Шумовкин. «На печке лежит – из политических соображений», – хотела ответить Дуся, но только пожала плечами:

– Пиши: болен...

За занавесом она, вздохнув, опустила в ящик Упыря. Здравый смысл не позволил ей поступить иначе.

К обеду всё было кончено. Народ проголосовал на редкость активно. И районные представители с чувством хорошо выполненного долга уже погрузили опечатанный ящик в машину, чтоб везти докладываться, когда к избирательному участку приковыляла Акимовна.

– А мы уж думали, ты померла, старая, – фыркнул Терентий Фомин.

– Низя-я было до нонче помереть, мила-ай, – призналась Акимовна. – Гошподь надоумил жа правду поштоять перед шмертью-то! Хде тута жа Хведора бумажки брошают?

– Совсем из ума выжила! – попрекнул ее Терентий. – Иди домой, старая...

Но бабка заупрямилась:

– Голошовать хочу!

И втолковать ей, что опоздала, оказалось не по силам даже красноречивому Шумовкину. Акимовна вынула из рукава душегрейки клочок бересты, на котором печным угольком было нацарапано «Фьодор», и пыталась всучить его работнику райсовета, птящемуся от нее к дверце «уазика»:

– Шлава боху, не жабыла храмоту, Хвёдора напишала в депутаты...

Выход из положения нашел инструктор райкома Павел Игнатьевич.

– Учтём твой голос, бабушка, – уважительно сказал он Акимовне и, приняв от нее бересту, спрятал в карман.

– Гошподь тебя благошловит, голубшик! – облегчённо вздохнула старуха и захромала к своей избушке.

Павел Игнатьевич покрутил ей вслед пальцем у виска. «К народу подход нужен!» – наставительно произнес он, пожал руку Осьмудееву и сел в «уазик»...

– Вопрос решён! – потирал вечером руки Михей Ступин в доме моего друга. – девяносто два процента голосов насчитал Назар... Дело-то какое мы провернули, мужики!

– Теперь надо в Москву ехать – костюм Федору покупать... и галстук... – смущённо советовал Дусе молчаливо хлопотавшей у печки Патрикей Болотников.

– Не в галстук счастье! – не унимался завклубом. Он ещё плохо соображал от радости. – Фёдор Фёдорыч нас в любом виде не подведет!

Но когда на следующий день в Опухликах появилась районная многотиражка, где в списке единогласно избранных народных депутатов значился С.С. Упырь, у Михея временно отнялся язык.

Сменщик Иван прибежал к Фёдору, размазывая по лицу пьяные слезы.

– Когда ж просчитать да напечатать за одну ночь успели? Где правда?! – бесвязно кричал он. – Арифметики там, Фёдор Фёдорыч, не знают! Чему их в школе учили?! А может, и не считали вовсе, а?!

– Ты-то сам за кого голосовал, Иуда? – тихо спросил Фёдор и вышвырнул сменщика за дверь. – Такая теперь будет моя политика! – погрозил он вслед ни в чём не повинному человеку.

Угроза эта повисла в воздухе, затерялась между домами.

– Говорила я тебе, не суйся! – спокойно сказала Дуся.

– Молчи, мать, не бабское это дело, – проворчал мой друг и погладил жену по мудрой голове.

Мужик Федор и пес Персик

И собака помнит, кто ее кормит.

Когда прежний пёс моего друга – Кузька – сдох, украв со стола только что открытую банку мясоовощных консервов, случайно завезённых в опухликовский магазин (то есть, по словам мужика, пожертвовал жизнью для спасения хозяев),

Фёдор был безутешен. Всю округу всполошил он похоронами своей дворняги – на пригорке у калитки сельского кладбища. Сосновый крест поставил, утверждая, что такой пёс – тоже душа христианская... Прибил табличку с лаконичной надписью «КУЗЬКЕ ЗА ВЕРНОСТЬ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ОПУХЛИКОВ», намереваясь в дальнейшем соорудить скромный бетонный памятник... И – остался без собаки.

Больше года пребывал мой друг в этом непривычном для себя положении. Особенно остро почувствовал он собственную ущербность, когда Патрикей Болотников приобрёл у Пеклеванного – перед тем, как бывший директор покинул село, – гончего кобеля Догоняя. Большую солидность придал красавец гончак соседскому двору, а в первый же день охоты по чернотропу взял из-под него Патрикей двух беляков... Было чему позавидовать. Теперь Фёдор не мог удовольствоваться первой подвернувшейся собачонкой: требовалось не только догнать, но и по возможности обойти Болотникова.

Казалось бы, чего проще... Через общество собаководства любого породистого щенка раздобыл бы я для друга – хоть афганскую борзую! Так нет, решил мужик собственным умом обойтись, поскольку всегда поступал он как заблагорассудится, – нередко вразрез со здравым смыслом.

И стоило судьбе наконец-то занести Фёдора в Область за запчастями для трактора, добрался он тут же до базара и купил у заезжего южного человека щечочка кавказской овчарки.

Дело обстояло так. Южный человек бойко торговал персиками, диковинными для мужика фруктами... С ним находилась – очевидно, для охраны товара – громадная, заросшая густой, бурой с подпалинами шерстью собака, которая сразу поразила воображение Фёдора. Рядом в корзине подрёмывали симпатичные пушистые месячные щенки – всех цветов радуги.

Глаза моего друга загорелись.

– Щеночков не отдаешь? – корыстно поинтересовался он. – Зачем тебе столько? Можно бы и отдать в хорошие руки...

– Пра-а-даю! – наставительно ответил южный человек. И, прищулив глаза на моего друга, просветил его по секрету, что порода чистая – без обмана... Мать – вот она – настоящая кавказская овчарка, сторож и волкодав! – Выбирай любого, да-а-рагой, не па-а-жалеешь!

Услышав слово «волкодав», мужик вспотел от волнения.

Состоялся торг. Прикинув свои финансовые возможности, Фёдор предложил три рубля. Названная сумма сразу подняла престиж Федора в глазах южного человека, он стал опасаться, что покупатель не так прост... Но за меньше червонца не уступал все равно.

Несколько раз мужик, махнув рукой, отходил от корзины со щенками... И, не выдержав искушения, возвращался. Вопрос решили четыре больших сочных персика, которые за тот же червонец мой друг получил в придачу к щенку: надо же было привезти что-то в подарок Дусе...

В корзине лежало не меньше дюжины кутят на любой вкус. Федор был так увлечён сделкой, что ему и в голову не пришло поразмыслить, не слишком ли велик приплод, – даже для такой могучей собаки, как кавказская овчарка. Со всей серьёзностью принялся он осматривать сонных щенков и остановил свой выбор на самом упитанном – насыщенного розового окраса. Сунул ему палец в пасть, заглянул и, убедившись, что небо черное (первый признак необходимой для серьёзного пса злобы), решительно сунул щенка за пазуху.

А в кабине грузовика – по дороге в Опухлики – надкусил Фёдор один персик на всякий случай... Ахнул: и здесь без обмана! И сомнения по поводу клички будущего волкодава больше не тревожили мужика. Щенок бесповоротно стал Перси-ком.

В селе первым делом зашёл Федор к Болотникову.

– Ответь-ка мне, Патрикей Егорыч, – торжественно спросил он, – а возьмёт ли твой Догоняй, скажем, волчину матерого?!

Патрикей подумал и честно покачал головой:

– Вряд ли, Федя. Такие псы уже перевелись, наверно.

– Не перевелись! – рявкнул Федор, извлекая из-за пазухи Персика. – И не переведутся отныне! – Держа щенка за шкуру, он высоко поднял его над собой. – Кавказская овчарка! Усекаешь?!

– Чудеса! – развел руками Патрикей. – Ты ему молочка, Федь, молочка козьего побольше...

С кормлением своего питомца у моего друга не было никаких проблем. Щенок оказался прожорливым на удивление: мог выхлебать целый тазик молока с овсянкой – только дай! Вскоре и по ночам он перестал скулить, так что пропала необходимость брать Персика к себе в постель под ватное одеяло.

Фёдор не мог нарадоваться: сколотил для пёсика во дворе будку на вырост – такую, что могла бы вместить и телёнка... Успешно учил Персика командам «ату» и «отрыщ»; нашёл где-то старую изорванную рукавицу на волчьем меху, вывернул наизнанку и ежедневно дразнил его, внушая ненависть к звериному запаху.

Опасно отнимать у тигрицы тигрёнка, а у женщины – её иллюзии. Примерно так гласит восточная поговорка. Но ведь Фёдор – мужик... Из этого и исходил я, когда, взглянув на Персика, назвал вещи своими именами:

– Щенок у тебя, Фёдор, пожалуй, неплохой... Но никакая это не кавказская овчарка – голову даю на отсечение.

– А что же это, по-твоему? – ехидно осведомился мой друг.

– Помесь рябчика с кобылой.

– Да ведь я его от живой матери взял, десять рублей наличными отдал! – распалился мужик. – Человек прямо с Кавказа привёз... Ни хрена ты, Ерепей, в собаках не смыслишь.

– Не знаю, что за мать ты видел, – может, и вправду овчарку... – принялся я урезонивать Федора. – Но щенка тебе точно дворового продали. Сам сообрази: кавказской овчарки щенок – две сотни стоит!

Фёдор с жалостью посмотрел на меня и постучал пальцем себе по лбу.

Тогда я невинно спросил, есть ли у щенка «паспорт», чем привел своего друга в настоящее неистовство.

– Ты никак издеваешься, Ерепей?! – кричал он. – Паспорта захотел! Да мне самому когда паспорт выдали?! И ничего, жил, как все, не жаловался! И не сомневался никто, что есть я Фёдор Фёдорыч Гаков, натуральный русский мужик! А Персика хаять не позволю! Выращу пса – поглядим, что запоёшь, когда он у меня в будку не влезет...

Увы, планам Фёдора в отношении будки не суждено было осуществиться.

Прививка против чумки, которую сделал наездом районный ветеринар, неожиданно вызвала обратный эффект: Персик заболел – осунулся, шерсть потеряла блеск, стали дрожать лапы... Федор свозил его в областную лечебницу, последовали ещё два укола – и у щенка начала дергаться голова.

Мой друг ругал последними словами всю систему ветеринарной медицины. Прислал мне телеграмму с просьбой найти пару-тройку профессоров познаний для научного обследования щенка, но я не смог помочь в этом Фёдору.

Выхаживал он Персика, как младенца: поил из чайной ложки отваром дубовой коры и подорожника, носил каждый вечер на «целебные грязи» к лесному болотцу – по часу держал погруженным по шею в тепловатую жижу, чтоб вытянуло хворь... И песик пошёл на поправку.

Мужик совершил чудо – это в Опухликах и в Жирновке признали все.

Через полгода из Персика образовался вполне гладкий молодой кобелёк без признаков определённой породы, ростом до Фёдорова колена; и только лёгкое подергивание головы напоминало о перенесённой болезни.

Надо отдать Персику должное, было у него много собачьих качеств, вызывающих симпатию: умная, даже слишком умная, морда, весёлый и – несмотря на чёрное нёбо – добродушный нрав, безусловная любовь к хозяину... Пусть не имел он никаких перспектив заполнить собою будку, пусть бегал вразвалку и на вид был дворняга дворнягой – зато бесперебойно влаивал на посторонних, исполнял команды мужика и умел ходить на задних лапах, одновременно вертя хвостом...

– Прививка проклятая виновата, что ростом Персик не вышел, – удручался Фёдор. – Ну да ладно – молодой ещё – порода свое возьмет. Он у меня станет волкодавом, как положено.

Но Персик оставался Персиком.

Сделал мой друг и несколько попыток натаскать пса для охоты. Учítывая «временную задержку» в развитии, а также с целью выработки у него универсальных охотничьих способностей, начал Фёдор с водоплавающей дичи.

Натаска происходила на моих глазах, в августе. Долго бродили мы с Фёдором по болотам, пытаюсь поднять утку или чирка. Персик равнодушно волочился следом. Внезапно из осоки метрах в пятидесяти от нас шумно взлетел великолепный гусь-гуменник. Встретить гусей на этом болоте я не рассчитывал и растерялся. А Федор всё-таки саданул наудачу мелкой дробью из своей берданки. Шансов, конечно, у него не было. И я огорченно смотрел, как птица, удаляясь, набирала высоту.

– Вот зараза! – сплюнул Федор.

И в этот момент гусь подвернул крыло и рухнул в камыш за двумя вётлами. Наверно, какая-то дробинка попала в шею...

– Ату его! – диким голосом закричал мужик. Персик рванулся сквозь болото и пропал в камыше.

– «Ату» – не та команда, Федя, – сделал я замечание.

– Сойдёт, – отреагировал Федор. – Пускай привыкает моя кавказская овчарка волков трепать. А уж гуся притащить, Ерепей, для него небось пара пустяков.

– Думаю, он и не найдет птицу, – высказал я сомнение.

Но ошибся.

Когда через полчаса, устав от бесплодного ожидания, мы сами по колено в воде двинулись к ветлам, Персик выполз нам навстречу с раздутым брюхом, морда его была в гусяном пуху... Похожий на футбольный мяч, кобелёк улегся на кочку у ног хозяина, тяжело дыша. Федор сплюнул еще раз, азартно поддел взвизгнувшего Персика сапогом – для строгой науки... и, разбрызгивая воду, повернул к дому.

Дальнейшая натаска проходила в том же духе и с тем же успехом. Фёдор не слушал моих советов оставить собаку в покое, не желал отступить.

Я привёз ему цветные снимки кавказских овчарок, чтоб хоть немного привести мужика в чувство, а он – развесил их на стенах по всей избе.

– Мать – точь-в-точь такая была! – убеждал он сам себя. – И Персик... уже похож...

Если уж я привёл одну восточную мудрость в этом рассказе, не могу удержаться от второй, которая придется очень к месту: «Дайте собаке плохую кличку – и можете смело её повесить.»... Вдумайтесь в смысл. Что же произойдет, если дать хорошую кличку? Вы понимаете, я говорю аллегорически. Так вот – пример Персика поучителен: похвала и надежда возвышают...

Само собой, охотиться с дворняжкой моего друга было мучением. Однако по мере того, как Персик входил в возраст, в нём начала проявляться такая незаурядная сообразительность, что я диву давался. Кобелёк быстро усвоил, чего, собст-

венно говоря, хочет от него хозяин, и в соответствии с этим вырабатывал чёткую линию поведения.

Проявлять жизнерадостность, выпрашивать лакомство или вертеть хвостом на людях? – никогда! Такое он мог себе позволить только наедине с Фёдором да еще, пожалуй, в моем присутствии – нутром чуя, что меня все равно не обманешь. Ловко улавливал, проходимец, настроение мужика, его желание повеселиться. Но стоило только Фёдору вывести Персика со двора, как тот напускал на себя угрюмый вид: старался ступать величаво, подняв голову и выпятив грудь, как выпячивал её иногда мужик... Не вертелся, по сторонам не смотрел, не косился на прочих дворовых собачонок. Устремив вдаль отрешённый, полный достоинства взгляд, Персик вышагивал рядом с хозяином... Чуть пройдя вперед, замирал на месте, когда Фёдор останавливался поздороваться с кем-нибудь из односельчан, и брезгливо морщил нос, будто недоумевая, и чего это ради хозяин тратит время на столь незначительных личностей... Бывали минуты – и кобель настолько входил в роль пса-аристократа, что начинал забываться и даже от Фёдора принародно морду воротил; так что моему другу приходилось отводить Персика в сторонку, где не было свидетелей, и с помощью сапога напоминать ему о субординации.

Но зато когда вечером мужик и Персик неторопливо совершали моцион до магазина и обратно, народ уважительно перешептывался: «Фёдор идет... с кавказской овчаркой!» И не было в этом шёпоте насмешки, до такой степени моему другу удалось убедить окружающих в чистопородности пса.

– Больших денег собака стоит... – неопределённо говорил он повсюду и вздыхал.

И никому не приходило в голову усомниться. Нет, небось не случайно так носится Фёдор со своим Персиком; небось не даром так надменно поглядывает пёс.

По собственному опыту знаю, как много значит в жизни представительство и умение подать себя. Очевидно, это понимал и Персик.

Но откровенное стремление приспособиться к надеждам хозяина во многом пошло псу на пользу. От напускной гордыни он словно стал крупнее, словно раздался в груди... Лай Персика приобрёл металлические нотки: вместо «гав, гав» он постепенно путем напряжённой тренировки научился глуховато рокотать «бау, ба-у»... Конечно, и Фёдор приложил к этому руку, поощряя «бау, ба-у» хлебушком с постным маслом и всякий раз надирая Персику уши за возврат к визгливому гавканью.

Допустим, я преувеличиваю ум кобеля, и всё дело в элементарных инстинктах. Но как же объяснить тогда следующий случай?..

В десять часов вечера мы с Фёдором блаженно сидели у самовара. Вдруг со двора донёсся злобный лай Персика. Я выглянул в окно – выяснять, в чем дело. Пёс, как по нотам, орал «бау, ба-у, бау, ба-у!», актёрствуя возле своей громадной будки... Луна светила ярко, и могу поклясться, что поблизости не было ничего подозрительного. Впрочем, не могло и быть... Однако Фёдор схватил топор и выбежал за дверь. Я наблюдал из окна, как Персик, завидев хозяина, весь подобрался, оцетинился и, отлично имитируя служебное рвение, метнулся к забору – натянул верёвку, угрожающе зарычал в пустоту... И не переставал лаять, пока Фёдор, пройдясь туда-сюда по безлюдной улице, не цыкнул на него и не погладил одобрительно.

– Слыхал, какой сторож у меня! – заявил мужик, возвратившись к столу. – Уже который раз воров и разбойников от избы отгоняет! Шляются тут всякие по ночам... целыми шайками. Ну да разве к такому псу подступишься! Поро-о-да!.. Все завидуют. Может, полсела моему Персику имуществом, а то и жизнью обязано!

Я почесал нос. А когда через полчаса вышел подышать воздухом, Персик выглянул из своей будки и, как показалось, подмигнул мне лукаво.

Но главные события были еще впереди.

В конце ноября – по пороше – Фёдор обнаружил волчьи следы за селом и набил патроны картечью.

«ПРЕЕЗЖАЙ МОМЕНТАЛЬНО. – Гласила его телеграмма. – ВОЛКОДАВ РВЕТСЯ В БОЙ.».

Уговорить мужика оставить Персика в будке не удалось мне никакими силами. И я заранее примирился с мыслью, что охота наша превратится в очередную прогулку.

Но перейдя речку Окаянку по берёзовой клادي над тонким льдом и в самом деле увидев ровную цепочку крупных отпечатков волчьих лап, которая терялась в обширном лесном острове, я взволновался:

– Пожалей собаку, Федя... Ум за разум у тебя зашёл!

Однако под пристальным мужицким взглядом спущенный с поводка Персик обречённо затрусил по следу. И вскоре из леса послышалось одинокое жалобное «гав»... А затем, словно опомнившись, кобель – хотя и неуверенно – пролаял в стороне: «Бау, ба-у, ба-у!..».

Молчать бы ему лучше – подумал я.

– Что я тебе говорил! – прошипел Федор. – Волчина у нас в кармане! Гонит его Персик, гонит, умница... – И, поскрипывая валенками по рыхлому снежку, побежал вдоль леса – наперехват – занимать лаз.

«Бау, ба-у!» – доносилось из глубины острова. Я повесил ружьё на плечо, закурил и прогулочным шагом пошёл на собачий голос.

Персик уже лаял совсем близко, и я стал двигаться осторожнее: хотелось незаметно понаблюдать за собакой. Предполагать, что волк всё ещё находится в этом лесу, я, разумеется, не мог... Тем более, что и след зверя ушёл совсем в другую сторону.

Прячась за деревьями, наконец я увидел Персика. Забившись под ёлку и задрав голову кверху, как глухарь на току, пёс лаял в небо... Вот он перебежал шагов на двадцать, присел под куст и снова нахально пролаял «бау, ба-у!»... До него можно было добросить рукавицей.

Именно это я и собирался сделать, когда между елями бесшумно показался волк... Не все охотники поверят мне. Но готов показать шапку, которую ношу до сих пор, – из шкуры этого волка. А у Фёдора вышли три пары меховых стелек для резиновых сапог...

Поджав хвост, ничего не видя перед собой, со щенячьим визгом Персик бросился от волка прямо к моей засаде. Я стоял с подветренной стороны, скрытый густыми еловыми лапами. Только это объясняет, почему матерый зверь не учуял меня, когда вышел на лай, чтоб расправиться с «артистом» по своему вкусу. «Бау, ба-у» не обмануло его, и Персик мог стать лёгкой добычей, если б не успел я сорвать с плеча двустволку и передвинуть пальцем предохранитель...

На выстрел прибежал Фёдор. От возбуждения сдернув с головы ушанку, он заскакал возле вытянувшегося на снегу волка.

Персик, который всё ещё жался к ногам, робко взглянул на меня. И прочтя в моих глазах попустительство, осторожно вцепился зубами в ногу мёртвого зверя.

Возвращение в село стало подлинным триумфом Фёдора. Волка мы несли на плечах – привязанным за ноги к толстой березовой жерди. Бабы, сбегаясь, ахали и держались на почтительном расстоянии от преисполненного важности Персика. Мужики покашливали и рассуждали, что «оно, конечно: волков развелось – прорыва!»...

Вечером Дуся торжественно угощала блинами Патрикеев Болотникова, Трифона Гузю, Михея Ступина и заглянувших на огонёк самого директора Осьмудеева с Терентием Фоминым. Но первый блин (не потому, что он вышел комом, а в награду) получил допущенный в избу Персик. Чувствуя себя центром внимания, «волко-

дав» сидел у печи, картинно подвернув хвост. Раза два ради шутки я тайком от гостей грозил ему пальцем, – и горделивое выражение моментально слетало с его хитрющей морды: кобелёк, как заправский симулянт, поддёргивал головой, напоминая мне о своей давней болезни, и заискивающе облизывал нос... Персик понял ещё в лесу, что я не собираюсь его выдавать, и всё же справедливо полагал излишним почаще проявлять признательность.

Рассказать, как сыграл он роль подсадной утки? Нет, было бы неблагородно испортить настроение всей компании и подвести Фёдора.

А мужик, распаяясь, размахивал руками перед восхищёнными слушателями:

– Гонит волчину мой Персик прямо на Ерепея... Ерепей – бац из одного ствола, осечка! Бац – из второго, промах! А зверюга на него прёт. Я, хоть и далеко стоял, вижу: дело плохо, надо спасать друга. Приложился метров за сто – как жажну! – ранил... Тут Персик подоспел: прыг на волка – и задавил как котёнка!

Что и говорить, в характерах мужика Фёдора и Персика было что-то общее. Хотя сравнения, конечно, неуместны.

Мужик Федор и метель

В темноте и гнилушка светит.

Вероятно, следовало бы зайти издалека: найти побольше добрых слов по поводу нынешней обыденности радио и телевидения в Опухликах... Рассказать подробнее, как вслед за петушиным криком ещё затемно в избу врывались позывные радиостанции «Маяк», вдохновляя моего друга на трудовые будни; а по вечерам, прихлёбывая горячие щи из одной миски с Дусей, Фёдор не отрывал взгляда от светлого экрана новенького «Рекорда», установленного на безопасном расстоянии от пылающей печи...

Но мне и без того предстоит несколько отвлечься – для ясности и для собственного удовольствия. Итак...

– Врёшь, врешь, мать твою гробовую!!! – донёсся из пятистенка возмущенный рёв мужика Фёдора.

В потёмках мне почудилось, что крыша затряслась. Бросив недомытые сапоги, я кинулся со двора в избу.

Фёдор, красный от натуги, стоял у телевизора, который странно потрескивал, а по экрану прыгали чёрные волны.

– Экстремисту главному из Латинской Америки тут во «Времени» слово давали. Совсем они распоясались, экстремисты эти! – выпалил Федор и удивился. – Хорошо, вроде, показывал прибор... Чего это он?

– А ты его не ударил чем-нибудь?

– Не-е-т, только выразился... – мужик принялся вертеть настройку. Но отладить изображение не удавалось.

Проанализировав ситуацию, я, увы, не нашел ничего умнее, чем забить голову друга россказнями о телепатии, перемещении предметов силой воли... и прочей научной не объяснённой чертовщиной, которую критиковали время от времени в газетных статьях и заметках.

– Может, голосом своим, Федя, ты колебания там, в телевизоре, какие-то вызвал? – неосмотрительно брякнул я. И тем самым способствовал росту самомнения мужика.

Нагоняй, полученный от Дуси, только распалил его воображение.

Фёдор покаянно колотил себя кулаком по затылку в общественных местах (то есть перед конторой, магазином и клубом), костеря проклятые нервы и собственные удивительные способности.

– Вот, мужики, «Рекорд» испортил! – жаловался он лукаво. – Кто ж знать мог, что от меня такое электричество идёт... А то бывало трактор не заводится, прикрикнешь на него – и пошёл, голубчик, как миленький! Я-то думаю, отчего? А оно вон – отчего... Спасибо, Ерепей растолковал. Лечиться мне теперь, что ли?

– Да-а, дела-а... – почтительно соглашался народ.

Наубивавшись досыта, Федор вооружился отвёрткой, плоскогубцами, молотком и полез во внутренности телевизора. Ни о какой районной мастерской не хотел и слушать: «Не боги горшки обжигают, Ерепей! Ты мне давай блоху поймай. Захочу – на все лапки подкую, как полагается!»

Неловко было смотреть, как подстукивал он молотком клеммы «Рекорда», шпыняя его последними словами – с целью волевого воздействия. И поскольку это не давало результатов, вдруг менял тон... Начинал, как девку, оглаживать телевизор со всех сторон, уговаривая: «Ну, моя ягодка, ну, букашечка, исправляйся, похорошему прошу, душевно умоляю!»

Я не выдержал, взял корзину и ушел по грибы. А придя из леса, застал Фёдора попивающим чаек возле безупречно работающего «Рекорда».

– Прав ты был, Ерепей, – важно сообщил он. – Инструмент только чуток понадобился. Всё дело в добром слове: после ухода твоего сосредоточил я волю, сказал слово – и уговорил.

– Антенну он подпаял! – крикнула Дуся из-за занавески. Распаялась антенна-то...

– Не суйся, Дуська, в дела мужицкие. Нечего болтать, о чём без понятия! – бросил ей Фёдор и насупился.

Не знаю, только ли в антенне были неполадки, или Федор нарушил что-то своим молотком, но после того случая «Рекорд» начал своенравничать непредсказуемо. Несколько дней отличной работы, и вдруг – ни с того ни с сего – на целый вечер забарахлит изображение. Никакие уговоры не помогали. Единственным спасением – да и то ненадолго – было стукнуть ладонью по деревянной обшивке с левого боку.

Но Фёдор не отчаивался. Когда помехи становились невыносимыми, он лез на печь или просто закрывал глаза и в мыслях заново переживал то, что успел увидеть; сам придумывал различные продолжения недосмотренному – так было даже интереснее.

Впрочем, разве изображение – главное? Дуся, например, все равно редко досиживала до конца вечернего фильма, который давали с половины десятого: глаза у неё слипались, и, перебив посуду, она уходила спать... Зато звук был хорош всегда. Мой друг узнавал по голосам всех политических обозревателей. Очень уважал Валентина Зорина, ибо тот не робел и смело подпускал в эфир какое-нибудь крепкое словцо, вроде альянса или проституции... Радовало мужика также, что Зорин не тараторил без умолку, а делал солидные паузы, куда Фёдор приноровился вставлять собственные фразы. Таким образом получалось что-то похожее на серьёзную беседу двух толковых людей. И – самое любопытное: иногда другу моему удавалось каким-нибудь верным замечанием заставить обозревателя задуматься, а то вдруг и повернуть свой комментарий на 180 градусов... По крайней мере, Фёдору так казалось. И уж это воздействие объяснял он только телепатией.

С радиоточкой, которая страшно хрипела и квакала, поговорить не то чтоб совсем не было возможности, но мужик считал такие разговоры ниже своего достоинства. Старый треснувший громкоговоритель, висевший над рукойойником, конечно, не мог представлять из себя подходящего собеседника... Несколько раз Фёдор вообще порывался его выбросить («к чему за такую хреновину лишний налог платить!»), но, поразмыслив, решил: пусть висит – всё-таки, хоть и односторонняя, но связь с миром. Кроме первой программы радио, раньше оттуда – по

местному узлу – неслись то и дело призывы бывшего директора Пеклеванного: выполнить и перевыполнить... А это порой забавляло мужика до слез. Когда же директор переходил всякие границы приличия, можно было просто выдернуть штепсель.

Нынешний – Осьмудеев – «трепался» по радио значительно меньше, таково было мнение моего друга.

И когда по случаю пятидесятилетия мужика совхоз выделил средства на ценный подарок – приемник «Спидолу», – Фёдор не скрывал чувства удовлетворения. Подарок вручали в клубе под аккомпанемент гармошки Михея Ступина. И пусть мужик только делал вид, что утирает рукавом слёзы признательности, но оправдать доверие коллектива он пообещал искренне.

Однако не прошло и недели, в партбюро поступила очередная анонимка на Фёдора. Теперь сообщалось, что по ночам юбиляр, громко хихикая, наслаждается «Голосом Америки», кроет матом в несколько этажей, если слышимость плохая, и на работу выходит заспанный.

Обвинение было серьезным. Мгновенно отреагировав, парторг Шумовкин явился к Федору и начал разговор в возвышенных тонах:

– Для чего тебе «Спидолу» дарили? Чтобы голоса слушал всякие?! Скоро на всех таких «слухачей» управу найдут! И мы не посмотрим, что грамоты имеешь. Отберём приемник!

Мужик ничего не стал отрицать. Но отвечал внушительно.

– Я коммунист беспартийный, стало быть, ты надо мной не власть – это раз! А годишься ты мне, Витька, в племянники: это два! Значит, не ори! Это три! И права, тебе народом даденные, превышать не смей. И четыре: каждый сознательный должен врагов знать в лицо, чтоб своими ушами убедиться, какую они на нас здоровенную бочку катят...

– Но ведь я-то ничего такого не слушаю, – несколько растерявшись, возразил Виктор.

– Потому что у тебя «Спидолы» нет, – сказал мужик Фёдор.

Шумовкин временно исчерпал свои претензии. А конфисковать приёмник не посмел – действительно, не было у него таких прав. Однако меры всё же следовало принять. И, посоветовавшись с Осьмудеевым, он обнаружил выход – простой, как всё гениальное.

– «Спидола»-то у него от сети работает, Серафим Петрович, – хлопнув себя по лбу, сообразил парторг. – А батареек круглых нынче даже в Области не сыщешь, фонарик – и тот зарядить нечем.

Директор понял с полуслова, но как хороший хозяин засомневался:

– Зима на дворе, Шумовкин, – как бы коровники у нас не обмёрзли без электричества...

– Так сказано же в жалобе, что слушает он программу какую-то «для полуночников»... А мы, Серафим Петрович, с полуночи как раз отключать станем на часок-другой. Ничего, коровки наши привычные – потерпят. Я сам прослежу, чтоб все в ажуре было. Зато Фёдора от пропаганды отвадим!

В субботу в семь утра меня разбудил междугородний звонок. На линии был Фёдор.

– Ерепей, давай говорить по-быстрому, – тараторил мужик, – я со станции разговор заказал, но и здесь везде уши... Сей же час беги в магазин, купи мне двенадцать батареек для «Спидолы», нет, лучше восемнадцать штук – про запас... И вышли ценной посылкой сюда на станцию – до востребования.

– Да зачем «до востребования»? – удалось мне вставить вопрос. – Прямо в Опухлики вышлю на твое имя.

– Не вздумай, – зашептал в трубку Федор. – Перехватить могут! Вот что, и до востребования не высылай. Ночным поездом – с проводником передай. Завтра

на зорьке буду ждать у третьего вагона. Всё. Подробности – письмом... Будь здоров, Ерепей!

Просьбу мужика я выполнил в точности. И батарейки успели попасть в Опухлики за неделю до тех памятных снежных буранов, которые навалились на нечернозёмную Россию в декабре 1978 года.

А перед самым началом ненастья Шумовкину подбросили еще одну, будь она неладна, анонимку: «Группа земляков доводит до сельской партийной общественности, что, несмотря на еженощное пресечение тока, "Спидола" лжетракториста Гакова продолжает действовать. Боже, что творится: в полночь Федька во дворе спускает с верёвки кавказскую овчарку Персика, закрывает ставни в избе и силой внушения вызывает по "Спидоле" без электричества вражеский дух из Америки! Спрашиваем, до коих пор будет в родном селе это безобразие? Народ требует Федьку поймать с поличным, а приёмник изъять для общих нужд и передать более достойному».

Попади такая бумага в райком, дело могло бы обернуться крупным разбирательством с оргвыводами. Шумовкин с Осьмудеевым заперлись в директорском кабинете и молчком выпили самовар чая, раздумывая, что предпринять.

Но тут повалили снега.

Небеса побелели, набухшие тяжёлыми холодными хлопьями, и словно придавили Опухлики и Жирновку. Снег падал непрерывно – так густо, что не поднимешь глаза, и в течение суток на дорогах выросли огромные сугробы. Затем на несколько часов – как будто давая людям последнюю возможность привести свои дела в порядок – снегопад прекратился, и температура небывало повысилась, скакнув до десяти градусов тепла... В полях стали образовываться талые озерца. Чернеющие брёвнами избы походили на куриц, которые искупались в лужах и теперь отряхиваются от грязной воды. Старики не помнили таких природных аномалий...

– Не к добру это, ох, не к добру! – причитала бабка Акимовна. И оказалась права.

Срывая прогнозы метеорологов о постепенном похолодании, шквальный северный ветер хлестанул по селу внезапно. Мелкий ледяной град, как бекасинник, наискось ударил с неба. Быстро увеличиваясь, вскоре он принялся лупить картечью, загоняя людей в укрытия. Обледенелые провода обвисли между телеграфными столбами и, всё тяжелея, раскачивались под зловещее завывание непогоды. Поднялась и пошла метель. Какая метель! В глубине её закручивались и вздымались буранные смерчи. Дымков над избами не было видно, хотя печи топилась без отдыха – иначе снег бы забил дымоходы доверху.

Свет в Опухликах погас. Прервалось телефонное сообщение. Это на линии в нескольких местах повалило деревянные столбы и лопнула проволока.

А стихия не унималась: немного сбавляя темп, вдруг начинала бушевать с усиленной яростью.

Персик уже давно перебрался из будки в избу и лежал у печи. Гончак Догоняй Патрикея Болотникова – тоже. Поблажка породистым псам неудивительна... Но и почти все мужики пустили своих дворняг в тепло, не выдержав их жалобного воя. Сердце первобытно робело перед необходимостью оказаться за порогом даже на несколько минут.

Второй вечер в домах, где не было керосиновых ламп или свечей, жгли лучины для освещения. И уже четвертый день в село не привозили газет.

Лежать бы лучше Акимовне в своей избёнке и отсыпаться на старости лет, а не бередить и без того встревоженные души односельчан... Но зачем-то, как белый призрак, носилась она по Опухликам в сосульчатом ватном салопе: напуская холоду, распахивала двери в чей-нибудь дом с глухим криком «шветопрештавле-

ние!» и, воспаряя неподшитыми валенками над мутным глубоким снегом, устремлялась дальше...

Правда, не дремала и администрация. В этих сложных погодных условиях Осьмудеев проявил себя с лучшей стороны. Вместе с Терентием Фоминым он тоже ходил по домам. Серафим Петрович появлялся вскоре после Акимовны, проходил в горницы в своём городском ратиновом пальто с каракулевым воротником и в кроличьей шапке с опущенными ушами, сморкался в платок и – пока заместитель переминался с ноги на ногу за его спиной – поддерживал павших духом:

– Всё в порядке, товарищи, всё в полном порядке. Жизнь в стране продолжается. На БАМе большие успехи... Есть хорошие новости: июнь будет тёплый с дождичками, отличные у нас виды на урожай!

Но мужики слабо верили ему – знали, что получить новости Осьмудееву было неоткуда.

В наиболее резкой форме общие настроения выразил Бердей Гузня. Выслушав директорские успокоения, он хмуро прокашлял:

– Может, французы, али еще кто, уже Москву взяли, покуда мы здесь в снегу по уши отсиживаемся.

Опешив, Осьмудеев отбросил церемонии и признался в своей неинформированности:

– Типун тебе на язык, старый хрыч!

Не выдержал и Терентий Фомин:

– Мало ему типуна, Петрович! Резать языки надо за такие кулацкие разговорчики!

– Да уж ты, папаша, загнул про Москву, – попытался сгладить ситуацию Трифон Гузня. – Да если хочешь знать, снег нам только на руку, случись война... Кто ж дойдёт до Москвы в такую круговерть? Все интервенты околеют к свиньям – без полушубков всех заметелит.

– Дураки вы малолетние! – цыкнул Бердей. – А ракеты ихние на что! «Правду» читать надо было, пока её привозили.

Возразить было нечего. Стихийное бедствие, увы, отрезало опухликовский совхоз имени А.С. Пушкина от всего белого света.

– Первоочередная задача, – сказал Осьмудеев, собрав у себя сельский актив, – связаться с Большой землей. А то как бы паника в народе не началась...

Все понимали справедливость этих слов. Ведь если и предположить, что метель вот-вот прекратится, всё равно в ближайшие дни трудно было рассчитывать пробиться куда-нибудь даже на тракторе: снегу вокруг намело невиданные горы! Значит, не скоро удастся подержать в руках газету, и электричество еще неизвестно когда будет...

Пришлось теперь пожалеть Серафиму Петровичу, что не прислушался в своё время к идее Фёдора Гакова закупить рации – хоть самые захудалые – для совхозной техники... Иначе запросили бы, конечно, район, область, столицу: «Как там у вас? Все живы?»... Или, на худой конец, подали бы сигнал «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ», попросту – «СОС»: авось и откликнется кто-нибудь. Но, коли просигналить нечем, – на нет и суда нет.

В общих раздумьях родилась мысль, а не позаимствовать ли лошадку у Бердея Гузня (она оставалась единственной на всё село, поскольку научно-техническая революция зацепила Опухлики не вчера...), у него же позаимствовать сани и съездить на станцию за новостями, как встарь. Но Трифон, который в качестве завфермой присутствовал на активе, пояснил, что их семейная сивка в снегу утонет и пропадет ни за грош – безо всякой пользы для общества.

Более разумным представилось предложение упросить Патрикеев Болотникова одеться потеплее, встать на свои широкие охотинспекторские лыжи и прорваться

сквозь вьюгу. Сходили за Патрикеем. Он выслушал просьбу, покачал головой: «Я – мужик, никогда не отказывался жизнью за народ рискнуть, однако же ветер с ног валит».

– Что ж, Патрикей Егорыч, риск – дело добровольное! – решительно поднялся Виктор Шумовкин. – Мы думали тебе, коммунисту, честь оказать... Давай мне лыжи! А замёрзнет в полях твой парторг – не поминай лихом!

Осьмудеев шагнул к Шумовкину, обнял его:

– Ты знаешь, Виктор Фомич, я и сам бы пошёл, да совхозом руководить некому будет. Ступай – верю, что дойдёшь. Если б хоть радио работало... А то, может, и правда уже в руководстве перемены, а мы и понятия не имеем. Как бы не обмишуриться...

– Да всё нормально в Москве, Серафим Петрович, – сказал Патрикей Болотников. – Не переменялась власть. А если только за радио дело стало, так у Фёдора «Спидола» работает... Никуда и ходить не надо.

Известие это привело собравшихся в замешательство. Тут же всплыла и последняя анонимка, и все обстоятельства, связанные со «Спидолой». Короче, о Фёдоре вспомнили.

– Патрикей Егорыч, сходи за ним! – взмолился Шумовкин. – Пусть принесёт приёмничек – послушать.

– Да вроде уж дело больно деликатное, – замялся Болотников, поскольку хорошо знал характер мужика.

– Лучше к нему всем миром постучаться, иначе заупрямиться может.

– Ну что ж, – решил Осьмудеев, – если гора не идет к Магомету... – И взялся за шапку...

Мужик, словно догадываясь, о чём пойдет речь, важно встретил гостей у самовара.

– Что, допрыгались, голуби, до циклона! – Не смог удержаться он от нравоучения. – Ну да ладно, неделю потерпеть осталось: антициклон уже зарождается над волнами Атлантики. Скоро снова электричество отключать по ночам сможете!

– Ты, Федь, брось всех в одну кучу валить, – одёрнул его Болотников.

– Да уж, – сказал Осьмудеев, – ты, Фёдор Фёдорович, не попомни зла: мы же как лучше хотели... Говорят, работает приёмничек, что тебе в юбилей вручали?

– Твоими с Шумовкиным заботами, Серафим Петрович... – уязвил Федор. – Не стали бы отключать – и я бы не допёр батарейками запастись. Нет худа без добра.

– Вот видишь, как все складно вышло, – согласился директор, – теперь «Спидола» твоя в совхозе единственное средство массовой информации. Сознаешь, какая ответственность! Так что выкладывай последние известия. Что там по России слышно? Чего говорят?

– Да разное брешут...

– То есть как это – брешут?!

– А так! – надулся мужик. – Будто по всей стране масло сливочное по карточкам дают – это вам что, не брехня? Никто его нам в Опухликах не даёт. Ни по карточкам, ни без них! Пять лет, почитай, в магазине его в глаза не видали. И ничего, обходимся, а кому нужно – сам собьёт... Брехня номер два: будто хлеб в Канаде за миллионы закупили. Какой же дурак такому поверит, когда мы всем недоразвитым помогаем! Дальше поехали: евреи дескать, из России бежать хотят... Третья брехня! Исая Осипыча, что баром на станции заведует, все знают. Никуда он бежать не хочет – ему и здесь хорошо!

– Чего ты несешь, Федор, чего городишь? – возмутился Терентий Фомин. – Мы к тебе за делом пришли, а ты... Да отродясь такую чушь по радио не передавали!

Фёдор молча встал, принёс «Спидолу», определил её в центре стола, посмотрел на часы...

– Сами послушайте, щас начнется.

Присутствующие сгрудились вокруг приёмника, поднятую антенну заволокло табачным дымом.

Из глубины «Спидолы» – сквозь шипение и потрескивание – слышались слабые, но всё же членораздельные звуки: «Говорит "Голос Америки" из Вашингтона... Граждане и товарищи, дамы и господа...»

Виктор Шумовкин, как ошпаренный, отпрянул от стола.

– Выключи, Фёдор, выключи ради Христа! – Осьмудеев побледнел и слабо оттолкнул от себя антенну.

Мой друг нажал на кнопку выключателя:

– Как хотите, граждане и товарищи, была бы честь предложена...

– Лично я, Фёдор Фёдорович, – сказал директор с наигранным возмущением, – усматриваю в этом хулиганство с твоей стороны. стыдно, Гаков! В такой момент над всем совхозом измываешься! Включай Москву, не то мы твое поведение отдельно обсудим.

– А у меня Москва не включается, – медленно произнес мужик, – такой уж приемник подарили – со знаком качества: вообще ни средние, ни длинные волны не берёт... Без знака этого покупать надо было, оно надежней. И нечего мне хулигана клеить – за такие слова и ответить можно!

– Вот мы сами проверим, берёт он Москву или не берёт. – Терентий Фомин склонился над «Спидолой». – Прове-е-рим...

– Крути, Терентий, крути... Только заранее предупреждаю: с волны собьешь, потом и Америку будем целый час разыскивать – передачу пропустим. Я, знаешь с какими трудами, настроил... А они щас и про антициклон передать могут, вот ей-богу! Может, про погоду и не сбрешут.

Фомин заколебался. А Патрикей Болотников неуверенно предложил:

– Давайте, того, не будем с волны сбивать, а то ведь и вправду...

Осьмудеев поманил Терентия и Шумовкина:

– Пошли, нам здесь делать нечего, остальным тоже присутствовать не рекомендуется.

Однако первым за директором двинулся Трифон Гузня, потом потянулись остальные. Последним избу покинул Болотников.

– Извиняй, Фёдор, – сказал он, замывшись в дверях, – раз не рекомендуется, – значит, того... – И добавил шёпотом: – После заскочу, расскажешь, чего там и как...

Мужик Фёдор хмыкнул, налил себе кружку чая покрепче и включил «Спидолу».

Поздним вечером пришла заснеженная Степанида Шумовкина, вызвала Дусю в сени:

– Дусь, за Витю у меня волнения... В райком на ночь глядя идти надумал на лыжах – в такую-то непогоду. Спроси уж потихоньку у Фёдора, ходить Вите аль нет. Мы ж с тобой подруги давние.

– Да ты в избу пройди, Степанида.

– Нет уж, Дусь, я тут подожду. Витя не велел...

Через минуту Дуся вернулась:

– Фёдор сказал, не надо ходить.

– Аха, спасибо тебе, подруга, – понятливо закивала Степанида и убежала.

К рассвету метель утихла – так же внезапно, как началась. Потеплело. Густой туман окутал Опухлики. Млечная тишина таила неизвестность. Беспokoйно было и на душе у Серафима Петровича. Он без аппетита позавтракал и как раз укрепил

себя в мысли поторопиться в контору – ждать новостей на рабочем месте, когда, увязая в снегу, к его дому пробился запыхавшийся Трифон Гузня.

– Ты вон, Петрович, галстук завязываешь, – выпалил он, – а всех нас, может, уже и на свете нет...

И, разминая дрожащими пальцами папиросу, Трифон рассказал, что ночью американцы передали, будто целый район Центральной России похоронен под снегом, а какие-то два села, дескать, начисто исчезли с карты – затерялись в безвоздушном пространстве, втянутые в воронку циклона... И ещё сообщили: о количестве человеческих жертв Москва молчит!

– Сердце чует, – с придыханием сказал Гузня, – про нас это и про Жирновку соседнюю. Может, мы от земли уже оторвались и в космосе где витаем? Что тогда? Тогда гори всё пропадом, и дом, и скотина. А если не оторвались ещё, надо скорей народ пересчитывать: вдруг да втянуло кого-нибудь в воронку эту в индивидуальном порядке...

– Ты что же, своими ушами про безвоздушное пространство слышал? – спросил Осьмудеев, наморщив лоб. – «А если – правда?» – мелькнуло вдруг в его голове.

– Да нет, не был я там! – запричитал Трифон. – От Болотникова слыхал, он – от Фёдора.

– Бред! – убеждая сам себя, тряхнул чубом Серафим Петрович. – Повторяю: бред! Как же это нас нет, когда вот он я – есть! Даже если вокруг ничего нет, мы – объективная реальность, материя. Понял, Трифон? Значит, ничего не меняется. Я здесь директор. Сколько раз их пропаганда наши идеи хоронила – не вышло!

– Так вот, и я говорю, – испуганно произнес Гузня, – может, вокруг ничего нету...

– А «Голос Америки» откуда, по-твоему, Фёдор принял – с того света?

– Так ведь и в космос, Петрович, сигналы, известное дело, доходят... – нашелся Гузня.

– Ишь ты! Их сигналы доходят, а наши, советские, не доходят? Ох, мутит Федор воду!

– «Спидола» же у него барахлит...

– Говоришь, барахлит... А сядешь анонимки писать – не барахлит?

– Истинный Бог, Петрович, не я писал.

Неизвестно, как долго протекала бы такая беседа, если бы внезапно с улицы – ясно – не донеслись звуки «Интернационала».

Забыв пальто, Серафим Петрович вышел из дома. Гузня выскочил за ним. На площади у конторы, высоко держа переходящее красное знамя, взятое из клуба, стоял старый Бердей. Тут же под знаменем, припав щекою к развернутой гармошке, обретался Михай Ступин. Рядом сменщик Фёдора тракторист Иван, сложив руки по швам, запевал басом: «Вста-вай, проклятьем заклейте-е-енный...»

Уже подваливал народ, выныривая из тумана.

– Чья инициатива? – резко спросил Осьмудеев, с трудом вытаскивая ноги из снега и не оборачиваясь к Гузне.

Трифон поспешал за ним след в след.

– Наша, Петрович, твоя то есть: со знаменем по селу пройдем, людей пересчитаем – пускай все живые в строй становятся. За тем и шёл к тебе.

– Изволь впредь, Трифон Бердеич, ко мне на вы обращаться и остальным передай! – не к месту сказанул директор со злобой. И моментально забыл об этом распоряжении, заметив, как подоспевший Виктор Шумовкин перехватил знамя из слабеющих рук Бердея.

– Что происходит! – чуть слышно бормотал на ходу Осьмудеев, не чувствуя холода. – Что за село такое мне подсунули! Ничего не понимаю... Массовое сумасшествие!

Тем временем толпа множилась.

Осьмудеев механически пожал протянутую руку Терентия Фомина и, поборов сомнения, по-хозяйски встал к знамени.

Михей Ступин перестал играть «Интернационал» и вопросительно смотрел на директора.

– Где Патрикей? Где Акимовна? – раздавались голоса.

– Да здесь Патрикей. Вот он...

– Нет Акимовны... Пропала бабка!

– Не пропала ещё – вон, кажись, печка её топится. И Фёдор – в избе остался.

– Как остался? Фёдор?!

– Глаза протрите – идёт Фёдор...

Действительно, мужик со «Спидолой» под мышкой уверенным шагом двигался к площади. Голоса смолкли.

– Слушайте все! – крикнул Федор. – Я приёмник силой воли отремонтировал. Щас Москва говорить будет.

Глубокий вздох прокатился в народе. Мужики от волнения сняли шапки, бабы вцепились в рукава мужей.

Фёдор крутанул звук на полную мощность. И с невероятной чистотой и протяжностью из приёмника прямо в души сельчан полилась песня:

ЯМ-ЩИК, НЕ ГОНИ-И-И ЛО-ША-ДЕЙ!
МНЕ НЕ-Е-КУДА БО-О-ОЛЫШЕ СПЕШИ-И-ИТЬ...

Десятки рук протянулись к моему другу, оторвали его от притоптанного снега и вознесли к небу...

– Да здравствует Россия! – сквозь слезы гаркнул Патрикей Болотников. – Качать Фёдора Гакова!

Фёдора со «Спидолой» понесли по селу. Осьмудеев, приняв у Шумовкина знамя, с бледным лицом, как пьяный, ступал впереди.

«МНЕ НЕ-Е-КУДА БО-О-ОЛЫШЕ СПЕ-ШИ-И-ИТЬ...» – звучало над непокрытыми головами и уносилось в пространство.

ДВА РАССКАЗА

РУБИКОН

Цезарь увидел толпу этих задаренных им убийц и подумал: «Нехорошо, что рядом с отхожим местом». Падая на грязный и скользкий мраморный пол, ощутил запах мочи и опять подосадовал. Увидел Брута, застонал, сдерживая боль, подумал, что историки сделают из этого что-нибудь невыносимо театральное. Что он, якобы, простёр руку, воскликнул: «Дитя моё! И ты!» – и картинно упал.

Скрючившись на ледяном полу в тёплой своей крови, он прикрыл лицо краем тоги и последним смертным взглядом увидел Фортуну. Она спокойно отвернулась. Один я, Боги.

Если выщипать брови грамотно, такими скобочками наивными, то они молодят. А если их (брови) ещё и слегка приподнять так удивлённо, то молодят ещё больше, потому что верхние веки расправляются. Но если сделать мышечное усилие больше, чем требуется для выражения наивного удивления, – допустим, недоумение получилось, – то – не молодят, потому что появляются морщинки на лбу.

Юля устало вздохнула: учебный год в роскошном их лицее едва начался, а уже тошно. Его секретарша поглядывает победно, остальные – с любопытством, и никак не удаётся сделать вид, что наплевать. Хотя уже наплевать. Давно и совершенно искренне. Но жильё служебное и зарплата стабильная – деться некуда, а вынужденная зависимость от бывшего любовника тяготит.

Да ещё и исторический кружок сегодня. Впрочем, это дело родное. Толковая восьмиклассница Тонька приготовила доклад о Римской республике времён Цезаря. Интересно будет послушать, как дети станут осуждать великих за исторические ошибки.

Она вошла в учительскую приосанившись, грамотно приподняв брови и трудолюбиво улыбаясь. Дружески кивнула торчащей здесь же для чего-то его секретарше, отметив, что все вокруг наблюдательны и любознательны. Начались уроки. Скорей бы кончились.

В то утро к нему явилась Фортуна. Приснилась, как пять лет назад. Она вошла в покои и робко встала у входа.

– Я выиграл, – сказал он ей и рассмеялся.

Фортуна надула губы, отвернулась к стене и, как маленькая девочка, уткнулась лицом в тяжёлую занавесь. Он проснулся от своего смеха и подумал, что сон не к добру. Узорчатая занавесь вдруг шевельнулась, вошёл оракул с привычно печальным лицом. С таким лицом он пророчил и добрую волю Богов, и беды.

– Ну что, старик, – сказал Цезарь, – мартовские иды уже начались. Солгал ты мне.

– Мартовские иды ещё не кончились, – возразил оракул, – позволь, великий...

– Не позволю, – и Цезарь рукой повелел ему удалиться, – сегодня мне не надо предсказаний.

Оракул странно пристально посмотрел на него и вышел.

Тонька подготовилась хорошо – не только в Интернет сходила. Похоже, даже Этьена прочла. Ребята слушали с интересом. Когда она закончила смертью Цезаря в курии, все как-то даже и притихли. Юлия нарушила тишину:

– А вот если бы Цезарь не перешёл Рубикон? Не сделал бы этого, как мы поняли, рокового шага? Что было бы? Чего бы не было?

– Да многого бы не было, Юлия Фёдоровна!

– А конкретно? Если бы не перешёл?

– Календаря не было бы.

– Календарь всё равно был бы, ты чё, Димон. Просто он назывался бы... октавианский там... или августовский.

– Августинский скорее. Дальше.

– Месяц бы июлем не назвали, и вас бы, Юлия Фёдоровна, назвали по-другому.

– Ты чё, Димон? – сказала она, и все засмеялись. – Ещё что? Думайте.

– Царей бы не называли цезарями и кесарями.

– Или кайзерами, как немцы.

– Молодцы... Ещё кто скажет?

Тоня сказала тихо:

– Если бы он не перешёл Рубикон, то его не истыкали бы потом кинжалами. Ну, не зарезали бы через пять лет.

– Почему? Обоснуй, – ровно сказала Юлия.

– Потому что он не стал бы великим. Ему бы не завидовали люди и боги. Ну, они же верили, что боги... Ну, их нельзя гневить, а он стал равен Юпитеру. В сознании этих... плебеев.

– А как вы думаете, предполагал Цезарь эти последствия?

– Нет!

– А я думаю, что допускал, – сказала учительница, – иначе «перейти Рубикон» не стало бы обозначать «сделать необратимый шаг». Перейти Рубикон – это взять на себя ответственность за всё, что случится потом, не обижаясь на богов.

Помолчали.

– Ещё его не полюбила бы Клеопатра, – невпопад сказала девочка из седьмого «Б».

– Очнулась! Она его до Рубикона полюбила.

– Ну, значит, разлюбила бы, – упрямо сказала девочка из седьмого.

Все засмеялись и продолжали предполагать варианты. Оказывается, многое могло бы быть по-другому. Юлия кивала и думала, что, переходя Рубикон и веря в победу, надо принимать и свою возможную кончину на холодном полу курии. Наличие золочёных статуй чуть ли не во всех городах империи этого финала не исключает. Но не стала повторяться – всё-таки они были ещё дети.

Она закончила занятие, поцеловала Тоньку в макушку (ребята любили её за такие неожиданно неформальные проявления).

В учительской написала заявление об уходе в двух экземплярах. Принесла секретарше.

– Вы прямо все границы переходите, – печально сказала та.

Юлия подумала «дура», про себя, но, видимо, слишком отчётливо, потому что секретарша вспыхнула и повторила:

– Все границы вы переходите, Юлия Фёдоровна.

«Месяц можно жить у Ольги, пока ейный не вернётся, – думала она, возвращаясь домой, – историком можно в нормальную школу. В сто девятнадцатую, например, – там до сих пор некомплект. Плюс часы по литературе будут. Всё равно снимать на это жильё нельзя. Так. В «Вопросах Клио» предлагали совместительство.

Дома раздался телефонный звонок. Ольга нюхом чует. Юлия сняла трубку.

- Привет, подруга.
 - Я не понял, – величественно сказал мужской голос.
 - Ушла я, – помолчав, объяснила Юля.
 - Учебный год начался.
 - Только что начался. Найдёте. Вы богатые. Родители у вас влиятельные.
- Он помолчал, видимо, подыскивая уничтожающие слова.
- Я вынужден буду просить вас, – наконец сказал он, – оставить служебную квартиру.
 - Хорошо, – сказала она спокойно и положила трубку.
- Затрезвонила в дверь Ольга.

Пять лет назад уже являлась к нему Фортуна. Тогда она приснилась ему впервые. Не покровительствующие ему Венера и Марс, не всё более благосклонный Юпитер, а коварная Фортуна, единственная из женщин, которой он опасался.

Она внезапно появилась в палатке, глаза её блестели весело и азартно. Цезарь тоже смотрел молча. Он понимал, что Богиня предлагает ему сыграть.

Сенат с плохо скрываемым раздражением «не рекомендовал» этого перехода. Закон прямо запрещал. Нарушение было чревато гражданской войной. Цезарь чувствовал свою силу и одиночество.

Фортуна вдруг подкинула монету, та, блеснув, перевернулась в воздухе и упала на ровный земляной пол палатки. Фортуна была с ним и сулила ему победу. Цезарь кивнул.

Просыпаясь, он успел увидеть, как она выскользнула из палатки. С досадой подумал, что однажды часовой вместо гетеры пропустит к нему переодетого убийцу, и солдаты не удивятся, увидев выскочившую из палатки женщину. Он слышал однажды, как они пели у костра песенку «Прячьте жён, прячьте жён – мы вам лысого везём» с совершенно похабным продолжением. Он прощал солдатам. Цезарь знал, что солдаты гордятся им, боготворят его и клянутся его именем, а не именем Юпитера. Даже упоминание о лысине не сердило его, хотя лысина беспокоила. Цезарь любил носить лавровый венок, тот удачно скрывал плешь. Но не будешь же на войне одеваться парадно.

А выскочившая под утро из палатки женщина... Тут он вспомнил, что это был сон. Вспомнил, что он пообещал, и упрямо подумал: «к добру». Цезарь сел на ложе, нащупывая ногами сандалии, вдруг увидел на гладком земляном полу монету, и сердце его заколотилось.

Оракул обещал ему мировую славу и внезапную смерть. И то, и другое устраивало Цезаря. Мировой славы он ещё далеко не достиг, значит, время есть. Смертью же за жизнь расплачиваются все!

Объявляя войску о переходе через Рубикон, надо сказать: «Солдаты, жребий брошен!» – это будет хорошо, писцы запишут, подумал он, глядя на монету.

Юля подошла к зеркалу с умеренно поднятыми бровями. На лбу обозначились морщины. Она опустила брови.

– Впереди, Оль, по-видимому, победы, почести и слава, – сказала она, разглядывая себя в зеркале, – и если не гневить богов и отказаться от золотой статуи в родном посёлке с броским названием Столбики...

– Ты дура, – сказала Ольга с ужасом и восторгом.

– ...то боги, возможно, не допустят нанесения мне двадцати трёх ножевых ранений. А Клио позволит мне печататься в своих «Вопросах» за умеренный гононар.

Она повернулась к Ольге:

– А знаешь, легко как-то. Гай Юлий Цезарь, опять же, близок, как никогда. Поддай-ка телефон-то, брат Елдырин, звякнем в «Вопросы Клио».

По лицу подруги она увидела, что ту постигла вдруг мощная по глубине и трагизму мысль.

– Юль, извини, а если твой Рубикон давно уже позади, а это будет... уже агония?

– Одна я, Боги! Будет, Оль, что будет. Жребий, как говорится, брошен. Бог даст... Дай, говорю, телефон-то.

ОТКРЫТИЕ

Шёл один солдат, возвращался с последней войны. Война, та самая, дерьмовая: ни славы, ни прибытку, расход один да срам. Это в государственном масштабе. В личном плане тоже особенно не разжился солдат. Только последние ноги до крови стёр. Спасибо, не застрелили. Он на полустанке с поезда соскочил. Проводница гуманная оказалась: и чаем поила, и запах сапог стерпела. И вот, значит, солдат идёт. Идёт он босиком. Ноги подсушило вольным воздухом, пылью припошило, не хромает даже. Сапоги – через плечо, и портянками помахивает. Их выбросить нельзя, их выстирать, и они ещё хорошие. А то, что вид неинтеллигентный, так ведь не видит никто. По России от деревни до деревни можно долго идти и человека не встретить. Разве неистребимая российская старуха попадетсЯ. Но старух у нас не стыдятся.

Вот он до речки дошёл и решил себе привал сделать. Спустился под бережок, портянки выполоскал, на куст повесил, доел последний хлебушек, водой его запил и решил своему богатству ревизию сделать. А он не совсем чтоб уж пустой с войны шёл, не дурак же, в самом деле: он за пистолет и две гранаты фотоаппарат выменял, потому что пистолеты не всем нужны. Фотоаппарат хороший, не мыльница, на нём иностранными буквами написано бодрое слово «Практика». У солдата в детстве, еще когда отец не помер, увлечение было: книжки по фотографии и «Смена-8М». Так что он кое-что в этом петрил и цену фотоаппарату чувствовал.

Вот он развернул чистое вафельное полотенце и стал фотоаппарат рассматривать. Рассматривает и мечтает, как будет снимать виды. У них в деревне виды очень красивые. Ну и, конечно, мечтает он, в видискатель глядя, как эти виды в журналах печатать будут и на открытках, как уважение начнется и деньги солдату пойдут. Он про деньги не от бездуховности думал, а по крестьянской привычке. Солдат о городской жизни не мечтал. Нет, он и огород планировал, и скотину по минимуму. Также мечтал он о фотографии – «Мама на крыльце». Но особенно он мечтал снять девушку Таню у куста цветущей сирени и продумывал эту художественную идею и всякие волнующие подробности процесса съёмки.

Вот отвинтил солдат объектив и, глядя внутрь фотоаппарата, стал щёлкать. А там – кто знает – такие лепестки расходятся, открывают круглую дырочку и снова закрывают. И так это всё тонко сделано, и так чисто и мягко работает, как живое открывается что-то, – загляденье. Насмотрелся солдат, завернул богатство в вафельное полотенце, решил, что спать не будет, и пошёл дальше.

Шёл он, шёл и все-таки дошёл до своей деревни. Там непонятный процесс при виде солдата начался. Некоторые от него шарахаются, некоторые, наоборот, бдят из-за заборов и занавесок. Чует солдат недоброе, но идёт. У самого его дома подошёл к нему пастух Колька-змея. Колька был нестарый, но зубов у него было только два, как у змея. И яду, как у Горыныча. Колька и говорит: «Здравствуешь, солдат. Дак ты не знаешь ничего?» Солдат говорит: «Чего?» Колька говорит: «Мать твоя померла, как похоронку на тебя получила. А ты, значит, живой? Вот бляди».

Солдат: «Как – похоронку?» – и огляделся, как будто хотел мать увидеть. А увидел только, что вся деревня, не скрываясь, смотрит в окна да через калитки. «Могилу показать?» – старается Колька-змея. Колька хотел, конечно, свою выгоду поиметь, в смысле поминок солдатской матери, но солдат не глядя на пастуха, побрёл к дому, хотя что туда идти, там небось растаскали всё. От этого пастух обиделся и крикнул в спину солдата: «А Танька замуж вышла!» «Врёшь», – солдат обернулся. «Вышла-вышла, – мстительно сказал двузубый змей, – ещё ты живой считался. Мать тебе не стала писать». «Ещё я живой считался...» – повторил солдат в задумчивости.

Зашёл солдат во двор, медленно прошёл мимо дома и через огород (там сзади калитка была) вышел на тропинку, что в лес вела. Что это правда всё, он сразу понял и по Кольке, и по соседям, которые по щелям жались, но интересовались сильно, как он себя поведёт. И решил солдат помереть, пожалев впервые, что пистолет выменял.

Пришёл солдат в лес. Так в нём пусто стало, что он понял: умрёт сам, без внешнего насилия. Перекрестился солдат – на ёлку вышло. Повернулся – опять ёлка. Так несколько раз перекрестился, а всё на ёлки, как нехристь языческий. Тут он опомнился, что с матерью не попрощался, и на кладбище повлёкся длинной дорогой.

Могилу нашёл быстро. Крест соседи хороший сладили и карточку мамину под целлофан прилепили. Карточка – чёрно-белая, мама на ней – молодая. Фотографировалась она, как работала, старательно: чтобы спина прямая, губы аккуратно сложены, взгляд напряжённый, чтобы не моргнуть. Платье на фотографии было чёрное в белый и серый цветок. Солдат вспомнил это платье мамино – по синей земле букетиками белыми и голубыми. Лёг солдат на землю и стал плакать.

И вдруг сила из него ушла в землю, и от этого душа освободилась и, не чувствуя привязанности, воспарила над солдатом. И видит он, что небо открылось, как шторка в фотоаппарате, голубые лепестки как бы раздвинулись плавно, и там темно-синее круглое отверстие: лети, мол. Тёмно-тёмно-синее круглое окошечко, как мамино платье. И вспомнив о фотоаппарате, как о деле несделанном, душа очнулась и раздумала улетать, хотите верьте – хотите нет.

Солдат вернулся в деревню и пил-то всего сутки. Даже соседи осудили за это: мол, погоревал-то всего ничего, сразу давай крыльцо ладить, бесчувственный какой. Вскорости женился, но это – дело обыкновенное.

А вот что это было? Когда небо открылось? Что за видение? Он ведь ясно видел это открытие?

Нет, есть что-то! Что-то есть...

ФИМА ПРИЕХАЛ

Рассказ

Здравствуй, Фима, вот и ты, заждались. Я уже издёргался, мало ли – дороги худые, гололёд... проходи, родной, будь как дома. У нас, конечно, не люкс, провинция, понимаешь ли, глухомань. Но уютно. И, главное, душевность у нас здесь присутствует, что, согласишься, сегодня редкость.

Что-то не нравишься ты мне, Фима. Квельый ты какой-то, нездоровый у тебя вид. Улыбнись, родной. У нас такой вечер образовался. Сейчас отужинаем, вкусно отужинаем. И заметь – исключительно натуральнейшими продуктами.

Наташенька, как там ушица? Гость с дороги...

Фима, пока уха поспеет, не побрезгуй: огурчики сами солим, с хрустом огурчики, грибочки опять же, судачок, утром отловленный, сметанка. Такой сметаны, Фима, ты отродясь не пробовал, ты погляди: её ножом резать надо. Наташенька, пельмешки забросила? У нас вчера аврал был – пельмени лепили к твоему прибытию. Сей момент мы их с этой вот сметаной и восчувствуем.

Фима, не капризничай, ты мне нужен здоровый, сытый и весёлый. Давай, прием за знакомство. Я водочкой побалуясь, ты, знаю, водки брезгуешь. Правильно делаешь, тебе сам бог велел беречься, с твоими-то богатствами. Для дорогого гостя мои ребята расстарались, вот «Сотерн» восемьдесят четвёртого года, видишь, всё знаем. Позволь налью, и закуси щучьей икоркой, сумасшедшее получается послевкусие. От вина – медком, и тут же горечь пикантная, оцени.

Фима, успокой уже нервы. Я же сказал, у нас исключительно душевная атмосфера. Ногти тебе выдёргивать не будем, горячий паяльник вставлять в разные места также не намерены. Вообще – никакого насилия. Я не терплю грубого обхождения, Фима...

А вот и уха, спасибо, Наташа. Ты пока не ешь, ты ноздрей аромат поймай, теперь присыпь перчиком, и быстро-быстро, пока обжигает...

Фима, ты меня огорчаешь. Ослабнешь ты так. Повторю, ты мне нужен здоровый и бодрый. Ежели мы к консенсусу, как любил говаривать нехорошей памяти бывший генсек, не придём, тогда у тебя вид должен быть товарный для последующих действий.

Сейчас объясню.

Ты же понимаешь, Фима, мы отнюдь не из спортивного азарта всю эту катавасию затеяли. Это, Фима, наш бизнес. И потрудились мы до седьмого пота, прости за избитую фразу. Возьмём, к примеру, меня. Я уже в годах, а пришлось переспать, почитай, с половиной дамского персонала твоей богадельни. Как иначе собрать информацию? Только через постель. Женщины – существа общительные. После удачного перепихона начинают щебетать, только слушай: «Ефим Петрович уехал, Ефим Петрович приехал... в Ландоне, в Швейцариях, в лазурных водах. Ой, сегодня тороплюсь – назавтра сводку шефу...» Я, Фима, поминутно твои действия знаю за последние полгода.

Правда, не одной только постелью. Вот Сашок сидит, он как тень за тобой по Европам следовал. А траты какие. За тобой ходить – дурных денег стоит. Но вку-

сы у тебя, Фима... в каком шалмане тебя воспитали? При твоих-то деньгах – и такое непотребство. Стыдно, Фима, неприлично просто.

А вот Ипполит Афанасьевич. Он твоими финансовыми импровизациями интересовался пристально. Тоже хлопоты: пришлось пожилому человеку всю Россию объездить. Здорово ты покурлесил, Фима. И ведь что удивительно, чрезмерным интеллектом ты не обременён, образования никакого, действуешь без фантазии, топорно действуешь, скажем прямо... и такие барыши! Как тут не посетовать на времена и нравы, прости, Господи.

Правда, у тебя ума хватает с властью делиться. Поначалу ты мелюзгу подкармливал, после – мелкопоместных царьков покупал, а нынче... и подумать боязно, какие рты ты кормишь. Ну, здесь ты верно мыслишь: те, которые жадничают, – тапочки сегодня шьют за полярным кругом. Так что, Фима, всё у тебя смазано и жизнь налажена. Но, родной, бытие наше полно сюрпризами. Вот вдруг нежданчик – мы, окаянные, нарисовались.

Придется тебе, Фима, чуть-чуть поделится своими богатствами. Но ты особо не переживай, мы люди не жадные, нам много не надо. Токмо компенсировать затраты и немного сверху, на конфетки.

Кстати, Фима, ты надежду в глазах погаси. Пока ты в отключке был, ребята тебя обследовали – так в анатомичке не осматривают. Жучок, который на твоём пальто присутствовал, вместе с тем пальто ушёл в мусорный ящик. Очень может быть, что орлы из Конторы в эти минуты на свалке какой ковыряются. А второй жучок утонул в пруду, в Измайлово, – пришлось дырку во льду долбить. А то место, где мы сей момент находимся, – это такая дыра, тебя тут и ЦРУ не найдёт.

Расслабься, Фима, и постарайся, как в том анекдоте, получить от происходящего максимум удовольствия.

Наташа, волшебница ты наша! Фима, погляди какие пельмешки. Не желаешь? Ну, посиди, поскучай. Мы червячка заморим и сразу же продолжим беседу.

Так вот, Фима, вернёмся к нашим баранам. Либо мы сегодня заключим договор на предмет обмена тебя, драгоценного, на определённую сумму, либо буду я вынужден тебя продать. Да-да, именно продать, за деньги. Что удивительно, не ожидал я, что на тебя мог образоваться такой спрос.

Во-первых, самые высокопоставленные господа из одной горной республики жаждут тобой обладать. Ты ведь догадываешься, каких господ я имею в виду? Догадался, вижу. И знаешь? Дурные суммы предлагают! Но я колеблюсь. Я представляю, что там с тобой могут сотворить, – жуть, а у тебя детишек, как тараканов в коммуналке. Не хочу брать грех на душу.

Опять же исламисты разные очень заинтересованы.

И что меня больше всего озадачило – соплеменники твои живейший интерес проявили. Был у меня разговор с гражданами Земли обетованной, с криминальным уклоном, правда, эти граждане, но торгуются, что твои малые операторы в синагоге.

А ещё наши родные уркаганы очень желают иметь тебя в собственность, временную. Эти не торгуются.

Так что, Фима, предоставляю я тебе право свободного выбора. Нас тут, как видишь, четверо. Есть ещё пятый, но его тебе лицезреть не стоит, в твоих же интересах. Мы его так и будем называть в дальнейшем – Пятый.

Вот на всех мы и хотим получить с тебя, Фима, двадцать пять лимонов американских денег. Для тебя это пустяк, мелочь, а мы обеспечим себе скромную жизнь где-нибудь на островах с благоприятным климатом. Правда, Наташа уезжать ни в какую не желает. Не может она существовать без родных просторов... Кстати, Фима, я уже позволил себе раз усомниться в качестве работы твоего мозгового аппарата. И ведь прав я в своих сомнениях: что за глупость – держать качков в

личной охране? Это ведь приматы форменные, с них толку – ноль. Как Наташа твоих амбалов положила, а? Ты погляди, каков дуэт – Наташа и Сашок. Это, дорогой, особый купаж. Сашок тебя выдернул, как шпроту из коробочки, – небрежно, артистично, можно сказать, выдернул. А Наташенька, краса наша и гордость, – шестерых дебилов по асфальту размазала, ладошки отряхнула и триста вёрст по замёрзшим дорогам машину гнала.

Вот такие кадры, Фима, надо подбирать. Как поучал небезызвестный Иосиф Виссарионович – кадры решают всё.

Кстати, Фима, ты не думай дурного, если мы сговоримся, никто тебя после взаиморасчёта мочить не будет. Неважно, что ты с нами познакомился, опознать сумеешь – я тебе даже позволю уехать без повязки на глазах и прочих глупостей. А знаешь, почему? Есть ведь ещё Пятый – очень колоритный товарищ. Наташенька наша перед ним – Дюймовочка. Если вдруг тебе придёт в голову пошлая идея жаловаться на наш произвол, или, не дай Бог, заказать нас, – Пятый тебя найдёт и освежает. У него любовь к человеку отсутствует напрочь. И забавы у него весьма специфические. Например, любит он надпяточные сухожилия объекту подрезать, заведенные за спину ручонки привязать накрепко к яйцам и подпалить волосы на лобке, побрызгав предварительно керосином. При этом фиксирует, негодяй, всё на камеру. Он мне как-то демонстрировал запись – очень впечатляет...

Ну ладно, день был трудный, пора и на боковую. Ты, Фима, спать, естественно, не хочешь – поработай. Вот тебе бумага, вот карандаш, вот здесь счета указаны, куда деньги должны упасть. Наташа любимый твой зелёный чай заварила. Посиди, родной, подумай. К утру изобрази мне умную схему, как будешь денежки переводить. Фима, судьба твоя – в твоей же руке, той, которая карандаш будет держать. Если мне понравится результат – завтра вечером семью обнимешь. Если нет – не обессудь, начну я связываться с покупателями.

И ещё – дам тебе один совет. Коли мы расстанемся по-хорошему, возьми Наташеньку на службу, попробуй уговорить девочку. Уезжать она не желает, без дела заскучает, а с такой вот барышней, да в личные секретари, – гарантирован ты будешь от неприятностей, подобных текущим событиям... Ну ладно, шучу, шучу, ишь – в лице изменился. Ну всё, остальные удовольствия – утром. Мы, Фима, встаём с рассветом...

ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНКИ

Миниатюры, эссе

Мэрка, хлеб и свобода

Каждое утро одна и та же история.

Внимательно смотрит на меня, машет хвостом, но подходить не торопится. Вдруг припадет на передние лапы и нетерпеливо, с душой, взвизгнет. На его черно-белой физиономии явственно борются два чувства: есть хочется – и не хочется садиться на цепь. Ой, как не хочется!..

Однако пора, ночь прошла, набегался. Я достаю из кармана кусок хлеба, а другой рукой поднимаю цепь с ошейником.

Надо видеть его в эти секунды! Носится в нескольких метрах от меня, горестно лает, бросает укоризненные взгляды. Но голод все же берет верх, и щенок приближается ко мне. Даю хлеб и тут же накидываю ошейник на крепнущую с каждой неделей холку.

Хлеб мгновенно проглочен, я беру миску и иду в избушку – приготовить что-нибудь поосновательней. Оглядываюсь, и мне становится совестно. Мэрка с цепи не рвется, он все понимает, но, Боже мой, сколько тоски и печали в его глазах!..

Кажется, еще древние римляне сказали: когда есть хлеб, нет свободы. И наоборот.

Увы, Мэрка, увы.

Последняя гулящая

Гулящими я зову деревенских коров. В самом деле гулящие. Как только проклюнется трава, так до самых заморозков гуляют сами по себе. Окрестная тайга, пойма Ваха, деревенская улица – где только коров не встретишь. И никаких пастухов при них. Могут прийти во двор на дойку, а могут не прийти – бегай тогда хозяйка, ищи сама, мобилизуй детей на поиски. А то ведь перегорит молоко в вымени, горьким станет.

Выхожу как-то сентябрьской ночью на крыльцо. Что такое? В тишине характерный звук подбираемой под корешок травы. Сообразил не сразу. Едва угадываемая темная масса за оградой медленно движется, дышит, щиплет остатки осеннего бурьяна... И то сказать, через неделю-другую поставят в стайку на долгие месяцы зимней тесноты и несвободы. Коровы, похоже, это чувствуют и напоследок не уходят с улицы даже ночью.

А одну, самую упорную, я видел уже по снегу. Возвращаюсь от колонки с двумя ведрами воды и опять, как тогда ночью, слышу странные звуки. На этот раз будто без охоты трясут дерево с сухими листьями. Над первым снегом все слышно далеко и удивительно ясно. Оглядываюсь – и метрах в ста вижу буренку, объедающую спиленную, должно быть, еще летом и выброшенную за ограду разлапистую ветку.

Пошуршит скоробившимся бурым листом, поднимет жующую морду и медленно посмотрит вокруг. Все окрест белое, непривычное, нигде ни травинки, тревожно пахнет дымом из печек...

Нет, лучше уж в стайку, думает, должно быть, корова. Там сытнее и спокойней. И глубоко, всей утробой, вздыхает.

Живое

Двое суток мело, ветер сумасшедше метался вокруг дома, тяжело бился в стены, наносил островерхие, будто спины динозавров, сугробы.

В такие дни мир суживается до размеров комнаты, где только и возможна, кажется, жизнь. А за ее пределами – гибельный лёт снега, мутный хаос, вселенская стужа. Жалобно позвякивает печная задвижка, и раскачивается, скрипуче трется о бревенчатые стены избушки высокий шест с телеантенной.

Но все проходит. И вот – тихий день, низкое слепящее солнце, чистое небо, почти фиолетовое в зените и бирюзовое по горизонту. Мой безупречный флюгер – флаг над деревенской администрацией – вяло опал, ни малейшего шевеления... Навероятно!

Выхожу по накопившимся делам во двор. Гремя цепью, появляется из своей будки Мэрка, потягивается, далеко выставив передние лапы, и не по-собачьи громко, с подвывом зевает. Выглядит он вполне благополучно: двое суток спал, а выбирался из будки во время пурги лишь затем, чтобы полакать горячего.

Больше – никого. Тишина, ни одного живого существа. Непогода словно выморозила всех или замуровала под снегом. Даже молчаливых северных сорок не видно, хотя их раньше было вокруг порядком.

И вдруг такой знакомый незамысловатый голосишко! Я замираю, губы сами собой разъезжаются в улыбку. У дровяника прыгают несколько воробьев. Здесь снег вымело до земли и оголились сухие кустики трав с семенами. Они-то и привлекли воробьев. Воробьи суетятся, теребят былинки, бойко, сметливо поглядывают по сторонам.

Живы курилки, перенесли и мороз, и пургу, опять полны своего воробьиного оптимизма!..

Я стараюсь не двигаться, чтобы не спугнуть их, дать наклеваться семян. Но тут ныряющим лётom пронеслась синица, прозвенела что-то, и воробьи тотчас срываются за ней. Видно, есть где-то корм получше.

Стою, смотрю им вслед. Уже и морозец прихватывает уши, и Мэрка требовательно взлаивает, хочет есть. А я все стою и смотрю в ту сторону, куда исчезли воробьи.

Словно с друзьями расстался.

Пир в начале зимы

В стаи сороки собираются чрезвычайно редко. А если уж собрались – значит, что-то произошло. Например, в соседском дворе забили бычка.

Событию самое время. Уже морозно, уложенное в железную бочку и присыпанное снегом (чтобы не вымерзло) мясо будет без проблем храниться всю зиму. А негодную требуху, свернувшуюся черную кровь хозяева вывалили за ограду.

Радость великая не только для деревенских собак, но и для сорок. Похоже, они собрались со всей округи. Снег испятнан их пестрыми телами. Сороки деловито снуют, нахально выдергивают куски из-под носа у собак. Но те на них не в обиде – всем хватит. Хотя, конечно, для порядка поднимают измазанные кровью морды, рычат и делают вид, что хотят броситься. Сороки отлетают на метр, но секунду спустя опять принимаются за свое.

Пир продолжается день, а то и два. Все это время за бревенчатой стеной стайки перетапывается, тревожно взмывает корова. Она никак не может понять,

куда подевался ее бычок. Хотя могла бы уже привыкнуть – такое происходит каждый год...

Незамысловатый слепок нашей жизни. Одним радость, другим горе. То и другое по одному и тому же поводу.

Закаты

Удивительные закаты бывают зимой. Чистый нежный свет заполняет полнеба, переходы от розового к палевому, потом к изумрудному и светло-синему почти неуловимы. Впечатление глубины и неохватности простора над притихшей вечерней землей.

Скучными и ненужными в этот час кажутся и желтые огни деревни, и черные, резко обрисованные верхушки елей на шафранном фоне внизу заката, и сумеречно синий снег.

Смотрел бы и смотрел не отрываясь на чистый простор на западе, на сокровенный нежный свет зари. И молчал бы благодарно, затаив дыхание.

В такие минуты верится, что есть душа. И что она бессмертна.

Дрейфующий во льдах

Про себя я зову его «Фрамом». Взгляд каждый раз спотыкается о него, когда я смотрю с высокого берега Ваха вверх по течению. Вмерзшее в реку далекое суденышко, одинокое на ровном снежном просторе, чужое среди прибрежной тайги и редких следов «Буранов». Отсюда оно кажется странным, загадочным.

Сравнение с «Фрамом», конечно, неточное. Там – Северный Ледовитый океан, мужественный норвежец Нансен, корабль, специально построенный так, чтобы его не могли раздавить мощные льды. Здесь – заурядный работяга буксир, по небрежению или обстоятельствам оставленный зимовать посреди реки...

Все так. Но почему почти физически чувствуешь одиночество этого брошенного людьми суденышка, его упорное стремление к обжитому берегу? Тяга, чудится мне, такова, что полуметровый лед потрескивает под ее напором, вот-вот разойдется зигзагами похожих на молнии трещин.

Так, наверно, и «Фрам» стремился сквозь бесконечный ледяной простор и промороженную полярную ночь к людям, одинокий и неприкаянный среди пурги и выжидающе бродящих вокруг белых медведей.

Сделанное человеческими руками выглядит без человека сиротливо. Оно чуждо природе, великой и равнодушной. Это так ясно понимаешь, глядя с высокого берега на замерзший вдали кораблик...

Тревожные птицы

И раз, и другой замечаю на окне синичку. Стремительно появляется в углу рамы, беспокойно крутит головой, словно старается кого-то высмотреть через стекло. В ее маленьком быстром тельце, в цепко ухватившихся за крашеное дерево лапках мне чудится что-то тревожное, какая-то недобрая весть.

Ведь было же. В напряженном ожидании сидела едва ли не вся родня в городской нашей квартире, ждали у телефона, чем закончится тяжелая операция. И вдруг в стекло стал биться голубь. «То Артемова душа, – заплакала бабушка, – нет его больше!»

Слава Богу, отец в тот раз остался жив. Но то, что он был между жизнью и смертью, совершенно точно. Позже я сопоставил время. И может, отлетевшая душа превратилась в птицу, понеслась к своим, чтобы попрощаться. Кто знает, как оно бывает там, на грани...

Бросаю все дела и, проваливаясь по колено в свежавыпавшем снегу, иду за деревню, на релейку. Не слишком послушными пальцами набираю мамин номер. Немного отпускает, когда слышу ее особенно дорогой сейчас голос. «А как у Лени?» У брата тоже все в порядке. Несколько секунд сижу неподвижно, будто после тяжелой, взявшей все силы работы.

– Пап, ты знаешь, синицы дергают из щелей вату, – встречает меня дома пришедший из школы Никита. – Мы с тобой конопатили окна, а они вытаскивают. Для гнезда, наверно.

Смущенно улыбаюсь. Вон, оказывается, в чем дело!.. Но я не расстраиваюсь, не досаую на птиц. Милые, да хоть всю вату из рам выдержайте! Я вам целую упаковку дам, сам к гнезду принесу!..

Лишь бы все хорошо было.

Минус пятьдесят

Такого в городе не услышишь. Там суетливо и шумно, а нужны тишина и сосредоточенность.

Мороз под пятьдесят. Тихо так, что слышен злой визг снега под чьими-то ногами на другом конце деревни. И то лишь изредка. В такую стужу люди сидят по домам, топят печки, а на улицу выходят при крайней необходимости.

Топим печку и мы. Дров уходит уйма, в очередной раз одеваюсь и иду в сарай к поленнице. На минуту задерживаюсь во дворе. Горизонт затянут мутной пеленой, которая бывает только в большие морозы. Ни Шаманской горы, ни леса на той стороне реки не видно. И полная, какая-то неестественная тишина. Такую, наверно, и зовут мертвой.

Впрочем, нет. Легкий шуршащий звук все же можно расслышать. Он где-то рядом, но откуда идет – не могу понять. Звук возникает и пропадает с периодичностью моего дыхания. Отлетит от лица облачко, и секунду спустя – тихий шорох, будто разом лопаются пузырьки в открытой бутылке с минералкой...

Да ведь это замерзает пар от дыхания! Почти сразу превращается в кристаллики льда, и те, невидимые, таинственно шуршат, трутся друг о друга...

Бывает же!

Тропинки

Февраль – кривые дорожки... Для малоснежной европейской зимы такое утверждение, быть может, и справедливо. В Сибири же все по-другому. Задуют февральские ветры, наметет на тропинки сугробы, а деревенский люд не очень-то старается их обходить, натаптывать новые дорожки. Так напрямик и двигает по старым следам, порой утопая в снегу по колено.

Эта бескомпромиссность показалась мне странной. И я решил поступать иначе. Как-то, встретив на пути наметенный за ночь сугроб, шагнул в сторону, собираясь благоразумно обойти...

Снег вытряхивать пришлось долго. И добро бы только из валенок, а то из карманов брюк и даже куртки. Ухнул, что называется, по пояс.

Что ж, всякий опыт имеет свою цену.

О зимней свободе передвижения

Сразу оговорюсь, речь о «безлошадных». Для владельца «Бурана» особой разницы нет, что начало зимы, что конец. Ему главное, чтобы снег был. А вот для пешехода...

Лучше всего в конце октября. Снега еще мало, и ходи себе где хочешь – хоть в лес иди, хоть по деревне углы спрямляй. В начале зимы, как летом. Даже свободней. Потому что болота подмерзают, можно ходить уже и по ним. Братъ, например, клюкву там, где она в обычное время недоступна. Делов-то – смахнул с кочки легкую порошу и выбирай темно-красные ягоды, твердые, как бусины.

Но катятся один за другим дни, недели, все подваливает и подваливает снега. Смотришь, уже и в лес без широких, надежно держащих лыж-подволоков не сунешься. И по деревне нужно ходить только по дороге или по редким натоптанным тропинкам. Можешь, конечно, двинуть напрямик, если имеется такое желание. Только получится себе дорожке – снега в валенки наберешь и запыхаешься, штурмуя снежную целину.

И уж совсем строгие времена наступают в феврале-марте. Свобода передвижения жестко ограничена, будто живешь по армейскому уставу. Мало того, что морозно, из дома лишний раз не выйдешь, что само по себе уже несвобода. Так еще ходить изволь только по дороге. Из-за сугробов до березы, что в двух метрах от дороги, не доберешься. О лесе или пойме Ваха говорить не приходится – недоступны. Там снега по пояс. Утонешь.

Одно и остается – ждать весну. А с ней свободу ходить, где душа просит.

Образ

Сосульки вдоль кромки крыши смахивают на клыки – прочные у основания и опасно заостренные на конце. Часть из них хищно загнута (когда росли, дул ветер), и это усиливает сходство.

«Оскал зимы», – думаю я. Но тут же ловлю себя на мысли: сосульки – признак весны, при чем здесь зима?.. Хромает образ.

Но верткий ум не хочет сдаваться. Признак весны – вода, а если она не течет, не капает, а замерзла – это признак зимы, ее оскал. «Как бы не так, – не соглашается трезвое благоразумие. – Снег, сугробы – вот зима. А сосульки – предвестие весны!..»

В конце концов приходим к компромиссу. Сосульки – оскал уходящей зимы. А что, неплохо.

Утки

Не знаю, поймете ли меня, особенно если вы охотник. Но каждый раз, когда я вижу колыхающуюся, как бы переливающуюся в воздухе утиную стаю, в голову приходит одна и та же мысль.

Эти небольшие, суетливо бьющие крыльями птицы прилетели к нам, миновав огромные пространства. Едешь, скажем, из Москвы до наших мест в поезде – и то устаешь, хотя не прилагаешь никаких усилий. А им, уткам, каждый метр их воздушного пути надо преодолевать. И расстояния, которые они покрывают, намного большие, чем от Москвы до наших мест. Орнитологи утверждают, что за время перелета птицы набивают костные мозоли. Не знаю, что болезненней – кровавые мозоли или костные.

И вот прилетели. Родные места встречают их не очень приветливо. Большинство рек подо льдом, и надо искать редкие оконца чистой воды. По крайней мере так было в этом году. А тут еще пронзительный ветер с севера, или вдруг пойдет снег, морозец прихватит. Человеку что, он в доме спрячется, печку затопит. Уткам же надо терпеливо мерзнуть, стойко пережидать, надеясь, что инстинкт не подвел, не сорвал раньше времени с теплых и богатых кормом болот где-нибудь в

дельте Нила. И хорошо еще, если запоздалая весна – единственное испытание. И если опустились утки на дальних озерах и малых реках, куда человеку добраться непросто...

Гулкие выстрелы рвут майские сумерки. В испуге затаилось все живое. Ладно бы, голодали семьи у охотников, упрекающими глазами смотрели бы жены, мол, давно не было в доме мяса. Так ведь нет. По крайней мере, у большинства из них. Просто тешат свой инстинкт – пещерный инстинкт убивать.

Выстрел – и падает трепещущее от боли тельце. Выстрел – и оказываются напрасными многокилометровые перелеты, холод и голод ранней весны, мозоли на крыльях...

Не понимаю.

Не хочу понимать.

Время

Неумолимость времени, как ни странно, особенно чувствуешь весной.

После недели тепла и солнца вдруг холодные дни с мокрым снегом и низким небом. Нелюдимо насупился лес вокруг деревни. Кажется, в такую пору весна останавливается и затаивается, будто зверек, пережидаящий непогоду.

Но выходишь из дому и понимаешь, что все не так. Холодно, но со вчерашнего дня заметно прибавилось пепельного цвета побегов на рябине, зеленее стали пригорки, и в пронзительном ледяном воздухе все тянутся и тянутся на север утиные стаи.

Двойственное чувство охватывает тебя. Радуюешься напору весны, которую ничем не остановить – ни холодом, ни снегом. Но и пугает такой напор – неотступный, цепкий, почти остервенелый.

Это не весна сама по себе. Это – время. Сейчас время расти, зеленеть, тянуться вверх. А с первыми сентябрьскими днями, быть может, раньше – время гибнуть.

И не остановить это движение. Ни даже задержать.

Время – одно из имен смерти.

А черемуха...

У Толстого в «Казаках» есть удивительное место. Его герой едет на Кавказ, и еще среди ровной степи ему вдруг открываются далекие заснеженные вершины. На что бы с той поры ни смотрел герой, о чем бы ни думал, он постоянно помнит: «А горы...»

Пожожее ощущение было у меня, когда цвела черемуха. Пройдет ли человек по деревянному звучному тротуару у нашей избушки, проедет ли редкая машина – смотрю в окно и сразу же натыкаюсь взглядом на цветущее дерево.

«Черемуха!..» – радостно отзывается душа.

Выхожу на крыльцо и первое, что чувствую, это густой, тяжелый аромат.

«Черемуха!»

Вожусь у расправляющей нежные листья малины или готовлю грядки под огурцы – вдруг наплывает, подавляя все остальные запахи, мощная душистая волна.

«Черемуха!..»

Привыкнуть к ее запаху невозможно. Он плотным облаком обволакивает двор, огород, часть улицы. Кто только не слетается на этот запах – ровное гудение окружает крону в неброских белых соцветиях.

И всю неделю, пока цветет черемуха, меня не покидает ощущение праздника, почти что счастья.

Благодарение

Вот я и сам уже дед, а все вспоминаю свою бабушку Глафиру Матвеевну. Невысокая, грузная, она стоит на коленях перед образами и шепчет:

– Отче наш, Иже еси на небесех...

Позади наполненный бесконечными крестьянскими заботами день, подоена коза, закрыты в хлеву куры. Горит на столе керосиновая лампа, мы с братом (оба приехали на летние каникулы) устроились с книжками по краям стола, читаем.

Вслушиваюсь в полупонятные церковно-славянские слова молитвы и не могу взять в толк, за что бабушка благодарит Бога. День как день, скучноватый, обыденный. В Ямполе, где остались отец и мама, намного интересней – друзья, кино, купание в Днестре...

Бабушка шепчет молитву и крестится. Из-под потолка на нее смотрят непрелюбимые лица святых. В окладах из фольги дробится свет лампы...

Это я уже потом пойму, за что благодарение. Бабушка, потерявшая на войне мужа и пережившая много других горьких событий, благодарит Бога за самое простое. За то, что ничего плохого за день не случилось. Что жива-здорова сама и не бодем мы, ее дети и внуки. Что не голодаем, не мерзнем, что есть крыша над головой...

Обычные вещи, которые не замечаешь, когда все хорошо. И которые становятся недостижимым счастьем, если случается беда.

Меньше меньшего...

Только вечером и можно рассмотреть этих мошек. Светясь полупрозрачными крылышками, они толкуются в пологих лучах солнца. Кажется, каждая окутана сияющим нимбом. Вдруг какая-нибудь из мошек резво подскочит вверх в переменчивом роящемся столбике. Потом опять провалится вниз. За ней другая, третья... И так – час или полтора, пока не станет прохладным солнце.

Что означает этот танец едва заметных существ? Для чего? Какая у него цель?..

Я где-то читал, роение мошек (на первый взгляд, бессмысленное) – это брачные игры. Оплодотворенные микроскопические личинки падают в траву. Чтобы через какое-то время стать новыми мошками. Всего на день или два – такой у них век.

Среди мыслей, которые возникают, когда видишь этот колеблющийся столбик, есть пронзительные. Как чувствуют мир эти крохотные существа, столь отличные от нас и пришедшие в него на такой короткий срок? Как воспринимают свет солнца, запахи травы, упругость воздуха? Время, наконец?..

Между ними и нами – бездна. Но есть и общее: дышим, двигаемся. Они по-своему, мы – по-своему, но любим...

Как все-таки странна Жизнь. И непостижима.

Мера

Долго не могу понять, чем так хорошо пахнет.

Запах тонкий, нежный, едва осязаемый. В огороде ничто так пахнуть не может, да и рано – зелень на грядках только-только пробилась. У черемухи в палисаднике запах другой, к тому же она уже отцвела. Дело сделано, идет молчаливое таинство, завязываются плоды, так что завлекательные ароматы черемухе уже ни к чему.

Как гончая, берущая верхним чутьем, иду на запах. Это непросто – он то есть, то пропадает. Впору рыскать из стороны в сторону, как настоящая гончая, ловить в воздухе нежной ток.

Сухой древесный запах избушки, горьковатый – черемухового ствола, пресно пахнет затененная редкая трава в палисаднике... О рябине-то я и забыл! Она притулилась в конце палисадника, именно сейчас и цветет. Но напоминать, как рябина пахнет, мне не надо. Мылом. И не туалетным, ароматизированным, а зловонным хозяйственным. Однако пахнуть вокруг больше нечему, и я на всякий случай тянусь носом к одному из пышных соцветий...

Лучше бы я этого не делал. И что может привлечь в этой вони букашек, самозабвенно копошащихся в бело-зеленоватых розетках?!

Но чем дальше отхожу от рябины, тем сноснее запах. Разбавленный воздухом, он в конце концов становится приятным, приобретает изысканную пикантность, тонкость...

Все-таки великое это дело – чувство меры. Только с ним и возможна гармония.

Терпение буксиров

С нашего огорода Вах как на ладони. Конец июня, но вода в реке еще прибывает, все ниже становится кромка противоположного берега. Заливные луга на той стороне вполне соответствуют своему названию – покрыты мелкой водой.

Но не на это обращаешь внимание прежде всего. Суда на реке – вот предмет интереса. Ловишь себя на мысли, что за зимние месяцы соскучился по их виду.

Большие, с двухэтажной рубкой теплоходы, толкающие перед собой тяжело груженные баржи со щебнем – кажется, вода вот-вот захлестнет низко сидящие борта. Теплоходы поменьше, гонящие вверх по течению одну, а то и две аппарельки, прилепившиеся к их бокам. Какой-нибудь чумазый буксир, натужно тянущий на длинном тросе посудину с жилым вагончиком и выдавшим виды бульдозером... Заказчикам не до шика, фрахтуют любые суда, лишь бы успеть по большой воде доставить на место грузы.

Смотришь, как появляется из-за поворота реки такой буксир, как томительно медленно, по-черепашьи двигается в твою сторону. Ты уже половину грядки успел прополоть, а буксир все еще на подходе, никак не одолеет эти несколько сотен метров.

Невольно думаешь: а ведь впереди у него сотни не метров, а километров! Какое надо иметь терпение, чтобы одолеть этот путь, его выматывающие душу медлительность и однообразие!..

Не так ли и наша жизнь? Достигает цели тот, кто последователен и упорен. Кто способен преодолеть тоску и медлительность бытия.

Терпеливые буксиры на реке – метафора жизни.

Колыбель для шмеля

Подсолнухи в наших краях не вызревают. Если даже посадить их рассадой, зацветают только в августе. А что такое август? Почти осенний месяц. Частое ненастье, холодные дожди, а то и первые утренники, серебристые толевые крыши саераев и стаек.

...Один из таких дней. Напористо дует сырой ветер, летят первые желтые листья с берез. Подсолнухи на этом безрадостном фоне – как маленькие солнца. Они впитали в себя частичку лета и упрямо не хотят расставаться с ней.

Подхожу к одному из подсолнухов. Тарелка повернута «спиной» к ветру, на ее изжелта-оранжевой середине шмель. Лакированные черные лапки, полосатое мохнатое туловище, хитиновая голова – всё в пыльце. Шмелям сейчас несладко. В буквальном и переносном смысле – из цветущих растений остался разве что тысячелистник. Так что подсолнухи пользуются повышенным вниманием шмелей.

Но этот почему-то не двигается. С неуклюжей хлопотливостью не ползает по бесчисленным, концентрическим кругами расположенным пестикам, не залезает в них хоботком. Пригрелся в уютном затишке, задремал. А подсолнух раскачивается под ветром и навевает, должно быть, шмелю сны о лете...

Счастливец

Сентябрьский солнечный день. Воздух на улице холодный, с предзимним льдистым привкусом. Горизонт далек и чисто выметен ветрами.

А в теплице почти лето. Убраны кусты помидоров, пахнет нагревшейся сухой землей. Рассеянный солнечный свет в небольшом замкнутом пространстве создает ощущение уюта.

Вдруг слышу кузнечика. Самого его не видно, где-то сидит в уголке теплицы, самозабвенно стрекочет, радуется жизни. Совсем не подозревает, что это один из последних погожих дней. Дальше – дожди, холод, гибель...

Может, это и есть счастье – не знать, что тебя ждет?

Десант в лето

День в сентябре. Холодно и ветрено. Большое солнце изредка мелькает среди быстрых облаков. Безднадежностью веет от почерневшей крапивы у забора, от огуречных плетей, недавно еще всю зеленых, буйно расплзавшихся во все стороны с грядки, а сегодня – побледневших, почти желтых...

Что ж, осень. Северная, ранняя. Тоскливо вскрикнет речная чайка халей, планируя над знобкой, рябой от ветра водой. Воздух острый, предзимний.

И вдруг замечаю пушинки, бойко летящие по ветру. Откуда, почему?.. Для одуванчиков поздно, их парашютики разлетелись еще в июле. Да и форма другая, эти пушинки мельче, какие-то мятые, неаккуратные.

Выхожу к обрыву над Вахом, и все становится ясно. Иван-чай, который радовал своим густым лиловым цветом пол-лета, сейчас белесо опушен вызревшими семенами. На глинистых осыпях у реки его целые заросли, и ветер поднимает вверх тучи светлых пушинок.

Смотрю на их бойкий лёт, и на душе становится теплее. Да, безотраднa осень, да, впереди полгода снегов и стужи. Но эти разлетающиеся пушинки, другие травы, молча роняющие свои семена, – обещание того, что опять все вокруг зазеленеет и зацветет. Что опять будут весна и лето, солнце и молодая радость...

В конце концов, не так уж плохо все в этом мире устроено.

Не так уж и плохо.

В ПСИХУШКЕ. ИЗ СОВЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

I

Мне было двадцать лет, и я лежал в *психушке* – речь, как видим, пойдет о воспоминаниях *советских* (см. название). Я два раза лежал в психушке, *кося* от армии – если говорить на том же языке, в том же стиле – в первый раз в 1981 году и затем через два года, в 1983. В первый раз задача состояла в том, чтобы, еще как бы без всякой связи с армией, был поставлен диагноз, который во второй раз, уже при прохождении *экспертизы*, соответствующая *комиссия* должна была всего лишь *подтвердить*. Это был очень хитрый план, составленный моим другом-психиатром Марком Ефимовичем Боймцагером, умнейшим и лучшим из людей, не меня одного спасшим от *дедов* и ефрейторов («я советскую армию уничтожаю по одному», говаривал он бывало); его, увы, уже нет на свете. Дело в том, что комиссия диагноза ставила неохотно, а подтверждала их без долгих колебаний. Поставить диагноз значило взять на себя ответственность за освобождение *призывника* от армии, а призывник ведь мог и вправду, как в моем случае оно и было, оказаться обманщиком, уклонявшимся от исполнения священного долга советского человека... А подтвердить диагноз уже имевшийся – это совсем другое дело; ответственность за него лежала как будто на той больнице или, не помню уже, на том *психдиспансере*, где впервые он был поставлен. Опять же – комиссия, если диагноз и ставила, то *влепляла* сразу шизофрению, что, в свою очередь, сулило разные неприятности в дальнейшей жизни, уже полное, в общем, бесправие в отношениях с Софьей Власьевной, при первом же твоём прегрешении отправлявшей тебя в психушку насильно. А вот поставить какой-нибудь *мягкий* диагноз, какой-нибудь, никого ни к чему не обязывавший *невроз*, от армии освобождавший, но и окончательно бесправным психом тебя не делавший – это уж извините. Так я оказался в психушке уже ранней весной 81 года, за два года до грозившей мне армии, где и получил великолепный, звучащий как поэма и впоследствии подтвержденный диагноз *невроз навязчивых состояний на почве декомпенсации психастенической психопатии*, предмет моей гордости. Это была психушка не самая страшная, «санаторного типа». Но, разумеется, пребывание в ней, как и пребывание в любой больнице, было тем, что один остроумный приятель моих родителей называл *путешествием в Советский Союз*, погружением, следовательно, в ту советскую действительность, которой меня с детства приучили по возможности избегать. Это был, короче, *совок*, совок в чистейшем виде, совок во всей его непреходящей красе. – А вот здесь я поставлю тире, даже два, и сделаю прыжок в сторону, в как бы сторону от как бы начавшегося уже повествования, в сторону, на самом деле важнейшую для меня. Потому что не в связном повествовании дело, в связные повествования я давно уже не верю, рассказывать все подряд не собираюсь, создавать «цельный образ» не буду. «Все трещит и ломается», писал Мандельштам; есть только фрагменты; осколки воспоминаний; вспышки, искры, внезапные озаренья. – Была, следовательно, психушка «санаторного типа», Покровское-Стрешнево, где я лежал в феврале и марте 1981 года, и в этой психушке, в одной палате со мною, лежал, среди прочих умопомрачительных и умопомраченных персонажей, мальчик, забыть которого я не могу, ради которого и пишу сейчас то, что пишу. Не такой уж и мальчик, конечно, раз лежал вместе со взрослыми, но все-таки мальчик, семнадцати каких-нибудь лет и вполне, по развитию своему, ребенок, «умственно отсталый», не знаю уж, какой здесь следует применить медицинский термин, белокожий, рыжий, веснучатый, со странно выпученными глазами, безобидно-несчастный. У таких бывают сросшиеся пальцы на руках. У этого пальцы были нормальные, и вообще вел он – на воле – какую-то, кажется, относительно нормальную жизнь, работал помощником киномеханика в пригородном, что ли, кино, и если бы не выпученные эти глаза и совершенная неспособность усвоить элементарные школьные знания, *психом*, или, говоря языком самой психушки, *завернутым*, он бы, наверное, и не казался. Поражал он меня

чудовищным своим аппетитом; еду, которую давали в столовой, едою назвать было трудно – свиной корм, а не человеческая еда, – и я, разумеется, вообще не ходил бы в чудное это место – уже запах его вызывал у меня тошноту – если бы не пучеглазый этот ребенок, которому я всякий раз отдавал свою порцию, поглащаемую им с восторгом, с хрустом, треском, сладострастным облизыванием алюминиевой, всегда гнутой ложки, чуть ли лизаньем тарелки – и как будто ему в детстве недодали – а так оно, наверно, и было – и еды, и заботы, и, конечно, любви. Симпатией прочих *завернутых* он, кстати, не пользовался; в число больничных изгоев не входил, но и теплых чувств, или хоть сострадания, не вызывал. Едою, кроме меня, никто с ним, кажется, не делился, хотя он явно готов был сожрать и третью порцию пороссячьего корма, а уж приносимые из дома вкусности поглотил бы, наверно, в любом количестве, с космической скоростью. Ничего ему, бедняге, не перепало; даже из курилки, где некоторые заядлые наркоманы варили себе чифирь и где дым висел грязной ватой, гнали его. Вообще, подтрунивали над ним; как-нибудь, походя, норовили обидеть, не знаю уж, почему. Потому, может быть, что и в нем не чувствовалось симпатии к людям; мою порцию корма принимал он как должное; никакого *отношения* к себе я не замечал в нем. Палата была на двенадцать человек, шесть кроватей у одной стены и шесть у другой. Слева от меня лежал симпатичный алкаш с замоскворецкой бородкой, всерьез надевавшийся избавиться в больнице от своего порока – или недуга, – иногда принимавшийся с важным видом рассуждать о вреде алкоголя, как если бы он был не он, а какой-то совсем другой человек, пивший только сок и минеральную воду; через пару лет я встретил его в метро, совершенно пьяного, еле державшегося на ногах; он не узнал меня. Справа помещался несколько не симпатичный, наоборот – на редкость противный, противно рассказывавший о своей семейной жизни, в интимных подробностях, сухощавый, слочный, под сорок, дядька, обладавший каким-то избирательным слухом – что хотел, и слышал, а чего не хотел, того не слышал, хоть кричи ему в ухо. Уже в мои тогдашние двадцать лет я понимал, что это «осуществленная метафора» человеческого восприятия вообще. Мы все в конце концов видим и слышим только то, что хотим услышать, увидеть... У противоположной стены, где спал и мой прожорливый киномеханик, лежал наипротивнейший персонаж палаты, лет под пятьдесят, хохляцкого вида и с легким гыканием говоривший, непонятно чем болевший тип, обладатель приемника «ВЭФ», по которому он то и дело пускал, на полную громкость, чудовищную эстрадную музыку той прекрасной эпохи, из-за чего у него бывали, конечно, со мною, всю жизнь обреченным бороться за тишину, непрерывные столкновения – едва не дошедшие до драки, когда он начал вдруг, хотя никто его не просил, высказывать свое мнение по поводу жидов пархатых. Я предложил ему заткнуться. Меня поддерживая, бородатый алкаш заявил, что – национализма мы здесь не потерпим. Почему именно национализма, а главное – почему именно здесь, как если бы в каких-то других местах и больницах национализм был вполне допустим, все это осталось неясным, но смысл наших совокупных высказываний до мерзавца дошел, так что он запричитал плаксивым голосом, что – нет, нет, не так поняли, «нации мы все уважаем». Люди бывают разные, «а нации мы все уважаем». Он-то, кажется, и начинал обычно подтрунивать над мальчишкой. Вот лежим мы, вечером, после отбоя, негромко, чтобы дежурная сестра, ходившая бывало по коридору, не слышала, переговариваясь, алкаш затевает со мною беседу о гнусности врачей, о тягости жизни, о Сартре и о Камю, о том, как работал в театре осветителем, о Бердяеве и Бергсоне, а на той стороне речь почему-то заходит об умении петь. Петь? Вот именно. Речь заходит об умении петь. Я ничего не придумываю, господа, я рассказываю чистую, как спирт, правду. «Да ты петь не умеешь», – говорит мальчишке хохол. – «Я не умею?» – «Да не умеешь ты, куда уж тебе?» Еще кто-то, забытый мною, вмешивается в беседу. «Ты – петь? Смешно. Такие, как ты...» – «Я умею петь. Я отлично пою». – «Да не смейся людей, паря...» – «Да умею я петь...» Он был уже на взводе, уже вся палата прислушивалась. «У тебя и голос-то, как треснутая труба...» – «Нет, я пою». – «Ну так спой чего-нибудь». – «Пажалста». – «Ну так пой, чего ж не поешь?» – «Сейчас спою». – «Да не споешь ты, боишься, да?» – «Я не боюсь...» – «Боишься, боишься... На словах вы все смелые». – «Ничего я не боюсь, я спою». На самом деле он уже всхлипывал. «Боишься, трус несчастный. Никогда ты петь не будешь. Не умеешь ты. И боишься ты. И боишься ты. Псих ты просто. Завернутый, что с тебя взять...» Он шмыгал носом, сопел, опять шмыгал, делал голосом еще какие-то звуки, к пению ни малейшего отношения не имевшие. «Вот то-то, трус завернутый. А еще говорит, спою, спою...» Уже напряжение начинало спадать, уже все, лежа на своих скрипучих кроватях, готовы были *отвернуться*, отвлечься, перейти к другим разговорам... Вот тут-то он и запел, наконец. Он запел очень тихо, хрипло, безнадежно фальшивя, сквозь слезы. «Пусть бегут

неуклюже пешеходы по лужам...» Была такая, «все», и тогда и, наверное, до сих пор известная песня из какого-то, кажется, мультипликационного фильма про какого-то «крокодила Гену» и какого-то, прости, Господи, «Чебурашку». Фильма этого я не видел, поскольку вообще, с самой ранней юности, избегал всего советского, и с особенным, помнится, отвращением относился к той *инфантилизации общества*, которой, это общество сознательно оглупляя, предавалась советская власть; но песенку, «из воздуха», знал. «К сожаленью», — пел он, — «день рожденья только раз в году». Чем дальше он пел, тем более крепчал его голос, набирал силу, и уверенность, и объем, как будто одевался плотью, обрастал перьями, словно державинский лебедь. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете...» Волшебник, действительно, прилетел. Он уже был здесь, посреди палаты, с идиотским своим вертолетом, чудом случилось, невероятное произошло. «И бесплатно покажет кино...» Тут голос киномеханика взлетел на высочайшую свою высоту. Бесплатно! понимаете? бесплатно покажет кино. Это было *его* кино, разумеется, лучшее кино, им показанное, его победа, его триумф. Волшебник стоял, глядя на нас на всех, вот смотрите, вот я, среди вашей убогой жизни, дураки, завернутые, психи несчастные. Уже никакой сестры никто не боялся, уже и не было, за дверь без ручки, никакой, конечно, сестры, и двери этой не было тоже, и больницы не было, и города за больницы стеною, и домов, и где-то горящих окон, бесконечных клеток с чужою бедою. Была только ночь, только ночь на всем свете, темнота, тишина, застывшее молчанье на койках, и этот хриплый, глупый, торжествующий голос, упорно, упрямо, сквозь все невзгоды, продолжавший рассказывать о «пятьсот эскимо» и о том, почему он, в этот день непогожий, веселый такой, о своей, может быть, самой первой, призрачной, жалкой победе над миром, над собой, над судьбой.

II

Самое лучшее в больнице — это больничный сад. От того, первого, сада у меня осталось в памяти совсем немного. Была ранняя весна, март, и значит — еще снег, понемногу черневший и таявший, значит — лужи, ветки, значит — ветки, отраженные в лужах, опрокинутое небо, сырость, холод, зеленоватое замирание над кронами, вороньи крики, пустота, тревога и одиночество, и те особенные, изогнутые, из всегда облупившихся белых жердочек и с тяжелыми, литыми, чугунными подлокотниками скамейки, каких я не видел ни в какой другой стране мира (одна из немногих неожиданно *уютных* вещей, которые вдруг почему-то встречаются в неуютной России, к которым отнесем мы, среди прочего — железнодорожные подстанки, мятные пряники, и — как ни странно, ни страшно — заросшие, бестолковые, с бузиной, березами, русские кладбища...). На скамейках сидеть еще было нельзя, разве что на спинках скамеек, поставив ноги на сидение, как сидит, бывает, в парках пригородная шпана, *урла*, говоря языком той эпохи, и как я сам сидел, кажется, только в том больничном саду, в те свои двадцать лет, читая Достоевского и думая, что ежели еще сколько-то времени здесь пробуду, то и в самом деле тронусь небось расудком. Можно было ударить. В дальнем углу сада была не то что дырка в стене (конечно — красной, кирпичной, крошащейся), но было место, где она, стена, докрошилась до такой степени, что перелезть через нее уже не составляло труда, особенно если, как оно обычно и было, какой-нибудь человеколюбивый *завернутый* оставлял для своих собратьев с той, а чаще и с другой стороны старый трухлявый ящик или хоть пару досок, положенных друг на друга. Эти доски и ящики время от времени исчезали, чтобы тут же появиться опять. Замечательно, что все это место знали, и врачи, и сестры, и, конечно, администрация. Одна, чуть более симпатичная, чем другие, докторша, отпуская меня на выходные домой, сказала, скосив глаза, что *оформить* мое отсутствие она не может, так что, Алексей, *придется исчезать*. Все-таки прав был тот остроумец, заметивший, что русский бардак всегда был нашим лучшим союзником в борьбе с советской властью. Исчезал я, конечно, с восторгом; иногда и в будний день выбирался на пару часов домой, чтобы хоть поесть и помыться. В будние дни меня пытались, впрочем, *лечить* — и вот это было самое страшное. Таблетки я, конечно, выплевывал — как делали это почти все мои собратья по несчастью. Но ужасная была минута, когда вовсе не симпатичная, в основном и занимавшаяся мною, дурнопахнущая врачиха (очередное воплощение все той же, разумеется, Софьи Власьевны) вдруг, между делом, сообщила мне, что — *завтра мы вас поставим на инсулин*. Инсулин, кстати, кололи они просто так, совершенно бессмысленно, не доводя дела до *инсулинового шока*, который один только и имеет с психиатрической точки зрения какой-то смысл. Но шок они, видно, боялись и потому кололи, повторяю, инсулин просто так, бессмысленно и беспощадно, превращая

пациентов в ужасных, уродливых, оплывших, несчастных толстяков, волочивших свое ожирение вдобавок к прочим невзгодам. Моей реакцией я горжусь до сих пор. — Этого не будет, — сказал я. — То есть как не будет? — сказала врачаха с таким видом, как если бы в комнату вдруг вошло лох-несское чудовище. — А вот так, — сказал я, — не будет, и все. А будете настаивать, я убегу. И плевать мне на последствия... — Но мы же хотим вам помочь, — сказала врачаха. — Спасибо, — сказал я, — только без инсулина. — Да вы что! — сказала врачаха, — мы же лучше знаем, да как вы... Тут я встал и вышел из ее кабинета. Ни на следующий, ни на какой другой день об инсулине не было речи. Но было все это по-прежнему, конечно, ужасно. В молодости, думается мне, мы ближе к безумию, чем в зрелые годы. Еще все в нас смутно и непонятно нам же самим, еще какие-то важнейшие линии не прочерчены, хорошо, если намечены в нас, еще грани не отделаны, да и не отделены друг от друга. Нам трудно в мире, потому что мы в самих себе еще не освоились, не устроились. Поэтому все как-то воспалено, обострено в нас, обнажено и раскрыто. Если тоска, то хоть на стену лезь, хоть на больничную. Мы к ней еще не привыкли, мы не знаем еще, что с тоской можно жить, нужно жить. Мы жить с ней не хотим и не можем, мы требуем избавления от нее, немедленно, вот сейчас, решения всех вопросов, а то мы голову себе расшибем. Потому и читаем «Записки из подполья», сидя на спинке выгнутой русской скамейки, в больничном саду, мартовским мокрым днем, ощущая себя подпольным, вполне, человеком — дважды два четыре, да ведь это стена — глядя на черные ветки в прозрачном, блеклом, замирающем над кронами небе. Жизнь уже, конечно, говорит нам: смирись, мы, в ответ, в тоске нашей, показываем ей язык или фигу... И это, кажется, все, что я помню про этот больничный сад, дostoевский март, карамазовский бунт. Зато другой сад, в другой больнице, через два года, был одним из лучших, благословеннейших садов моей жизни. Чтобы добраться до него, следует, впрочем, сделать еще несколько предварительных словесных движений, шагов мысли, ходов на доске.

III

Когда дело дошло, наконец, до призыва, я, помнится, сначала просто не ходил в военкомат. Повестки, с замечательной по своей безличности формулой «предлагается Вам...», приходили одна за другой. Предлагается — и все тут, предлагается — непонятно кем, никем, вообще. Глас с небес, оклик нездешних сил. Предлагалось мне, короче, явиться на призывную комиссию и т.д., а ежели не явлюсь я, то будет мне очень плохо. Я, наконец, явился. Подробностей не помню, помню лишь, как — не военком, но какой-то его заместитель, когда я сообщил ему, что два года назад лежал в психиатрической больнице, с ненавистью на меня посмотрев, извлек из недр стола своего крошечную, в пол-ладони, и уже, странным образом, замусоленную бумажку — как если бы ей пользовались и раньше, затем все стерли и вновь стали пользоваться — *паллимпсест косящего призывника*, подумал филолог во мне — и пятнадцатикопеечной, беленькой, с полупрозрачным окончанием, шариковой ручкой, упорно отказывавшейся писать, — как (вновь скажем) если бы именно она-то всех более и сопротивлялась моему избавлению — вывел, подышав на кончик, с загогулиной над заглавным «Н» *Направление*, еще раз подышал, поплевал, чертыхнулся и все более бледневшими буквами приписал *на обсле*, тряхнул рукой и ручкой, чертыхнулся опять, *дование*, потом задумался, посмотрел в решетчатое окно с видом на соседнюю отечную стену, посмотрел в потолок, на меня и опять в потолок, наконец решил, *в больницу Кащинку*, именно так, и как (в последний раз) если бы никакого не было профессора Кащенко, именем коего, как я впоследствии, проходя *обследование*, узнал, и назвали больницу, но, подумал я, как (теперь уже в самый последний раз) если бы она, эта страшная *Кащинка*, была какой-то или, во всяком случае, казалась ему, замвоенкома, какой-то Кащинкой просто, Ка-щин-кой, очерившимся кошмаром, пещерой Кощея, что, разумеется, при ближайшем рассмотрении или, если угодно, обследовании, оказалось чистойшей правдой. Теперь иди, сказал зам, пристукнув бумажку печатью. Пройдешь экспертизу и с армией покончишь навсегда, добавил он без всякой ненависти, но как будто даже радуясь за меня, или позволяя себе, теперь, когда дело было сделано, печать поставлена, порадоваться за меня и вместе со мною, что вот, значит, я, очкастый интеллигент, в боевых действиях помеха и в обозе обуза, с армией, и причем навсегда, могу, наконец, покончить. Вот от этой-то замусоленной бумажки, подумал я, выходя из его кабинета, зависит моя дальнейшая участь. Все роковые решения обрастают комическими подробностями; судьбе нравится шутовской наряд жизни.

IV

В *Кашинке* все было ужаснее, мрачнее, грубее и жестче, чем в больнице «санаторного типа», где я лежал за два года до того. На *санаторный тип* здесь не было и намека. Особенно сестры были здесь беспощадны, врачи как раз были лучше. Было, впрочем, раннее лето, прозрачная зелень за окнами и в больничном саду (еще не в том, куда я веду свою речь). И я сам был на два года взрослее, сильнее, увереннее в себе. Мне уже не казалось, что я могу *завернуться*, я смотрел на эти три недели, которые предстояло мне провести здесь, как на простое испытание, замену тех полутора лет, каковые мне пришлось бы *им* (i. e. *совку*) подарить, не сумей я освободиться от армии, и более ничего. Но, конечно, и здесь тоска охватывала нешуточная, мешаясь с чувством своего бесправия, с тем непрерывным, с разных сторон надвигающимся на тебя унижением, каковое, может быть, и составляет основное отличительное свойство *совка*. Здесь были, кроме того, *настоящие психи*, каких там почти не было. Был очень, почему-то, обильно представлен восток. Один, очевидно – московский, грузин, лежавший на соседней со мною койке, являл собой тот классический тип безумца, на которого *воздействуют лазерным лучом*; с заговорщицким видом он подводил меня к окну, чтобы показать мне, ты что, не видишь? как вон, вон, из того окна, где вон, видишь? блестят, на него и воздействуют. И потому у него все болит, особенно голова и колени. Да кто воздействует-то? Он только рукой махал, не расскажешь, мол, даже. Другой был тоненький, высокий, с почти девическим овалом лица, девическими ресницами и с глазами, как на персидской миниатюре, подросток-азербайджанец, однажды, под большим секретом, рассказавший мне о каком-то военном лагере в горах, где его будто бы держали то ли пленником, то ли заложником, где все обучались карате и все время подлетали какие-то вертолеты, в кого-то стреляля, кого-то казнили, кто-то бежал. Говорил он с сильным акцентом, понять что-нибудь было трудно, а рассказ был бесконечный, совершенно бредовый. Потом, правда, через несколько лет, когда началась война в Карабахе и Кавказ вообще взорвался, я подумал, но скорее все-таки в шутку, что не таким уж и бредом был, может быть, этот бред, что никаким вообще бредом он, быть может, и не был... Читал он при этом (Россия все-таки страна удивительная...) «Фауста» в пастернаковском переводе, отрадно потрепанный том из собрания сочинений Гете, взятый им в больничной библиотеке. Особенно первый монолог Фауста доставлял ему неподдельное наслаждение; сидя на своей койке, поднимая и опуская ресницы, читал он, что – «я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил», с таким выражением, как будто он сам все это изучил и долбил – и чтобы затем, с восторгом, заявить: «однако я при этом всем был и остался дураком». Здесь он начинал смеяться – как мне казалось, от счастья, что вообще вот можно так взять и написать, был и остался-де, ха-ха, дураком. Дураком, произносил со своим невообразимым акцентом, был и остался дураком. «В магистрах, в докторях хожу», тут в голосе его появлялось уважение к учености, «и за нос десять лет вожу», восторг и счастье, «учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет». А это все с немецкого переведено, да? спрашивал он. Я прочитал ему же самое по-немецки. Здорово, сказал он и попросил прочесть снова. Habe nun, ach, сказал я, Philosophie, Juristerei und Medizin... Уважение его не знало границ. А (и вот этого, вот этого забыть невозможно, вот ради этого я и сижу сейчас, четверть века спустя, в другой жизни, склонившись над столом и бумагой) – а не писал ли Гете научной фантастики? Научной фантастики? Вот именно – не писал ли Гете научной фантастики? Я, как мне кажется – вполне резонно, заметил ему, что «Фауст» уже фантастика, правда – не очень научная. Мальчик ответом моим был, кажется, озадачен, но уважения ко мне не утратил. На другой день после этого разговора меня отправили в *инфекционный изолятор*.

V

Дело было так. Как раз когда я лежал в больнице, пришло, как впоследствии выяснилось, распоряжение министерства здравоохранения проверить всех пациентов всех московских больниц на так называемый сальмонеллез, или, как еще говорят, палочку сальмонеллы, кишечную инфекцию, каковую, очевидно, у каких-то больных, в каких-то больницах нашли, и вот решили, значит, бороться с нею повсюду, в планетарном масштабе, с советским размахом. Подозреваю, что никакой сальмонеллы у меня не было; во всяком случае, не было никаких симптомов оной; уже следующий анализ дал отрицательный результат, как и все, с тех пор, прочие. В планетарном масштабе репутали, возможно, пробирки. Изолятор, в отличие от того совершенно безликого

и ужасного своим безличием современного здания, где я до сих пор находился, являл собою что-то темное, потаенное, сводчатое – очевидно, одно из самых старых, еще дореволюционных, может быть, зданий больницы, куда редко заглядывал кто-нибудь. Заключение в изолятор означало, конечно, повышение степени моей несвободы, но, с другой стороны, в этом изоляторе, этих сводчатых коридорах, этой пустоте и заброшенности был *стиль*, которого там, в общем корпусе, не было и который сам по себе был для меня утешителен. Почти не было, к тому же, и пациентов. Все население этого довольно все-таки большого – длинный коридор и несколько палат – *отделения* состояло, вместе со мною, из четырех человек. Был, во-первых, шофер-татарин, попавший, как и я, в изолятор все из-за той же сомнительной сальмонеллы, человек вообще психически здоровый, но, как рассказала мне докторша, допившийся до такого состояния, что сам пришел в больницу с просьбой о помощи. Человек был тихий, очень приятный, в основном занятый раздобыванием сигарет, которых купить в изоляторе было нельзя и которые приносили ему из дому как-то нерегулярно. Я сам в ту пору курил, даже довольно много. Помню, как мы ходили по коридору и как я пожаловался ему, что вот и у меня сигареты заканчиваются. Ничего, сказал он, будешь *Дымка* курить. «Дымок», если кто не помнит, были страшные советские сигареты без фильтра, курить которые для человека, привыкшего к «Яве» или «Столичным» (до «Мальборо» и свободы оставалось еще несколько лет) было мучением немалым. Нет, сказал я, *Дымка* я курить не буду. Была, затем, средних лет и страшного вида женщина, страдавшая, помимо психической, еще какой-то кожной болезнью, почему, надо думать, в изоляторе и содержавшаяся, тоже все время искавшая, где бы разжиться ей табачком. Руки ее покрыты были синевато-красным наростом, так что я, конечно, старался от нее держаться подальше, боясь заразы. Была, наконец, в московских психиатрических кругах, как я впоследствии выяснил, довольно знаменитая старуха, то ли Седова, то ли Сизова – все так и называли ее *старуха Сизова* (или Седова) – давным-давно попавшая в *Кашинку*, совершенно сумасшедшая, пребывавшая, как кто-то объяснил мне, в *последней стадии шизофрении* (что бы это ни значило). Таких хронических больных, или – *хроников*, помещали и, наверное, до сих пор помещают обычно в специальные больницы, из которых самая известная – знаменитые «Белые Столбы» (уже одно название внушает ужас... вообще, названия больниц и тюрем в России отличаются каким-то загадочным, зловещим садизмом: «Кресты», «Матросская Тишина»...). Однако «Столбы» отказывались взять ее из-за брюшного тифа, когда-то, чуть ли не в пятидесятых годах, перенесенного ею, а родственников у нее то ли не было, то ли они, в свою очередь, отказывались ею заниматься. Так она и осталась в инфекционном изоляторе *Кашинки*, знаменита же сделалась потому, что московские студенты и аспиранты в расположенные за городом «Столбы» ездили неохотно, а в *Кашинке* так и так проходили обычно практику, почему *старуха Седова* превратилась в объект наблюдения и анализа для нескольких поколений начинающих психиатров – как, не без гордости, сообщила мне заведующая отделением, «с нашей старухи Сизовой написано уже около десяти диссертаций». Страшна и жалка она была до невозможности, безумна напропалую; к счастью, ко времени моего с ней знакомства буйной уже не была, а так еще незадолго до этого носилась, рассказывали, целыми ночами с воем по коридору. Упомянутая докторша, заведующая отделением, оказалась еврейкой из Риги, увы, расширявшейся книзу, с узкими, следовательно, плечами и необъятным задом, которая, получив, ясное дело, от моих родителей все в таких случаях полагающиеся подарки, создала мне райские, в контексте окружающего ада, условия, то есть предоставила мне отдельную палату, где стояло еще несколько, пустовавших, коек, такую же сводчатую, старую, странную, как и все в изоляторе, позволила мне звонить по телефону из той комнаты, где пили чай недружелюбные сестры, а главное – позволила мне, а заодно уж и всем остальным, гулять в том саду, куда скоро предстоит нам зайти. Все эти благодеяния совершала она без радости – а я уже тогда понимал, что добро надо делать с *веселием духа*, – совсем напротив, с угрюмою, как говаривали некогда, *миною*, с как бы упреком в мой адрес, что вот-де вынуждена она делать это добро, за которое отнюдь не доброе, по определению, *начальство* могло, очевидно, если не наказать, то упрекнуть ее, или выгнать, или хоть косо нам нее посмотреть. *Начальства* этого боялась она какой-то бесстыдной боязнью. Не знаю, относилась ли к ее прямому начальству комиссия, должностовавшая освободить меня от армии или нет, но вид у нее, комиссии, когда заявлялась она в изолятор, чтобы меня освидетельствовать, был начальственный в высшей степени, прямо громоподобный. Замечательно, что не я к ним отправился, мне из изолятора выходить не полагалось, но вся комиссия в полном составе, во главе с профессором таким-то, фамилию не помню, явилась в белых своих халатах в опасное это место, никакой заразою не напуганная, наоборот,

распугивая, должно быть, бактерии, так была она грозна и величественна. Трепещи, сальмонелла! Трепещи рижская докторша, во время судилища скромно сидевшая где-то с самого краешка. Я, как это часто бывает в ответственные минуты жизни, не волновался нисколько. Волновался, может быть, *до*, волновался даже и *после*, как бы задним числом. Но во время самой процедуры был так спокоен, что почти ничего и не запомнил. Помню только, что начальник комиссии, профессор такой-то, все пытался убедить меня, что я *слышу голоса*, я же, боясь, что мой великолепный диагноз заменят на милую профессорскому сердцу шизофрению, упорно отнекивался, уверяя, что никаких *голосов* не слышал, не слышу, слышать о них не хочу. Что я им, собственно, *впаривал*, и тогда, и двумя годами раньше? Тактика была простая – ничего не придумывать, рассказывать то, что есть. С точки зрения советской психиатрии неуравновешанная психика русского интеллигента *сама по себе* диагноз. Чувство тревоги бывает? Бывает. Тоска охватывает? А то как же? О самоубийстве не думаете? И такое случается. Ну, так чего еще надобно? Псих, ясное дело.

VI

Меня же особенно волновало в юности одно обстоятельство, вернее – свойство человеческого ума, его, ума, неспособность долго оставаться в одиночестве, наедине с самим же собой, его привычка обращаться к кому-нибудь, создавать воображаемых собеседников, призрачную публику в театре фата-морганы. Мы идем по улице – и как бы с кем-то вроде бы говорим; наша мысль превращается в *мысль для кого-то*; наша мысль ускользает от нас же самих. Я видел в этом симптом какого-то глобального отчуждения, рокового несовпадения с собою, трагической, если угодно, хрупкости, *зыбкости* декартовского «субъекта». Декарт, закладывая тем самым и, как известно, основы философии Нового времени, описывал этот субъект как субстанцию, как *res cogitans*, «мыслящую вещь». Я же видел, что мысль есть не субстанция, но состояние, преходящее, как все состояния. Вот сейчас она есть, а вот ее уже нет. Вот, только что, я был «у себя», совпадал с самим же собою, а вот, через мгновение, через секунду, уже кому-то как бы что-то рассказываю, или доказываю, или с кем-то вроде как спорю. Мысль, следовательно, существую, говорит Декарт. Ну а если не мыслю, что же, значит, не существую? Мысль, сама по себе, пугающая... Прошу прощения у читателя за сей философский экскурс, в контексте моего непритязательного рассказа не совсем, быть может, уместный. Все это, как бы то ни было, мучило меня довольно сильно, так что я временами отчаивался, и вышеупомянутые состояния тревоги, тоски и т. п. бывали, в самом деле, нешуточные. От картезианских размышлений перед комиссией по созданию белобилетников я, естественно, воздержался, понимая, что шизофрении мне иначе не миновать (нормальный невротик станет, что ли, читать Декарта? нет, товарищи, тут дело посерьезней...), но о своей проблеме, намеренно, упомянул, как упоминал о ней и два года назад, в предыдущей больнице, понимая, что это мой самый сильный, хотя и опасный, козырь. Да вот, говорю с кем-то, не могу остановиться, иду по улице и вот все говорю, говорю, «навязчивые состояния», прошу занести в протокол. Последнее подразумевалось. А голосов, значит, не слышите? Голосов, значит, не слышу. Но ведь собеседники ваши вам отвечают? Только то, что я же и вложил им в уста. Но все-таки они с вами говорят? Да нет же, это я говорю. Они скорее слушатели, статисты... Кажется, я не убедил профессора такого-то, но партию все же выиграл, диагноз был подтвержден, и шизофрении, как сказано, мне не вклеили. Что я продолжал обо всем этом думать, еще не зная, но уже начиная догадываться, что можно было бы из этого *сделать*, ясно само собой. Мне было двадцать три года, я ничего еще не написал, по крайней мере – ничего такого, что сам мог бы принять хоть отчасти всерьез; стихи, в самой ранней юности казавшиеся, ну, скажем, во избежание более высоких слов, центральной темой моей жизни (как оно впоследствии, гораздо позже, вечность спустя, к несказанному моему, до сих пор не покинувшему меня удивлению, и оказалось) были оставлены мною, или меня оставили, годам к двадцати, не удовлетворяя ни в малейшей степени, не давая ощущения своего голоса, своей интонации. Но что-то другое уже намечалось; совсем иной выход, и в литературном, и, если угодно, экзистенциальном смысле, уже брезжил перед мною; роман, скажем просто, много позже, в 1998 году опубликованный мною под (за неимением, увы, лучшего выбранным) названием «Макс», уже был, в самых общих чертах, задуман. В романе же этот мотив ускользания мысли от себя самой является одним из основных, задающих тон и определяющих действие. Прошло еще два года, прежде чем я начал, в самом деле, писать его (весною 1985 года), но я очень хорошо помню, как сидел в том больничном садике, в котором моя испуганная благодетельница разрешила мне и моим товарищам по

несчастью гулять, на очень простенькой, без всяких чугунных подлокотников и загибавшейся спинки, в глубине его, рядом с другой такой же стоявшей скамейкой, набрасывая свои первые мысли, ранние фразы. Садик этот примечателен был тем, что никто кроме содержащихся в изоляторе больных и, соответственно, работавших там медсестер, не имел в него доступа, а поскольку до моего появления ни *старуху Седову* (Сизову), ни несчастную женщину с чешуйчатыми руками гулять вообще не пускали, шофер же татарин появился в изоляторе за пару дней до меня, то получалось, что в садик этот, не знаю, сколько, но, судя по его полной запущенности, уже немало времени никто не заходил вообще, так что он являл собою как бы кусок одичавшей природы посреди убогой цивилизации. Ничего в нем особенного и не было, не помню даже, какие росли в нем деревья, помню только сирень, даже довольно много сирени, впрочем, уже отцветавшей, и помню две, у самой стены, внизу сросшиеся березы, совокупными усилиями старавшиеся перелезть через стену, удрать на волю, куда и все мы стремимся. Сад был отчетливо треугольный, то есть представлял собой вытянутый, с очень острым дальним и замусоренным углом треугольник, образованный, с одной, передней и самой короткой своей стороны, собственно зданием больничного изолятора, с двух же других сторон – двумя постепенно сходящимися кирпично-красными стенами, отделявшими его от каких-то неизвестных мне мест, белых пятен на карте моей вселенной, от общего, что ли, парка, от других каких-то отделений больницы. Звуки ее, больницы, проникали сюда, разумеется, но лишь как смутный гул, дальний шум, подобный шуму прибоя за дюной и соснами, – в той прибалтийской деревне, к примеру, куда я ездил в молодости каждое лето, иногда и зимою, и где я уже тогда предполагал поселить, в моем романе, рассказчика, чтобы он *оттуда*, из этого как бы абстрактного, от всего отрешенного места (море вообще абстрактно...) описывал некую жизнь, тоже, впрочем, в большой степени очищенную от всякой «действительности». «Действительность» я в юности вообще не любил; юность вообще редко любит ее. Жажда некоей точности, чистоты и ясности мною владела; подобно тому, как хотел я, а я ведь именно этого, в конце концов, и хотел, все время быть «у себя», все время мыслить, совпасть со своею мыслью (желание, конечно, неосуществимое), точно так же хотел я очистить *мой мир* от всего случайного, необязательного, несущественного, отделить мир моего вымысла от всякой, вообще, «действительности», как бы вынести эту «действительность» за решительные и резкие скобки. А в жизни, на самом деле, чего я признавать не желал, в жизни все связано, в жизни важное чередуется с неважным, несомненное и случайное соседствуют друг с другом. Все связано, а значит, и перепутано в жизни. Твои лучшие мысли приходят к тебе на лавочке в заброшенном садике инфекционного изолятора *Кащинки*, куда ты попал из-за перепутанной пробирки при прохождении военно-медицинской экспертизы, в Москве, в России, ранним летом тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. Ты думаешь о совсем другом, разумеется, о романе, который впоследствии в самом деле напишешь и в котором ни о какой *Кащинке* даже речи не может быть; и значит, себя теперешнего, заканчивающего, вот сейчас, свои воспоминания о *психушках*, ты еще даже и представить не можешь себе, а между тем, он тоже в тебе *начинается*, уже начинается, напоминает *старуху Седову*, никогда, впрочем, в садик не выходившую, напоминает несчастную женщину с кожной болезнью, всякий раз очень быстро, куря при этом одну сигарету за другой, ходившую по садику мимо твоей скамейки, но *начинается* еще и в каком-то другом, ускользающем от меня смысле, поскольку вообще очень многое, странно многое, в этом больничном садике, во мне и для меня, началось. Что, вообще говоря, влияет на нас? Мысли? книги? люди? места? Влияет все это, но влияние мест загадочнее всех прочих. Этот крошечный сад с его сиренью и двумя березами у стены, был, конечно же, *locus atoenus*, окруженный *locus'om terribilis'om*, блаженное место в окружении места чудовищного, «перевод души», как много позже и о совсем другом саде, вернее парке, писал я в стихах, «на язык веревьев, прудов, тропинок». Никаких прудов здесь не было, и быть не могло, но с душой, в самом деле, происходило здесь что-то, куда-то она здесь двинулась, тронулась и пошла, какие-то обнаружилась в ней до сих пор неведомые ей самой повороты. И потому я старался как можно больше времени проводить здесь, дожидаясь освобождения. После освидетельствования комиссией пребывание в больнице смысла ведь уже не имело, судьба моя решилась, и не будь я заперт в изоляторе, меня сразу бы, конечно, и выписали. Но изолятор создан именно для изоляции – от, ясное дело, здорового советского общества носителей, как всем понятно, буржуазной заразы – почему меня и не выписывали из него, дожидаясь результатов следующего анализа. Накануне предполагавшегося освобождения выяснилось, что в лаборатории разбили пробирку и анализ придется повторить. Теперь я могу смеяться над этим, тогда, прямо скажем, не мог. Миг вождеденный все-таки, ко-

нечно, настал. Ясно, как в мгновенной фотографической вспышке, вижу то мгновение, когда я стоял, уже с вещами, перед входной дверью, до сих пор для меня запретной; ненавидящая сестра открыла ее, эту дверь; моя мама дожидалась меня за нею. А сигарет-то, сигарет-то у тебя не осталось? – сказала, почти крикнула, в пугающей близости от меня, лишайчатая больная. Я сказал, что сигареты как раз закончились. А, может, у нее есть? сказала она, указывая на мою маму. Мы все толпились в дверях, и татарин, и сестры. Она не курит, сказал я. Ну, может, она тебе принесла? – спросила женщина, страшной своей рукою указывая на мамину сумочку. Нет, сказал я, не принесла. Все. Прощайте... Сигареты у мамы были, сорокакопеечная, и это я вижу, «Ява». Была, как мы помним, или уже не помним, тридцатикопеечная «Ява» в мягких пачках, за которой все охотились, уверяя себя и других, что дело вовсе не в десяти копейках разницы по сравнению с сорокакопеечной, в твердых пачках, «Явой» или, например, с сорокакопеечными же «Столичными», но что она, эта тридцатикопеечная «Ява» много лучше всех других сигарет, и была, соответственно, сорокакопеечная, презираемая народом. Вот такая-то сорокакопеечная «Ява» и лежала, как потом выяснилось, у моей некурящей мамы в сумочке, откуда она и вынула ее, разумеется, как только я спросил ее, нет ли у нее сигарет для меня. Но мы шли уже по общему больничному парку к ожидавшему нас у въезда в больницу такси, уже было поздно, уже дверь за нами захлопнулась. Мне, конечно, не жалко было им сигарет. Просто я уже уходил, уже так надоело мне все это, все они, что я и лишней минуты не хотел быть в их обществе, уже видеть их всех не мог. Молодость вообще беспощадна. Но все же горький какой-то привкус примешивался к счастью, наконец-то, свободы, и кто-то лучший меня во мне, советовал мне вернуться, позвонить в звонок, передать им эту несчастную пачку «Явы». Я не вернулся. Вот за это стыдно мне до сих пор.

ПИСЬМО К ПИСАТЕЛЮ

Пусть свет негаснущих планет
по нашей комнате блуждает,
и мой вопрос, и твой ответ
на целый век не совпадает.
На луч, как бусинку, надень
неумирающее слово.
И будет ночь. И будет день.
И ночь. И все начнется снова...

Юрий Карабчиевский

(14 октября 1938 – 30 июля 1992)

Сегодня 14 октября 2008 года. Дорогой друг, тебе сегодня 70 лет. С какой радостью я поздравил бы тебя! Но тебя уже нет. Тебя больше нет на свете с той самой, душевной июльской ночи, когда ты уснул, проглотив смертельную дозу барбитурата.

Мы никогда не виделись. Только один раз мы разговаривали по телефону, из двух стран, из разных миров. Это было время, когда сюда, в Германию, была тайно доставлена фотокопия рукописи «Воскресение Маяковского». Книга была опубликована, мы, изгнанники, удостоились высокой чести стать твоими первыми издателями. Полузабытый, почти лишившийся читателей певец революции благодаря тебе в самом деле воскрес. Книга вызвала горячие споры, ею возмущались и восхищались. Так случилось, что твоё творчество эмигрировало на Запад. Немного позже я получил два других манускрипта – романы «Жизнь Александра Зильбера» и «Незабвенный Мишуня» – для хранения, ведь в нашем отечестве рукописи не только сгорали, но, прежде чем превратиться в золу, служили уликой худшего из преступлений – отстаиванья свободы. К счастью, тебе удалось избежать ареста.

Некогда Роберт Музиль писал об «онтологическом парадоксе»: писателю, для того, чтобы жить, нужно умереть. Сегодня тебя чествуют и на родине. Русскому писателю твоего ранга нужно умереть, чтобы стать по достоинству оценённым. Сегодня я думаю о том, что сказал бы ты, как бы ты себя чувствовал, если бы дожил до своего 70-летия.

Твоё интервью уральскому журналу стало твоим последним выступлением; но и оно было опубликовано лишь через шесть лет после твоей смерти. Ты говорил о том, что предпочитаешь литературу как разговор с читателем – литературе как изделию. Для меня, сказал ты, при всём моём внимании и любви к слову, это лишь средство. Писатель в России не имеет права замыкаться в себе, творчество не может быть самоцелью. Оно обращено к читателю, оно представляет собой свободный, поверх всех барьеров, разговор с той многоликой и молчаливой, теряющейся в тумане и вместе с тем близкой толпой, которую называли Читателем. Ты убеждал себя, что такой читатель в самом деле существует, что литература ему нужна; эта вера, возвышенная и наивная, удерживала тебя в России. Чего, однако, она не сумела, так это удержать тебя от самоубийства.

Что ж! Ты в самом деле обрёл читателей – пусть их будет совсем немного. Это «немного» стоит многого. Это знак избранности. Ты остался с ними, поселился в их памяти. Память – это наш способ противостоять смертоносному времени.

Борис Хазанов

ТРИ ЭССЕ

ЧИСТЫЙ СМЫСЛ

1

Музыка вначале была связана с болезненностью, и нынче, представая в усилии сознания в очищенном смысле, — таковой и остается.

Сильные впечатления от музыки выражались физиологически, причем с жестокостью, начиная даже с самого первого — вполне еще косвенного.

Мне лет восемь, и вместе с отцом я прибыл в детскую музыкальную школу на вступительный экзамен в класс виолончели. Не помню, как именно я держал этот экзамен, зато вижу и сейчас: в комиссии находилась прекрасная юная особа, в малиновой газовой кофточке, с янтарной брошью на умопомрачительной груди, от которой невозможно было оторвать взгляд. Брошь изнутри высвечивала немного преломленную набок пчелу, возраст которой — я уже знал тогда — составлял несколько миллионов лет. В финале моего предствояния перед комиссией моя Дама милостиво кивнула председателю: «Беру».

На обратном пути я только и думал об этой фее — и неотрывно думал, когда после, схватив клюшку, коньки, мчался на каток, и после катка, когда долго ждал автобуса — и думал, заболевая. Тогда я простудился так, что на следующий день по достижении температуры в сорок один градус меня увезла «неотложка», — и далее на несколько дней я теряю сознание. Помню только, как пчела, медленно поводя крылышками в густом медовом свете, мерцала передо мной, и помню, как дрожало, как дышало за ней матовое стекло «неотложки», как шаркали по нему — как по льду и звенели коньки, как серели по краям сознания сугробы и где-то в области висков, в хоккейной «коробочке» с частотой пульса раздавались щелчки и удары буллитов...

2

Несколько вещей вызывали у меня в детстве пронзительную бессонницу. «Крейцерова соната» в исполнении Натана Мильштейна производила мучительные физиологические резонансы, ведшие вразнос, в воронку мозжечка. Не помню, какая скрипичная соната Витали, взмывшая под смычком Зино Франческати, представляла собой могучую слезогонку: вся скорь мира, абсолютно вся, без остатка разливалась в душе. «Sing, sing, sing» Бенни Гудмена, «April in Paris» Эллы Фитцджеральд, написанный Владимиром Дукельским, кстати, приятелем Поплавского — все это составляло предмет сладостных мук. По достижении половозрелого возраста, когда случалось весь день проходить в перпендикулярном состоянии, я точно знал, какие именно джазовые вещи могут запросто вызвать стояк — и старался их избегать. Колтрейн и Кэннонбол Эдерли были первыми в череде запретов.

Послабление наступило гораздо позже, с открытием вселенной Малера, когда в Третьей симфонии Джесси Норманн заставила меня услышать ангелов и умереть наяву.

3

Когда я прочитал у Романа Jakobsona, что все его попытки навести структуралистские мосты к семиотическому подходу в музыке потерпели неудачу, я ничуть не удивился. Потому что у меня давно сквозила наивная, но правдивая идея, что музыка — едва ли не единственный язык, чьи атомы, лексемы либо совсем не обладают означаемым, либо «граница» между ним и означаемым настолько призрачна, что в результате мы слышим не «знаковую речь», с помощью которой сознание само должно ухитриться восстановить эмоциональную и смысловую нагрузку сообщения, — а слышим мы собственно у ж е то, что «речь» эта только должна была до нас донести, минуя этот автоматический процесс усилия воссоздания. То есть слышим мы ч и с т ы й с м ы с л.

4

К виолончели я так никогда и не прикоснулся, зато позже у меня появился учитель фортепиано. Обрусевший армянин, выговором и дикцией ужасно походивший на Каспарова, он был прекрасным строгим человеком. Я приходил к нему в его собственный дом, с курятником и огородом. Его подслеповатая мама, Софья Тиграновна около года принимала меня за девочку.

У Валерия Андреевича в гостиной стоял драгоценный «Стейнвей», неподатливые клавиши которого требовали изощренного подхода к извлечению звука, – и я пылливо следил за пальцами, за постановкой руки учителя. Когда мне удавалось присутствовать на его собственных экзерсисах («Шопен, никоим образом не показывавший кулака...»), – я замирал всем существом, нутром понимая, что это одно из самых мощных творческих действий, которые мне когда-либо придется увидеть в своей жизни.

Я бросил занятия музыкой, когда – хоть и на толику – но самым высшим образом приблизился к пониманию природы музыки. Как и все сильные чувства, это мгновение было бессловесным. Я разучивал фрагменты фортепианного концерта Баха («композитора композиторов», как говорил о нем В.А.), я впал в медитацию, провалился, и тут у меня под пальцами произошло нечто, проскочила какая-то искрящаяся глубинная нить, нотная строка, в короткой вспышке которой разверзлась бездна. И вот это смешанное чувство стыда от происшедшего грубого прикосновения к сакральной части мира – и восторженные слезы случайного открытия, – все это и поставило для меня точку.

Больше В.А. я не видел. Родителям объяснил, что надоело. Конечно, так поступают только особенно сумасшедшие мальчики (или девочки). И так поступил я, к тому же еще не раз с оторопью представлявший себя, купающегося пальцами во всех сокровищах мирах.

22 октября, 2005

ГУШ-МУЛЛА*

I

Зоология как форма мизантропии есть наука поэтическая, а орнитология – вдвойне, поскольку имеет дело с невидимыми голосами, недоступными гнездовьями и неизведанными маршрутами.

В Астраханском заповеднике обитает 317 видов птиц, и первая публикация Велимира Хлебникова была посвящена описанию позывных их певчего подмножества. Нет задачи более сложной для слуха и голоса, чем транскрибирование птичьего пения. Хлебников был математически точен в своей зауми, организуя ее не в качестве «сыр-щир-бала» (таково, увы, мнение большинства), а как певучую сверхреальную алгебру, настолько же мощно, насколько и малодоступно, подобно моделям современной теоретической физики, раскрывающую полноту мироздания. Я был потрясен, когда снежной зимой в лесу услышал трель большой синицы – зинзивера: «Пинь-пинь-пинь!» – не зазвенело, а именно тарарахнуло, разорвало воздух над головой.

Сама по себе задача из фонетической пластики вылепить формы птичьих голосов по высоте не сравнима с задачей глоссолатической какофонии, наобум извлекающей на слух из эмпирии сомнительные смыслы.

И потому неверно так понимать звуко-смыслы Хлебникова, которые не имеют никакого отношения к произволу, а есть высокоточное транскрибирование певческой мысли, истории, драмы, – в ходе которого раз за разом совершается попытка раскрытия главной тайны языка: идентификации медиума между смыслом, порождаемым при выражении сознания – и звукоформой слова, развивающей этот смысл в сознании воспринимающем.

II

Я же начал с яйца – и тут же продолжил убийцей. В небольшом сарайчике, под двумя жердями, в пыльных травных потемках, пронизанных спицами света, нашарил в соломе яйцо. Впервые я был потрясен мирозданием. Самозарождение этого яйца – солнечно теплое, драгоценно дышащее всей своей новорожденной поверхностью – казалось необъяснимым.

Я застыл. Колесо небосвода поворачивало спицы.

* Священник птиц (тюрк.)

– А в старое время кур носили резать в синагогу. Еще моя мать носила, – сказала бабушка и зажмурилась. Я тоже зажмурился – и опустил топор.

Дальше я вижу окровавленное лицо бабушки, ее слетевшую медную прясть, медленно она подносит запястье к щеке, моргает, – и взгляд несется за пронзительно безголосым черным петухом, пылящим по двору зигзагом, его башка – с бешеным глазом, орущим клювом, алым гребнем, держась на коже, метет между мелькающих шпор, ее отдавливают лапки раскорякой, петух спотыкается об голову и затихает долго, ритмом конвульсий постепенно сравниваясь с остывающим пульсом. Кровь толчками заворачивается в пыль.

Потом были воробы, которых мы на время уловляли при помощи пяти кирпичей, согнутого гвоздя и корки хлеба, теплые, упруго толкающиеся в ладони пушинки; птенчик, свалившийся из гнезда, – его Вагиф ногтем избавил от кошки; два птенца трясогузки, посаженные в пустой скворечник на уходящем в лазурь стволе березы; ворона, у помойки напавшая на женщину с мусорным ведром – визг и вопли, взлетающее ведро, кульбиты птицы, кувыркания, наскоки, потом долго еще сидела на тополе и харкала, мы швыряли в нее камнями; потом был ворон Сокол из юннатского уголка, скрипя, вышаркивавший позывные: «Будь готов! Всегда готов!»; была гоньба почтарей с голубятен – стайка блесток, свист и хлоп; были жаренные сизари за гаражами – гирляндой на вертеле, угощенье, есть не стал, – и после битвы: «Пески» стенкой на «Гигант», с огвозденным кольем, одного убили, положили на рельсы, Москва – Казань, ростовский «скорый», левостороннее полотно – еще до Витте строили англичане, – ходили с родственниками всем двором собирать фрагменты тела, растащенного по шпалам километра на три – «скорым» поездам, как сердцу, останавливаться запрещено, – быстро бежали вперед, находя группы ворон и галок, отгоняли: части хирургическим зажимом складывались в мешок из-под суперфосфатных удобрений.

И как отец, вернувшись из заплыва – на Каспии он всегда любил вспомнить телом молодость, например, уплыть часа на три за горизонт, оказывается, чайки пикируют на уставших пловцов, расклеивают безглазое тело, – оно покоится на дышащем утреннем штиле, огромное солнце всходит. И были попугаи в больничном холле, и тоска, и хрипы в левом легком, и приближающееся щелканье какой-то бусинки в мамином ортопедическом каблуке, благодаря которому устремлялись слезы избавления, а потом попугаи вылетели стаей, шныряли «мессерами» с карнизов, медсестры ловили, обнажая под халатиками купальные полоски.

Вечность спустя жили долго в Измайлово, где на рассвете будили вороны под окнами – и лежать без сна, особенно с богатырского похмелья – ой, ты, ворон, что ж ты вьешься; в Измайлово наряду с воронами был волнистый враг Кики, обгрызавший углы и корешки книг, обои, косяки, смертельно кусавший за палец, месяцами обитал вне клетки, перед поездкой в Крым едва донес его до зоомагазина, вместе с клетью, бесплатно – хотел поздовать кошку, открыть ей дверцу.

И был сон, где птица Рух из-за гор с тайной книгой в когтях, и однажды на волжском степном острове подбирал и складывал между страниц цветастые, серые, пестрые перышки – фазаны, сойки, вьюрки, дупеля, коростели прошивали пушечным пролетом высокие дурманские травы – и вдруг поднял голову: внезапно вверху лавиной стронулось большое движение воздуха, – да, сперва я услышал звук, высокое движение, свист и шорох перьев: белоголовый орлан, застив взгляд по нисходящей, спланировал к реке, тяжело коснулся, задумчиво, как перо в чернильницу, погрузил плюсну в речную воду и, с подмахом оторвавшись, порожняком ушел за тот берег, за сбитые ограды левады, сарай, обрушенный коровник.

III

Мой первый – и долго-долго единственный рассказ, написанный на коленке – на скамье Страстного бульвара 13 лет назад, был утерян тут же, в течение часа. Рассказ этот был птичий – и вспорхнул он из рук именно по этой причине. Тогда на углу Петровки вместо «Американ-бара» зияло замызганное кафе, в котором мои друзья повадились назначать «стрелки», и где кофе с гвоздикой обычно шел два к одному с «Солнечным брягом». За коим я и встал в очередь, держа в руках исписанные листки, все еще что-то высматривая в каракулях. Вдруг сзади хлопнула дверь и раздалось тонкое, неземное позвякивание. Оглянувшись, я обнаружил длинноволосого человека, задрапированного с ног до головы кружевной замшей, с медными колокольцами на обшлагах и куриной лапкой, свисающей вместе с пучком разноцветных перьев с пояса. Вскоре этот человек, поглядывая по сторонам, дзенькнув чашкой с кофе, подсел ко мне за столик. Я рассматривал его замысловатое обмундирование, все изощренное подвесками, косичками, разно-

цветьем фенечек, ксивника, крупной гальки с дыркой, оплетенной полосками кожи и висевшей у него вроде брегета. Внезапно он спросил:

– Ты пишешь?

– Ага.

– О чем?

– Об истории одной курицы.

– А ты знаешь, что курица – священная птица?

– Нет.

– Вот это – «куриный бог», – он ткнул в камень с дыркой, – древнеславянский амулет.

– Круто.

– Дай посмотреть, – он кивнул на листки.

– Не дам.

Колокольчик звякнул. Он повернулся к окну и скоро пересел за освободившийся столик.

Пришел мой приятель. Оставив под его присмотром свой рюкзак – на стуле и листы с рассказом – под стаканом, я метнулся за угол в соседнюю рюмочную, – там был туалет.

Вернувшись, обнаружил, что народу в кафе несметно прибавилось, что мой приятель болтает с кем-то в очереди за выпивкой и что столик наш занят. Я обрадовался сохранности рюкзака, однако листков с рассказом не обнаружил – и сколько ни кружил, заглядывая под столы, распрашивая публику, уборщицу, сидельца за прилавком, заглядывая в посудный задник, – все было тщетно. Наконец, я догадался вспомнить этого чудного чувака с куриным оберегом.

– Легко пришло, легко ушло, – утешил я себя и более рассказов не писал лет десять.

А рассказ тот в самом деле был птичий, о курице. Ее звали Ольга, а имя ей дал человек с необычной фамилией – Ваш. Будучи одиноким пенсионером, он однажды рассеянно упокоил купленные яйца – вместо ячеек холодильной полки – на ячеек отопительной батареи. Была весна и топили уже не сильно, так что девять яиц, не сварившись, протухли, а из десятого выпул птенчик, озаривший своим пухом и писком одиночество старика. Так родилась пеструшка Ольга, которую Ваш, закупаясь на «Птичке», выкармливал канареечной коноплей – и дважды в день гулял с ней в палисаднике на поводке за лапку. Но вот Ваш умирает, и соседи вместе с участковым вскрывают топорами квартиру. Тело Ваша обнаруживают в постели, старик умер во сне, на его веках серебряные николаевские рубли, которые он прикладывал на ночь от конъюнктивита. Ольга расхаживает по одеялу, кудахта, и время от времени клюет монеты. Вскоре дальние родственники Ваша прибирают к рукам квартиру, а Ольгу отвозят в выходные на дачу, где частникам задарма отдают на птичий двор. Не оказавшись несущей, Ольга обречена – при попытке ее уловить и зарезать, она увертывается, бежит, взлетает – и длинными мерными взмахами отмеряет расстояние до реки, леса, горизонта, солнца.

2005, июль

МАРШРУТ. ДВИЖЕНИЕ СТЕКЛА

Благодаря недоразвитости вестибулярной машинки, в детстве автобус был сродни мученической карусели – “катать” = “пытать” – хоть раз да блевану за поездку в припасенный, как носовой платок, фунтик, без которого, как без билета, и не садился; особенно осенью по школьному пути на укропно-морковно-капустные поля Подмосковья, под девичий вой “Вот поворото-от, что он нам несё-ё-т”, – ясно, что: обморочный приступ стыда и рвоты маячил, надкусывая мозжечок на пробу на каждой гребенке ухабов, на каждом виляющем заносе расхлябанного в трансмиссии “скотовоза”. (О, эти японские календари на заднем стекле кабинки водилы, толстенная оплетка на штурвале, овальные сводилки с югославскими красотками на приборной панели, выпела и поролоновые лоскуты, увешанные значками ГТО, ДОСААФа, столиц и юбилеев – густо, как латная грудь генсека орденами.)

Понятно, разные бывают маршруты. Например, в 157-м (МГУ – Кунцево) я был ограблен комсомольскими шакалами, ревизовавшими на предмет наличия билетов пассажиров. Бил им морду, был взят под уздцы задумчивым ментом, который отпустил меня только, когда по дороге якобы в отделение досказал мне, что на Плющихе в детстве переманивал с голубятен на Девичьем поле почтарей, за что едва не сгорел заживо вместе с покражей в своей надгаражной клетушке: пытался спасти уже занявшееся пернатое добро – жар-птицы бились, падали, опаляли волосы,

руки, лицо. А в 665-м, где-то около Полежаевской, куда попал, спасшись через Москва-реку на случайной барже от афганских овчарок, набросившихся в Филёвском парке, узрел, как пьяная баба на соседнем сиденье родила зверушку; лил дождь, баба голосила, водила давил гашетку в "скорую".

Но самое видение в автобусе приключилось семь лет назад, в маршруте Шереметьево – Речной, почему-то по дороге из Калифорнии, откуда прилетел на похороны.

Была слякоть, мерзли промокшие ноги, таксисты на остановке, облепив, как цыгане, бубнили: "Бля буду, не уедешь".

На автозаправке, за стеклом, двое в черных куртках били ногами верткого человека.

Наконец человек встал, отпал в сторону и закурил в кулак. Куртки сели в машину, врубили дальний свет, но ни с места.

Автобус тронулся, и я подумал, что начинаю чересчур пристально относиться к происходящему.

Далее я еще осудил себя за пристальность и, чтобы как-то поправиться, решил для начала навсегда поселиться здесь, в автобусе. Тут же в салоне, как в театре, объемом налился сумрак, пошел снег, а я оказался снаружи. Прильнув к стеклу и сложив ладони окошечком, я принялся внимательно разглядывать, что происходит внутри. Вижу, как дети возвращаются с горки, которую за пеленой крупнозернистого снежного праха и набегающих сумерек можно принять за склон неба. Укатавшись за день, они устало тащат за собою санки. Долгий караван уже наскучившего детства. Первые останавливаются у самого окна, остальные еще подтягиваются. Дети чем-то опечалены, у них суровые лица. Я удивляюсь: как странно, ведь они целый день – так что дух захватывало – катались среди белого и голубого. Тихо и ровно идет снег. Вдруг замечаю: на санках лежит голая Оленька Светлова. Дети тоже ее заметили и спрятали от неожиданности глаза. Я не спрятал, я продолжал смотреть на зябнущую Оленьку. Обняв себя за плечи, она улыбалась. Соски жалобно выглядывали из-под локтей. Видимо, ей было очень неловко. Казалось, взглядом она просила сочувствия к ее положению. Потом дети привыкли и стали сыпать на нее из сугроба охапки снега. Спасаясь, Оленька превращается в куклу, в которую влюбляется мальчик, на чьих санках она путешествовала. В этом мальчике я узнаю себя. У меня сжимается сердце. Темнеет, и мне видно все хуже. Я прижимаюсь плотнее к стеклу и вдруг замечаю, что автобус убыстряет ход. Я трачу усилие, чтобы поспеть за движением. Мальчик берет Олю на руки, прижимает к себе... Потом я вижу уютную жаркую комнату, квадрат стола, покрытый упругой белой скатертью, на нем стакан горячего молока, в который кладут с ножа кусочек сливочного масла. Тая, масло плывет дрожащим желтком в ярком тумане. За столом сидит голая Оленька и мажет мне медом хлеб. Я медленно и вкусно съедаю бутерброд, запивая молоком. Она подходит вплотную, дает свою небольшую грудь. Я беру ее голубоватыми от молока губами. Потом она гладит меня по голове, помогает с узким горлом свитера, расстегивает, снимает рубашку, припав на одно колено, стягивает с меня мокрые от снега штаны и помогает залезть на стул, откуда я, обняв за шею, перебираюсь к ней – на закорки. Оборачиваюсь: молоко не допито, его поверхность подернулась морщинистой желтой пенкой.

Она уносит его из комнаты. стакан, постояв, вдруг начинает бешено вращаться. Центробежная сила упруго раздирает пленку пенки, воронка на молочной поверхности углубляется до самого доннышка. Вздрыгнувшееся молоко вырывается наружу, заливая потоками комнату, попадает на стекло. Я перестаю видеть из-за потеков – и оказываюсь внутри.

На следующей остановке входят два одинаковых типа с красными повязками на рукавах кожаных курток. Но до меня очередь не доходит. Впереди на перекрестке у попутного троллейбуса слетает с высоковольтной колеи усик пантографа, шест пружинит дугою в полнеба, обратно, искрит, осаживая отмашкой предползущий транспорт. Некоторые остаются ждать возобновления движения, но большинство выходит, им уже недалеко. Я выхожу последним из большинства, поскольку какое-то время еще надеюсь навсегда остаться в автобусе.

2003, октябрь

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

«Каждый имеет право стать лидером. Даже еврей. Речь идет о **настоящем** лидерстве. Не будем пока уточнять, в какой именно области. Естественно, в хорошей области, типа русской литературы или теоретической физики. Настоящестъ здесь момент определяющий. Потому что **мнимое** лидерство – это проклятие евреев и порождает антисемитизм. И многие евреи вообще считают – лучше **не высовываться**. В связи с этим – цитата: *“Изображая евреев умными и добропорядочными, мы только пробуждаем ревность. Страх перед евреями, а стало быть, и неприязнь к ним может ослабить только образ еврея доверчивого, бестолкового, своего... Всем довольного, ничего не ищущего, ничего и никого не презирующего...”*. Понимаете? То есть прикиньтесь дураками, безвредными юмористами, беспомощными неудачниками, недотёпами (шлимазлами, так сказать), прикиньтесь мертвыми, примите окраску окружающей среды, изобразите собой кусочек коры среди высохших сучьев, накройте медным тазом. Ну как там советовали в гетто фашистские прихвостни из своих же евреев: «Не нарушайте правила внутреннего распорядка, господа евреи, не раздражайте охрану, не попадайтесь на глаза герру коменданту, будьте тихими и незаметными...» и шепотом добавляли: «Может быть, и выживем...». Не выжили. Даже эти несчастные прихвостни не выжили, правда, улетели в небеса самыми последними, вслед за тихими, доверчивыми евреями. (Нет чтобы погибнуть с музыкой, как варшавские ребята. Вечная им слава!) Итак, мнимое лидерство порождает антисемитизм? Но тут вот какая штука – кощунственное подозрение мелькает в моей голове, что антисемитизм порождает и настоящее лидерство, и вообще, любая мелочь может породить это неприятное явление. И снова цитата: *“...задача борцов с антисемитизмом состоит не в разоблачении антисемитских мифов, но в том, чтобы разрушить легенду о еврейском лидерстве”*. Вот что должны усвоить господа евреи. Горите себе вполнакала, поменьше Нобелевских и прочих премий, сдерживайте свои творческие порывы, думайте о своем народе».

Хочется воскликнуть: браво! Людмила Агеева так страстно и органично переводит цитату из статьи автора этих строк «Четвертый источник» («Зарубежные записки», 2 – 2008) в советы фашистских прихвостней, что лишь очень заинтересованное лицо способно заметить разницу между ними (между нами): в моей статье речь идет о пропаганде, а в вышеприведенной филиппике о реальном поведении. Не говоря уже о том, что и потенциальным пропагандистам я не давал никаких советов – все равно каждый будет жить своим умом, – но лишь пытался предсказать, какой **образ** еврея будет усиливать, а какой ослаблять антисемитизм. Ибо антисемитизм, по моему горестному убеждению, питается не столько реальными пороками и достоинствами евреев, сколько фантомами, стереотипами, легендами. С которыми можно бороться, даже и не изменяя реального поведения.

По крайней мере, не вижу, кому помешали гореть в полный накал и получать Нобелевские и прочие премии Шолом-Алейхем и Зингер, развернувшие перед растроганными читателями великолепную галерею еврейских чудачков – уж никак не рационалистов, для которых нет ничего святого. Тогда как именно рационалистический скепсис, представляющий едва ли не главную угрозу для традиционных национальных святынь, и является истинной мишенью юдофобов-традиционалистов, ошибочно полагающих, что без евреев не было бы и скепсиса.

Собственно, в «Четвертом источнике» об этом у меня написано черным по белому: «Евреи представлялись юдофобам (и представляются сейчас) не просто активными участниками, но **создателями и лидерами** всех угрожающих их психологическому благополучию движений». И я всего лишь хотел бы избежать того, чтобы евреи расплачивались за чужие грехи или чужие подвиги: «**Мнимое** лидерство – вот формула еврейского проклятия». Мнимое, а не подлинное! Неужели я не ясно выразился?

Зачерпну еще раз из «Четвертого источника»: «Ведь и сегодня в глазах исламского мира Израиль является авангардом Запада на Ближнем Востоке, не будучи им в реальности. Ненависть

всегда рождает клевету, и евреям нужно как-то выпутаться из этой опаснейшей роли мнимого авангарда, ибо в роковую минуту истинный авангард скорее всего снова пожертвует ими ради собственных интересов.

Вспомним: в нацистских грезях евреи считались лидерами большевизации, но истинные вожди большевиков (СССР) в решительную минуту от них отвернулись, евреи одновременно считались и лидерами либерализации, но в этот же роковой миг от них отвернулись истинные лидеры либерального Запада с Америкой во главе, установив издевательские квоты, — и так, я думаю, будет всегда. Поэтому задача борцов с антисемитизмом состоит не в разоблачении антисемитских мифов (проигравшие всегда будут клеветать на тех, кто представляется им победителями, и верить этой клевете, иначе их картина мира станет слишком уж невыносимой), но в том, чтобы разрушить легенду о еврейском лидерстве».

Как же еще исхитриться, чтобы наконец стало ясно, что речь идет не о разрушении реального лидерства, но лишь о разрушении **легенды** о таковом? Боюсь, отделаться от репутации фашистского прихвостня теперь мне будет так же невозможно, как евреям от незаслуженной роли лидеров в разрушении чужих святынь. Поскольку я сам невольно оказался их осквернителем. Ибо у какой-то части евреев (и особо чувствительных сочувствующих) боль и обида за свой униженный и оскорбленный народ достигает такой остроты, что всякое прикосновение рационального анализа они воспринимают как еще одно оскорбление, как попытку чуть ли не оправдать их гонителей или даже прислужиться к ним.

Агрессия, слепота, глухота к чужим доводам всегда результат страха — как у юдофобов, так и у юдофилов. Чтобы тебя услышали, нужно прежде всего как-то просигнализировать: я свой, я на вашей стороне! И мне по наивности казалось, что моя еврейская благонадежность пребывает вне всяких подозрений.

Как я ошибся, как наказан...

Но попытаюсь все же воззвать из бездны, куда меня низвергло пламенное перо Л. Агеевой, — или из небес, куда улетели мои собратья — еврейские прихвостни: господа евреи, высовывайтесь, горите в полный накал, получайте побольше Нобелевских и прочих премий, не сдерживайте свои творческие порывы — и вы принесете своему народу любовь и уважение! При единственном условии: если вы не будете оскорблять чужие святыни, покушаться на устойчивость чужих укладов. Тогда вы сможете сделаться не просто символом русской культуры, подобно Левитану, но даже крупной величиной в националистически ориентированной компартии, подобно академику Алферову. Вы сможете стать лидером российского империализма, как Жириновский, войдете в школьные программы и хрестоматии, как Пастернак и Манделштам, обретете всеобщее уважение, как скрипач Ойстрах, балерина Плисецкая, шахматист Ботвинник, физик Гинзбург, доктор Рошаль — или будете порождать смесь восхищения со снисходительной симпатией подобно математику Перельману, одолевшему проблему Пуанкаре...

А то и сделаетесь всенародным любимцем как Высоцкий, Жванецкий, Слуцкая, Быстрицкая, Гафт, Миронов, Калягин, Кваша, Казаков, Копелян, Крамаров, Гердт, Раневская, Кобзон, Кристаллинская, Розенбаум, Маршак, Чуковский, Володин, братья Стругацкие, братья Вайнеры... Ваши песни станут слушать со слезами на глазах, прекрасно помня, что ваша фамилия Дунаевский, Блантер, Френкель, Баснер, Тухманов, Городницкий...

Вам нет преград ни в море, ни на суше, пока вы не задеваете чужих наследственных грез, которые для всякого народа и прежде всего для нас самих есть первейшее условие исторического выживания.

Трагедия начинается только тогда, когда вашей личной грезой, вашим личным смыслом жизни оказывается именно разрушение чужих иллюзий, разрушение чужого уклада, а без этого вам жизнь не в жизнь, — что делать в этом случае? Что делать, если вы Троцкий?

Но если вы Троцкий, вы тем более не нуждаетесь в моих советах, вы будете делать то, что считаете нужным, гореть в полный накал, а думают о своем народе пускай всякие фашистские прихвостни.

И это правильно: думать — дело не господское.

МИФ О КОРОЛЕ АРТУРЕ: ТВОРЕНИЕ ЗАПАДНОГО МИРА

Есть образы, которые с нами всю жизнь. К числу их относятся король Артур и рыцари Круглого стола.

Вначале это детская книжка с картинками «Легенды Англии». Затем подросток читает «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена и/или с еще большим интересом следит за приключениями Индианы Джонса и ждет новых «Пиратов Карибского моря», которые ищут Грааль. И это не говоря уже о бесчисленных кинофильмах о самом Артуре и его рыцарях. Одновременно он играет в компьютерные игры, становясь то Артуром, то Ланселотом. Затем (теоретически) приходит время опер Рихарда Вагнера «Парсифаль» и «Тристан и Изольда». Когда появляется первый проблеск политического сознания, выясняется, что встреча глав государств за круглым столом имеет ту же символику, что и в давние времена: равенство договаривающихся сторон.

Вообще, круглый стол как нельзя лучше воплотил основную идею западной демократии — идею равенства. Флаг Европейского союза — звезды, выложенные кругом, подразумевает равенство государств, входящих в этот союз, и также отсылает к первоначальному символу такого равенства.

Известно, что Белый дом в годы президентства Дж.Ф. Кеннеди называли Камелотом, имея в виду товарищеский дух, который объединял президента и его команду.

Именем меча Артура — Эскалибур, который делал своего короля непобедимым, названы управляемые снаряды 155мм калибра, поставленные на вооружение в армии США.

Не исчезло это имя и из династических имен британской королевской семьи: Артуром звали одного из сыновей королевы Виктории. Оно является средним именем принцев Чарльза и Уильяма. Прецедент позволяет им воспользоваться им при восшествии на престол.

Благодаря интегративным процессам, происходящим в мире, образ короля Артура известен многим, но «нашим всем» он является для представителей европейской цивилизации. Он символизирует духовное единство Европы на протяжении уже пятнадцати столетий. Зародившись в Британии, миф об Артуре распространился по всей Европе, а затем обогнул земной шар.

Именем Артура вводили закон и диктовали правила поведения для поколений рыцарей. Он благославлял каждую вновь приходившую британскую династию. Он был христианином, сражающимся за веру, и незримо присутствовал среди крестоносцев, отправлявшихся на отвоевание Гроба Господня.

«Дворы Артура» и рыцарские турниры даже в 15 веке напоминали о “золотом веке” куртуазного поведения. Поклоняться Прекрасной Даме следовало по этому образцу. Откуда же такая любовь, пережившая века?

У каждого народа есть воспоминания в виде преданий, сказок, былин. Их рассказывают или напевают взрослые своим детям и внукам, продолжая, таким образом, нить культурной памяти. В массовом порядке предания востребуются в кризисные годы, когда память об общих славных победах или горестных поражениях должна сплотить народ в единое целое и заставить идти на новые подвиги во имя великих целей. Конструирование сплавляющего «мифа нации» в процессе формирования наций также происходит, в первую очередь, на материале, предоставляемом исторической памятью. Весь 19-й век для европейских народов — это поиск своей национальной идентичности, причем поиск, начинающийся от некоего «начала» народа.

На основе летописаний, обычаев, устного народного творчества интелликулы конструируют национальный миф, который затем начинает проникать в гущу людей, для которых предназначен. Чтобы осознать себя нацией, эти люди должны будут многому научиться и многое обрести. Научиться грамоте, получить хотя бы элементарное образование и рабочие места в городе, куда они приедут из предместий или деревни. Но только в городе все то, что они впитали с моло-

ком матери в виде песен, сказок, праздничных обрядов, станет для них Историей своего народа, общей для всех, кто живет на земле предков, и отличной от историй остальных народов.

При всем том, что внешняя канва исторических событий является в значительной степени общей для народов Европы (войны, династические браки, торговые отношения и дипломатические посольства), каждый народ спланивается вокруг одного из ключевых моментов истории, наиболее ярко противопоставляющего «нас» — «им».

У русской нации до сей поры — это идея «собираания земель» под рукой Москвы и защита границ. Значительный по объему цикл былин связан с образами трех богатырей, охраняющих на «заставе богатырской» русскую землю. Сказочные и былинные герои оказались востребованы на протяжении всего 19-го века в период активного формирования русской нации. Наряду с персонажами сказок, богатыри стали появляться (например, в кинофильмах) и в 30-е годы XX века, и во время Второй мировой войны, когда опора только на революционные символы стала недостаточной и потребовались герои «старой» России.

У британцев ключевые персонажи начальной истории (реальной или воображаемой, неважно) — это король Артур и рыцари Круглого стола. Причем эти герои близки Западной Европе в целом благодаря тому, что во времена формирования мифов существовало общее культурное пространство. Тогда, когда окончательно стало ясно, что античность осталась в прошлом, и на развалинах ушедшей мудрости римлян невозможно строить новую жизнь. Не совпадали картины мира. Попытки каролингского и оттоновского возрождения античности потерпели фиаско. И варварский мир стал творить себя на основе христианства.

Новый мир в лице новых династий нуждался в легитимизации (династической и духовной), а также в новых, принятых элитами правилах поведения и осознании себя соответствующими этому новому миру.

Миф о короле Артуре вводил британские правящие династии (Саксонскую, Норманнскую, Плантагенетов, Тюдоров, Стюартов и Ганноверскую) в культурное пространство Европы в целом и Британии в частности.

Миф о Круглом столе, восходящий к базовому мифу о творении, создавал новый мир Средневековья, возникший на развалинах Римской империи.

Миф о Граале рассказывал о духовных поисках людей в процессе идентификации себя в этом новом мире.

Позднее, в викторианской Англии, в период формирования британской нации, произошло новое обращение к «артуровскому циклу». В 1842 году поэтом Альфредом Теннисоном были созданы «Королевские идилли», основанные на легендах об Артуре. В 1867-68 годах поэма была переиздана с иллюстрациями Гюстава Доре. Тогда же на сюжеты цикла была расписана Палата лордов (1846 год, художник Вильям Дайс). Прерафаэлит Данте Габриэль Росетти также писал работы на сюжеты артурианы. Фотограф Джулия Маргарет Камерон (1815-1879) снимала своих натурщиков в рыцарских доспехах, вдохновленная артуровскими образами.

В конце XIX века Гилберт и Ноулс сделали «переложение» романа Томаса Мэлори о короле Артуре и его рыцарях для детей. Превращенный в канон сюжет пошел обратно «в народ», который должен был знать своих героических предков.

Начиналось же все в те времена, когда римляне в 4-м веке покинули Британию.

Эскалибур. Миф о династической легитимности

Согласно легенде, Артур доказал свое право на престол, вытащив из камня заколдованный волшебником Мерлином меч. С тех пор каждая новая династия, претендующая на британский престол, должна была доказывать свою легитимность связью с артуровской легендой, символически «вытащив» ее на свет божий. Попробуем проследить, кем и каким образом востребовалось имя Артура, а также какие изменения претерпевал сам образ легендарного короля.

В мифе о короле Артуре существует несколько пластов или слоев, которые возникали вокруг центрального образа один за другим.

Первые слои соответствуют индоевропейскому прошлому кельтов, что позволяет отнести образ Артура к древнейшим, архетипическим образам. Так, известно о кельтском божестве по имени Артай, которому посвящено множество святилищ на территории современной Франции

(там, где обитали кельтские племена галлов). Возможно, что впоследствии Артай и Артур слились воедино, так же, как в Ирландии святая Бригита приняла черты языческой богини Бригиндо.¹

Следующий слой – это валлийские родословные, запечатлевшие родственные узы на протяжении столетий. Родословные свидетельствуют о том, что у кельтов ранее VI века имя Артур отсутствует. Оно появляется начиная с конца VI – начала VII веков. К примеру, один из Артуров был сыном короля скоттов Эдана Мак-Габрэйна, рожденным около 570 года, другой был внуком валлийского правителя по имени Вортипориус. В 620 году неким бриттом Артуром, сыном Бикойра, был убит ирландский король Морган. Исследователи связывают популярность имени Артур с прототипом, в честь которого стали называть своих сыновей кельтские вожди. Таким образом, выстраивается цепочка: исторический воин Артур, исторические личности, которых называли в честь него, мифический Артур.

Следующий пласт связан со сказаниями бардов. Артур появляется в валлийском цикле «Мабиногион», в саге «Килух и Олвен». В поисках пропавшей невесты герой направляется в Волшебную страну, которая на самом деле является загробным миром, и там он попадает в замок Артура. В валлийской саге «Preidu Annwfn» Артур упоминается также в связи с путешествием в загробный мир. В другой саге говорится о боге Луге, солярном божестве, тем не менее появляющемся в качестве воина, некоего Артура.²

Существует ряд легенд, в которых Артур описывается в качестве вождя «диких охотников». Этот мотив был распространен как в Британии, так и во Франции и Германии. Сохранились свидетельства того, что еще в XIX веке местные жители в окрестностях замка Кэдбери верили в то, что лунными ночами Артур со своими людьми охотится где-то рядом. Древние дороги между Кэдбери и Гластонбери до сих пор известны как «гать короля Артура».

Еще один пласт мифа об Артуре связан с «житийной» литературой. Известно, что христианство пришло в кельтскую Британию еще при римлянах. Позднее, в VI веке, в Ирландии появляется ряд «житий», в которых фигурирует имя Артур. Он – брат святого Иллтуда, он же убивает брата святого Гильдаса.

Следующие слои формирующегося мифа об Артуре связаны с историческими хрониками. Именно они были призваны придать легитимность каждой новой приходящей династии и ввести ее королей в культурное пространство Британии и Европы.

Отсчет появления Артура-воина как исторического лица обычно начинают с манускрипта монаха Гильды Премудрого «О гибели Британии» (540 год). Хронист повествует о битве при Маунт-Бадоне в 516 году, в которой кельты под предводительством двух своих военачальников победили саксов. Имя одного из них Аврелий Амброзий, имя другого не названо.

Около 800-820 годов монах Ненний завершил редактирование свода из более чем тридцати манускриптов, который получил название «История бриттов». Там впервые упоминается имя Артура, но не как короля, а как военачальника – *dux bellorum*. Перечисляются его героические деяния и главное среди них – все та же победа над саксами при Маунт-Бадоне.

Ненний как достойный сын своего времени описывает «чудеса» Артура. Первое чудо связано с его любимой собакой. Отпечаток ее лапы можно найти на камне в окрестностях Бреконшира, куда она забежала во время охоты на кабана. Артур приказал поместить этот камень на вершину пирамиды из других камней. Если камень с отпечатком переместить, то через двадцать четыре часа он все равно возвращается на прежнее место.

Второе «чудо» связано с сыном Артура Аниром, которого отец убил собственной рукой и сам же похоронил. Сколько бы раз люди ни пытались измерять длину могильной насыпи, каждый раз у них получались разные результаты.

Также Ненний перечисляет подвиги воина Артура. Всего их двенадцать, как у Геракла. При этом места, в которых происходили подвиги, отстоят друг от друга слишком далеко, чтобы их мог совершить реальный человек. Главный подвиг – все та же битва при Маунт-Бадоне, где Артур собственноручно убил 960 человек.

Налицо мифологизация реально существовавшего военачальника бриттов и наделение его сверхъестественными способностями, помогающими совершить подвиги, недоступные простому смертному. Битва при Маунт-Бадоне из скромного военного эпизода превратилась в центральное

¹ Роллестон Т. Мифы, легенды и предания кельтов. М.: Центрполиграф, 2004. С. 284.

² Мортон У. Артуровский цикл и развитие феодального общества //Томас Мэлори. Смерть Артура. М.: Наука, 1974. С. 778.

ядро легенды, что не должно нас удивлять. Так не раз случалось в эпоху Средневековья, достаточно вспомнить «Песнь о Роланде». Напрашивается и еще одна параллель – со «Словом о полку Игореве», где поражение в битве с половцами второстепенного Новгород-Северского князя Игоря Святославича предстало в виде катастрофы для всей русской земли, которую оплакивают даже силы природы.

В хронике Ненния можно выделить, по крайней мере, три замысла.

Первый существует в контексте культурного подъема в рамках Священной Римской империи Карла Великого, который получил название «каролингское возрождение». Границ «учености» тогда не существовало. Ранее, в «Темные века», в монастыри Ирландии бежали с континента ученые клирики, благодаря чему эти монастыри стали средоточием европейской учености. При Карле протос послел в обратном направлении. К примеру, Алкуин из англосаксонского королевства Нортумбрия стал главой Аахенской Академии Карла Великого и его советником.

Второй состоит в том, что новая саксонская династия пыталась встроиться в историю завоеванного народа. Хроника Ненния была записана при первом короле этой династии Эгберте (802-839). Такое «встраивание» в первую очередь означало окончательное закрепление за собой победы, славы и прав на завоеванные территории, население и предков. В этом смысле подвиги кельтских королей и военачальников должны были служить вящей славе королей английских. Чем труднее победа, чем сильнее противник, тем громче слава.

«Встраивание» имело и еще один смысл, связанный не с прошлыми родовыми отношениями, а с будущими, в которых появляется историческое сознание. Король Уэссекса Альфред Великий (871-899), правивший спустя полвека после составления Неннием «Истории бриттов», уже мог оценить этот труд не с точки зрения сакса, которого когда-то «били» бритты, а с точки зрения покровителя учености. При нем королевский двор в Винчестере стал одним из крупнейших центров образования, наподобие двора Карла Великого в Аахене.

Третий аспект, наоборот, противопоставляет кельтов и вытеснивших их с исконных земель завоевателей-англосаксов. Упоминание в хрониках имен бриттских вождей (и среди них Артура), хотел этого Ненний или не хотел, поднимало дух кельтов и звало их к реваншу.

Нормандская династия обратила внимание на миф об Артуре не сразу. Первых двух королей занимали дела военные и хозяйственные. Памятником Вильгельму Завоевателю стала «Книга Страшного Суда», которая содержала в себе данные поголовной переписи новых подданных и их имущества. После смерти Вильгельма его сыновья и внуки враждовали друг с другом и по очереди претендовали на престол. Относительно тихим было царствование третьего сына Вильгельма, Генриха I Боклерка (1100-1135). Именно в эти годы были написаны «История английских королей» библиотекаря монастыря в Мальмсбери Уильяма и «История королей Британии» валлийского клирика Гальфрида Монмаутского (J. of Monmouth). О Гальфриде известно, что он родился в южном Уэльсе и что его отец носил имя Артур.³

У Гальфрида Артур впервые назван королем. Ни словом не упоминается о битвах, которые приписывали ему более ранние хронисты. Зато он ведет своих британцев в походы на земли от Ирландии до границ современной Италии, чему позавидовал бы сам Цезарь. По этому поводу один хронист XIV века удивлялся, как это историки с континента не обратили тогда ни малейшего внимания на то, как Артур взял тридцать королевств и напал на самого римского императора. У Гальфрида впервые появляются Гвиневера, Мерлин, Фея Моргана, рыцари Гавейн и Кэй.

Гальфрид как бы подводит итог развитию артуровской легенды на кельтской почве.⁴ Начинается следующий этап мифологизации. Поле мифа расширяется: Артур из воина, совершающего эпические подвиги, теперь становится королем. Появляется «свита», которая «играет» своего короля: жена, вассалы, магические помощники и враги.

«История Гальфрида немедленно завоевала прочную популярность, о чем свидетельствует большое количество дошедших до нас списков. Артур стал самым модным героем, и уже сыновья первых читателей Гальфрида могли наслаждаться целым циклом романов, оттеснившим на задний план повествования о Шарлемане».⁵ Количество списков действительно поражает. Через

³ Блейк С. Ллойд С. Пендрагон. Король Артур: Рождение легенды. М.: Вече, 2006. С. 38.

⁴ Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция //Томас Мэлори. Смерть Артура. М.: Наука, 1974. С. 827.

⁵ Мортон. С. 769.

века, войны и революции до нас дошло двести полных списков, одна пятая которых датируется XII веком.

Встает вопрос, почему именно Артур, а не, к примеру, англосаксонский король Альфред Великий, стал «своим» уже для третьего поколения Нормандской династии?

Во-первых, к моменту Нормандского завоевания миф об Артуре уже существовал, и ничего не надо было придумывать нового.

Во-вторых, этот миф устраивал самих норманнов, которые, таким образом, приобретали союзников в лице кельтов. В отряде Вильгельма Завоевателя было немало бретонских (то есть кельтских) баронов, вытесненных в свое время на материк саксами. Теперь они вполне могли рассматривать свое возвращение как долгожданную победу над ненавистными саксами. Первым королям-норманнам также был необходим победоносный предшественник на британском троне. Образ Карла Великого, который «спит до поры, но вернется», был «прибран к рукам» монархами на континенте. Нормандская династия, стремившаяся обрести самостоятельность, получала своего короля «однажды и навсегда».

Кроме того, родоначальник новой династии Вильгельм I был выскочкой, на нем всю жизнь лежало пятно незаконнорожденного, что явно беспокоило его наследников. Поэтому новой династии был нужен миф по типу «Энеиды» для римских императоров или о Карле для французских королей. Гальфрид рассказал им об Артуре.

В-третьих, как ни парадоксально, этот миф мог устраивать и самих саксов. До прихода норманнов их короли правили страной на протяжении двухсот лет, и это была уже их история. Нормандские же бароны, приплывшие в Англию с Вильгельмом, вели себя как настоящие захватчики. Они требовали себе все новых и новых привилегий как платы за старые заслуги и по-прежнему рассматривали Вильгельма как первого среди равных. В своих попытках постепенной централизации власти, ограничения баронских амбиций и введения отношений вассалитета Вильгельм в значительной степени опирался на англосаксонскую знать. Англосаксы также видели в Вильгельме единственный противовес алчным баронам.

Генрих I Боклерк, младший сын Вильгельма I Завоевателя, был женат на Матильде, чьим отцом был шотландский король Малколм, а матерью – внучка последнего англосаксонского короля Эдмунда Железнодорожного Маргарет. Этим браком, вызвавшим недовольство нормандских баронов, он привлек на свою сторону многих англичан, которые с восторгом приняли новую королеву и назвали ее Мод Добрая. В этом контексте вполне разумным шагом являлось написание истории страны, в которой утвердилась новая династия. Династический брак ввел норманнов в культурное поле завоеванных ими народов. Родословная правителей Британии благодаря Гальфриду дошла до легендарного Брута, сына не менее легендарного Энея, спасшегося из Трои. Норманнский «кочующий бандит» стал законным государем и должен был поддерживать свой статус не столько мечом, сколько принятием знаков и символов другой культуры. Таким символом стал образ Артура.

Таким образом, «История» Гальфрида льстила и кельтам, возвеличивая их героя, и саксам, которые только-только стали привыкать к власти, и норманнам, которые должны были убедиться сами, в какой геройской стране они правят.

Крестовые походы распространили славу Артура, воспетую бардами и Гальфридом, до пределов Палестины. Вехами на пути крестоносцев стоят собор Модены, неподалеку от Болоньи, где на архивольте северных дверей есть рельефное изображение воина Артура,⁶ и собор Отранто, близ Бари на Адриатическом море, где около 1165 года появляется мозаичное изображение короля Артура.

К XII веку относится свидетельство некоего английского путешественника, посетившего Сицилию. По его словам, местные жители были уверены, что король Артур спит в жерле вулкана на горе Этна. Приводятся также слова некоего конюха, которого послали искать сбежавшую лошадь. Конюх пересекал чудесную лужайку, когда вдруг увидел кровать с лежащим на ней королем Артуром. Артур поведал ему о своей последней битве и пожаловался на то, что в каждую годовщину этой битвы его старые раны снова болят. Сицилия в то время управлялась норманнскими герцогами, которые и завезли ставшую «своей» легенду на новую территорию.

Безымянный автор XII века писал о том, что слава об Артуре Британском распространилась до пределов христианского мира. Он равно был известен как людям на Западе, так и людям на

⁶ Михайлов. С. 793.

Востоке, о чем свидетельствовали рассказы пилигримов. Артур эпохи первых Крестовых походов – это христианин, победивший язычников-саксов.

Следующей династией, которая не только востребовала образ Артура, но широко распространила миф о нем, стала воцарившаяся в 1154 году династия Плантагенетов. Генрих II Плантагенет приходился правнуком Вильгельму I Завоевателю. Он был женат на Элеоноре Аквитанской, которая принесла мужу обширные земли на юге Франции, где и проводила большую часть времени. При ее дворе возник культ Прекрасной Дамы, который стал не только важной страницей европейской культуры, но и следующим по времени обращением к образу Артура.

К 1175 году Кретьен де Труа красочно пересказал для своей повелительницы Марии Шампанской (дочери Элеоноры) и ее блестящего двора некоторые сюжеты Гальфрида. Именно де Труа заложил основы традиции рыцарских романов так называемого «бретонского цикла». В них сохранился кодекс рыцарской культуры, который надлежало исполнять. В первую очередь, это «Ланселот, или Рыцарь Телеги», «Ивейн, или Рыцарь Льва», «Персеваль, или повесть о Святом Граале». Именно Кретьен де Труа впервые вводит тему Грааля и дает название Двору Артура – Камелот.

Едва ли не центральное место в романах занимает идея любви рыцаря и Дамы, не связанных узами брака, но питающих друг к другу не только возвышенные чувства. Идея «свободной любви» XII века имела бешеный успех у современников и распространилась по всей Европе.

Затем поэтические романы были переложены прозой, все огромное количество сюжетов собрано в цикл из пяти романов, получивший название «Vulgata». «Вульгата» была составлена цистерцианскими монахами к 1225 году. Главными героями этих романов («История Святого Грааля», «История Мерлина», «Книга о Ланселоте Озерном», «Поиск Святого Грааля» и «Смерть короля Артура») стали Ланселот и Гавейн, а не Артур. На первый план вышла тема Грааля.

Произошла и дальнейшая мифологизация образа Артура. «Мир, в котором существует Артур и его сподвижники, – условен. Условно время, условно пространство. Тем самым мир короля Артура существует у Кретьена вне времени и пространства. Не случайно поэтому его королевство не имеет четких границ: Артур царит там, где существует дух рыцарственности».⁷

С этого времени имя Артур появляется в родословных английских королев, но не приносит удачу их обладателям. К примеру, так назвали внука Генриха II, Артура Бретонского, претендента на английский трон. Он был сыном Жоффруа и Констанции Бретонской, племянником Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. В 1203 году в возрасте пятнадцати лет он был злодейски убит своим дядей Иоанном, который таким образом стал королем сам.

В конце 80-х годов XII века в монастыре в Гластонбери, который, как считалось, находился на месте Камелота, замка короля Артура, по приказу Генриха II были начаты первые «археологические раскопки». Они были описаны хронистом Гиральдом Камбрийским.

Согласно легенде, некий монах рассказал Генриху о том, что на месте монастыря Гластонбери был когда-то похоронен Артур. Находка подтвердила бы историческое существование короля и перевела истории его правления из разряда легенд в разряд достоверных фактов. Был еще один «плюс»: она развенчивала бы легенду кельтов о том, что Артур не умер и должен вернуться к своему народу.

Вторично о предполагаемых останках короля Артура вспомнили во времена Эдуарда I. Именно тогда, в 1275 году, английская армия вторглась в Уэльс, где царствовал Ллуэлин Великий. До 1282 года удача была на стороне валлийцев. Возможно, что напоминание о «находке» на территории монастыря в Гластонбери было своеобразной «психической атакой» на валлийцев, которым предъявили доказательства действительной смерти их древнего короля, ставшего к этому времени символом.

В 1282 году в битве погиб Ллуэлин Великий, к 1284 году весь Уэльс оказался под властью английского короля. Титул принца Уэльского перешел к новорожденному первенцу Эдуарда, будущему королю Эдуарду II. С тех пор этот титул носит наследник английского престола.

Кстати, имя Артура еще раз сослужило службу Эдуарду I, когда он доказывал папе Бонифацию VIII свое право вторгнуться в Шотландию тем, что этот край был некогда захвачен самим Артуром (то есть являлся «дедовской вотчиной»). Эдуард цитировал в этом письме «Историю» Гальфрида.⁸

⁷ Михайлов. С. 814.

⁸ Блейк, Ллойд. С. 24.

Следующим монархом, обратившимся к «артуриане», стал Эдуард III Плантагенет (1312-1377 гг.). Он ввел моду на так называемый Двор Артура. Исследователь Средних веков Хейзинга пишет: «Жизнь аристократии во времена позднего Средневековья ... это попытка разыгрывать грёзу, делая участниками всегда одного и того же спектакля то древних героев и мудрецов, то рыцаря и непорочную деву, то бесхитростных пастухов, довольствующихся тем, что имеют...».⁹

Двор Артура времен Эдуарда и был тем своеобразным спектаклем, в котором не было зрителей, но все были актерами. Придворные изображали сцены из жизни рыцарей Круглого стола и их дам. С легкой руки Эдуарда мода на Дворы Артура захватила королевские дворы Европы, вплоть до городов юго-восточной части Балтики. К XV веку возникли «Двор Артуса» в Гданьске и «Двор короля Артура» («Дом черноголовых») в Риге.¹⁰

Также входит в моду учреждать рыцарские ордена, и каждый уважающий себя государь должен был иметь свой собственный орден.¹¹

Эдуард III предполагал учредить рыцарский орден Круглого стола. Для этого был изготовлен Круглый стол, за которым и должны были восседать рыцари нового ордена. В Виндзорском замке специально для него построили Круглую башню. В конце концов король бросил эту идею и в 1348 году учредил Орден Подвязки. Дубовый Стол, перевезенный в собор Винчестера, остался как напоминание о нереализованном замысле.

Последней данью памяти Артура королем Эдуардом было перезахоронение костей из погребения в Гластонбери в мраморные саркофаги.

Династии Ланкастеров и Йорков, правившие Британией на протяжении последующих восьмидесяти с небольшим лет, извели друг друга в войне Алой и Белой Розы (1455-1485 гг.). Авторы просто не успевали посвятить свой труд монарху, как его уже не было на престоле. Так произошло со знаменитой книгой Томаса Мэлори «Смерть Артура». Она предназначалась для Йорков, а получили ее Тюдоры. И получили как нельзя более кстати, потому что их предками были кельты. Наконец королями стали те, кто имел к Артуру хоть какое-то отношение.

Своего первенца Генрих VII назвал Артуром, демонстрируя, таким образом, объединение Дома Тюдоров с землей их предков – Уэльсом. В возрасте пятнадцати лет Артура женили на принцессе Екатерине Арагонской, дочери Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. С ним несчастья принцев, носивших это имя, продолжились. Через год принц Артур умер от простуды. Новым принцем Уэльским стал его брат Генрих, будущий Генрих VIII. Он и был «назначен» новым Артуром, женившись к тому же на Екатерине, вдове своего старшего брата.

К слову сказать, смерть принца Артура не только не позволила появиться на английском престоле королю с таким именем, но и привела к последующим трагическим событиям в жизни всей страны: развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, разрыв с Римом, Реформация и, как следствие, упразднение католических монастырей (в том числе, Гластонберийского аббатства), соперничество Елизаветы и Марии Стюарт, закончившееся казнью последней.

Как бы предвидя все это, роман Мэлори апеллирует к идеалам рыцарства, которые, как казалось современникам, канули в Лету после битвы при Азенкуре (1415 г.) вместе с самими рыцарями. В романе продолжается и дальнейшее развитие образа Артура. Теперь он – император, коронованный в Риме.

В то же время в романе сохраняются архаические мотивы. Мотив отцеубийства: убийца Артура Мордред является одновременно его сыном и племянником, поскольку рожден от сестры. Мотив чудесного спасения младенца: Мерлин предсказывает Артуру, что тот примет смерть от руки юноши, рожденного в первый день мая. Артур приказывает собрать всех детей, рожденных в этот день, на корабль и пустить его по волнам моря. Буря разбивает корабль в щепки, и спасается только Мордред. Мотив моста через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых: он в полфута шириной и ведет к острову, на котором находится гробница братьев-рыцарей. Мотив заколдованной одежды: плащ Морганы, который испепеляет надевшего его, как одежда, погубившая Геракла.

В 1516 году при Генрихе VIII был перекрашен Винчестерский стол. Тогда же на нем был изображен портрет самого короля. Этим как бы возвещалось, что долгожданный Артур вернулся в свое королевство в облике Генриха.

⁹ Хейзинга Й. Осень средневековья. М.: Наука, 1988. С. 44.

¹⁰ Клинге М. Мир Балтики. Хельсинки: АО «Отава», 1995. С. 39.

¹¹ Хейзинга. С. 93.

В начале XVI века изображение короля Артура появляется еще в одном европейском городе, что свидетельствует о том, что образ Артура и миф о нем прочно вошли в общеевропейскую традицию. Скульптурное изображение Артура было выполнено для Максимилиана I, императора Священной Римской империи (1493-1519). Император пожелал, чтобы рядом с его будущей гробницей были установлены скульптурные изображения сорока великих королей и королей древности и современности, так называемые «черные рыцари», которые бы встретили его после смерти. Гробница в Инсбруке осталась кенотафом, из сорока задуманных статуй было выполнено лишь двадцать восемь, но среди них – статуя Артура.¹²

При последней королеве династии Тюдоров, дочери Генриха VIII Елизавете, образ Артура был востребован не однажды в поэмах, стихах и ученых трудах, но также был приспособлен к своему времени. От Артура осталось одно лишь имя, на первый план вышла назидательность как следствие усвоения новых правил поведения человеком эпохи Возрождения. К примеру, этой теме была посвящена поэма Эдмунда Спенсера «Королева фей».

О важности и, как бы мы сейчас сказали, харизматичности образа Артура говорят и данные, правда, подтверждаемые лишь косвенными свидетельствами, о рождении королевы Елизаветой сына, якобы нареченного Артуром.

Как когда-то Эдуард I доказывал свои права на Шотландию, ссылаясь на завоевания Артура, так придворный астролог и математик Елизаветы Джон Ди подарил королеве книгу, в которой писал, что Артур некогда покорил и Америку. Это служило оправданием претензий Англии на заморские территории.¹³

Преемник королевы-девственницы Иаков I Стюарт, как и некоторые его предшественники на английском престоле, также претендовал на то, чтобы быть «новым Артуром». На это его вдохновляло родство с линией Тюдоров через прабабку Маргариту.

Следующее «массовое» обращение к образам артуровского цикла произошло, как мы писали выше, уже в викторианской Англии.

Круглый стол. Миф о творении мира

Образы короля Артура и его рыцарей со временем оказались разделенными. Выполнив свою роль примера для христианского воинства, Артур как активный и творческий герой в большей степени остался британским. Он, подобно богу-творцу, запустил машину мироздания и отправился на отдых. В качестве такового божества он фигурирует в поклонении «Девяти бесстрашным». Имена девяти героев древности названы в «Обете павлина» Жака де Лонгийона около 1312 г. «Это группа из девяти героев: трех язычников, трех евреев и трех христиан – возникает в сфере рыцарских идеалов... Выбор героев выдает тесную связь с рыцарским романом: Гектор, Цезарь, Александр – Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей – Артур, Карл Великий, Готфрид Бульонский».¹⁴

Наступили новые времена куртуазии, и на первый план выступили рыцари Круглого стола. Кроме того, за исключением правления Эдуарда III, Британия не была законодательницей моды, уступив эту привилегию бургундскому и французскому дворам. Немалую роль в «пропаганде» мифа об Артуре и его рыцарях сыграли и германские авторы: Гартман фон Ауэ («Эрек» и «Ивейн») и Вольфрам фон Эшенбах («Парцифаль»). Именно тогда стали добавлять новых персонажей, которые не значились в первоначальном списке рыцарей. Таким образом, на континенте фигура Артура уже не играет в лэ и романах важной роли. Главными становятся его рыцари, совершающие подвиги во имя долга.

Но Артур превратился в «отдыхающего бога» только после того, как его именем была создана новая картина мира, в которой так нуждалась средневековая Европа.

В далеком прошлом осталось нашествие гуннов, беспредел Меровингов, попытки каролингского и оттоновского возрождения древней греческой и римской мудрости.

Мир после так и не состоявшегося в 1000-м году конца света обретал новые границы, и в политическом, и в духовном смыслах. Формировались более или менее устойчивые границы государств, и внуки предводителей бандформирований становились легитимными монархами.

¹² Сайт музея «Гофкирхе» в Инсбруке: www.hofkirche.at.

¹³ Блейк, Ллойд. С. 28.

¹⁴ Хейзинга. С. 76.

Ими были востребованы четкие правила игры, которые могли не соблюдаться, но к которым можно было апеллировать. Изменилась и христианская церковь. Надежды на быстрое вхождение в Град Небесный были отложены. Жизнь продолжалась, и надо было строить Град Земной.

Одной из моделей, которая в символической форме представила творение нового пост-римского мира, явилась легенда о Круглом столе короля Артура. В значительной степени она вышла из ностальгии по старым добрым временам, и в ее основе лежал базовый миф о золотом веке. Но причины, ее вызвавшие, были новыми, относящимися к первым устоявшимся династиям. Модель эта, языческая по своей сути, отвечала насущным проблемам строительства нового мира на христианской основе.

Первые сведения о Круглом столе короля Артура относятся к рубежу XII-XIII веков. Они сохранились в поэме норманнского хрониста Уэйса (или Васа) «Роман Брута», написанной на французском языке в 1155 году. Уэйс переложил в стихах Гальфрида, кое-что добавив от себя, например, рассказ о ссорах между рыцарями Артура.

Считается, что первым сюжет о Круглом столе подробно разработал священник из Уорчестера Лэймон, который и перевел «Роман Брута» на английский язык. В его переводе соединились традиции англосаксонского эпоса и французской куртуазной литературы. Несмотря на то, что мотив Круглого стола встречался еще в валлийских сказаниях, во времена Лэймона этот образ вошел в себя новое содержание. Он оказался связан с идеей духовного братства.

Примерно за сто лет, на отрезке с конца XI века до начала XIII века, в Европе возникли новые монашеские ордена (цистерцианцы, картузианцы, кармелиты, тринитарии францисканцы и доминиканцы). Крестовые походы вызвали к жизни духовно-рыцарские ордена госпитальеров и тамплиеров, ставшие символами рыцарства. Тогда же был учрежден орден Алькантры для борьбы с маврами. Члены орденов были равны в выполнении своей миссии, но одновременно внутри них существовала иерархия с безусловным подчинением главе ордена.

Модель «Круглого стола» отвечала этим же требованиям. Провозглашалась идея равенства рыцарей, собравшихся под скипетром их короля. Сам король переставал быть первым среди равных, как во времена набегов.

Такая модель продержалась сравнительно недолго. Она была необходима только на первых порах, когда первые королевские династии обретали легитимность. Вассалы должны были признать своего короля, и в этом они были равны. То есть на начальном этапе основной задачей «свежеиспеченного» короля было остановить вражду кланов с целью захвата трона. Со временем, в связи с усложнением системы вассалитета, модель Круглого стола стала уходить, по ней стали ностальгировать как по утерянному золотому веку, но вначале она, несомненно, зафиксировала некоторый порядок и установила новые правила игры.

Успеху этой модели способствовало то, что повествование Лэймона, с одной стороны, было актуальным, с другой стороны, уходило корнями в пространство архетипов, что позволяет провести ряд аналогий с символами, широко используемыми в мифах различных народов.

Во-первых, это символика творения мира и установления в нем порядка. Лэймон вводит фигуру плотника, который пришел к Артуру, прослышав о смертельных боях за почетные места за его столом. Эти бои невозможно было остановить даже угрозой казни рыцаря, его жены и всей родни. Плотник предложил Артуру сделать такой стол, за которым все будут равным образом в его пределах, одновременно снаружи и внутри. Фигура плотника напоминает нам не только о плотнике Иосифе, ставшем земным отцом Иисуса, но и «плотнике» Ное, который построил ковчег. Вышедшие из ковчега люди и животные положили начало новому миру, возникшему после потопа.

Во-вторых, это символика круга как полноты и совершенства. Круглый стол Артура – это полнота мира и подобие Вселенной. В нем соединены христианский мир и небеса. Узы братства рыцарей Круглого стола были сильнее, чем семейные: как первохристиане, они должны были бросать отца, мать, жену, детей, сестер и братьев ради братства. Потому что только там в духовном смысле они обретали настоящих жен, детей, родственников и родителей.

В-третьих, это символика стола, вернее, мистической трапезы, которая совершается за этим столом.

Можно считать, что Круглый стол – это граница между старым родовым строем и идеальным миром, построенном на христианских ценностях. В старом мире должна была остаться кровная месть за родственника, а в новый перейти идея братства.

Роман Мэлори, написанный спустя 300 лет после Лэймона, в середине XV века, появился на очередном повороте истории, когда была востребована новая картина мира. Битва при Азенкуре в 1415 г. положила конец сословию рыцарства, но его идеалы, отнесенные к золотому веку, остались. Исследователи считают, что роман Мэлори явился назиданием его современникам, критикой «повреждения нравов» и призывом к новой династии Тюдоров восстановить законы добрых старых времен. Круглый стол символизирует у Мэлори чувство долга и является средством для примирения старого мира (Гавейн) и нового мира (Ланселот).¹⁵ Мэлори обозначил нижнюю временную границу зарождения новой картины мира. В этом смысле Сервантес, написавший спустя 150 лет о хитроумном идальго, обозначил своим романом верхнюю границу, после которой никакое примирение стало невозможно.

Если Круглый стол у Лэймона несет в себе черты дохристианской символики, он – вне времени, то Круглый стол у Мэлори включен в христианскую картину мира и имеет историю.

Первым по времени и прообразом последующих считается легендарный стол Тайной вечери.

Второй стол называют Столом Грааля. Он был сделан Иосифом Аримафейским специально для Чаши Грааля, которая стояла в центре. Считалось, что только добродетельные люди могли сесть за этот Стол, потому что сам Грааль отделял их от плохих. Одно место за столом всегда было вакантным. То есть Стол несовершенен до тех пор, пока Господь не ниспошлет некоего мужа для завершенности, полноты этого творения.

Третий Стол и есть стол Утера Пендрагона, отца Артура. Стол был сделан Мерлином, а затем подарен королем Утером королю Леодеграну. Тот, в свою очередь, отдал Стол Артуру в качестве свадебного подарка за своей дочерью Гвиневерой. За ним могло сидеть сто рыцарей и еще пятьдесят. У Леодеграна не было столько рыцарей, он прислал Артуру только сто. Мерлину было поручено отыскать еще пятьдесят.

Именно этот стол исполнил свое предназначение и стал «совершенен». Всегда пустовавшее «гибельное сидение» было, наконец, занято «чистым» рыцарем Галахадом. Оно символизировало место, на котором сидел Иуда во время Тайной вечери, а потому любой, садившийся на него доселе, проваливался в преисподнюю. Вина Иуды была искуплена безгрешным Галахадом, и мир обрел совершенство.

По разным источникам, количество рыцарей за Столом колеблется от 12 до 150.

Рыцарями Круглого стола становились различными путями: по личному приглашению короля Артура; по выбору Мерлина; на спинке сиденья появлялась надпись золотыми буквами с именем рыцаря, то есть место само выбирало себе владельца; за претендента мог поручиться рыцарь Круглого стола; рыцарь мог быть приведен проводником чудесной силы. К примеру, Персевалея посадила на не занятое еще никем сидение рядом с «гибельным» немая девица, которая по этому поводу чудом заговорила. После чего она позвала священника, причастилась и умерла.

Мэлори подробно описывает кодекс чести рыцаря Круглого стола. Артур потребовал от своих рыцарей, чтобы они не творили жестокостей, смертей и измены; чтобы прощали того, кто просит о прощении, под страхом потери покровительства и милостей короля Артура навсегда. Также рыцари должны были заступаться за дам и девиц, благородных женщин и вдов и не чинить над ними насилия. Также ни один рыцарь не мог поднять оружие в неправой ссоре или друг на друга ни ради славы, ни за какие богатства земные.

Примеру рыцарей Круглого стола должны были следовать придворные европейских монархов, и сами монархи.

К временам Филиппа Доброго (1396-1467) относится следующая история. Герцог Бургундский поссорился с сыном, покинул замок и всю ночь блуждал по лесу. Наутро находчивый придворный встретил его словами: «Дня доброго, монсеньор! Что это? Уж не мнится ли Вам, что Вы король Артур или мессир Ланселот?»¹⁶

Известно, что сын Филиппа Карл Смелый (1433-1477) с юности читал о подвигах Гавейна и Ланселота.

Уже к XIII-XIV векам относится широкое распространение празднеств, носящих название празднеств Круглого стола в честь рыцарей Камелота. В 1344 году в Виндзорском замке состоялось одно из самых пышных таких празднеств. Король Эдуард III праздновал двойную победу

¹⁵ Мортон. С. 784.

¹⁶ Хейзинга. С. 16.

над старыми врагами Англии – Францией и Шотландией. Все завершилось грандиозным пиром «в стиле» Круглого стола короля Артура.

Сохранилось свидетельство о том, что князь Бейрута устроил празднество Круглого стола в честь посвящения в рыцари своего старшего сына.¹⁷

Такие празднества прошли на Кипре в 1223 году, в испанской Валенсии в 1269 году, в Акре в 1286, в Праге в 1319, в Дублине в 1498 году. Приглашенные получали имена рыцарей короля Артура, геральдические знаки и одежды, демонстрировали поведение, которое, как им казалось, соответствовало манерам артуровских времен. Празднество заканчивалось рыцарским турниром, который совсем не был «игрушечным», но мог стать последним для участников. По крайней мере, в позднем Средневековье церковное право запрещало турниры, и церковь отказывалась хоронить по христианскому обряду погибших в поединке.

Празднества Круглого стола не были прерогативой только знати. Сохранилось известие о некоем горожанине из Магдебурга, падком на моду, который в 1281 году разослал приглашения своим знакомым купцам принять участие в торжестве Круглого стола и показать свою удаль.

Полное крушение принципов, на которых было основано братство Круглого стола, произошло, согласно Лэймону и Мэлори, когда сэр Гавейн с братьями (сыновья короля Лота) объявили вендетту королю Пеллинору и его сыну Ламораку. Последовала череда убийств, в которых рыцари облили свои мечи братской кровью.

Картина мира снова отстала от времени и превратилась в миф. Закончилась эпоха Круглого стола. С одной стороны, она исчерпала себя и осталась в виде воспоминаний о золотом веке рыцарства, которые вдохновляли последующие поколения. С другой стороны, она перенесла через века ключевое слово, на котором строит свое отношение с гражданами любое европейское государство. И это слово – «равенство».

Чаша Грааля. Миф о духовном поиске, индивидуации

Любой миф находится вне времени, но он вдохновляет людей в века перемен, когда формируется новая картина мира. Эта картина востребует и нового человека, который ищет себя в этом мире. В контексте артуровского цикла поиск себя связан с поиском чаши Грааля. Эта тема, так же как и предыдущая, подробнее разрабатывалась французами и немцами, нежели англичанами, хотя Грааль связан именно с Британией.

Согласно апокрифическому Евангелию, Чашу привез в Британию Иосиф Аримафейский. Он приходился дядей Деве Марии и был тайным учеником Христа. В первый раз он приезжал в Британию с одиннадцатилетним Иисусом. Затем молодой Иисус приезжал на остров один и даже соорудил в Гластонбери для себя маленькую хижину. Иосиф Аримафейский присутствовал при распятии Иисуса, и именно он собрал кровь, вытекавшую из раны, в Чашу со стола Тайной вечери. Затем с этой Чашей, получившей название Грааль (le Sang Real, королевская кровь), он приехал в Британию, где стал первым епископом. На том месте, где стояла хижина, и было основано Гластонберийское аббатство. Иосиф воткнул в землю свой посох, превратившийся в Гластонберийский терновник, и спрятал Грааль в Источнике Чаши.

Кстати, позднее эта легенда играла роль важного аргумента в споре Папы Римского и Генриха VIII. Англичане доказывали, что Иосиф принес христианскую веру в Британию раньше, чем Павел принес ее в Рим. Поэтому англиканской церкви принадлежит старшинство.¹⁸

В монастыре Гластонбери до его упразднения во времена Реформации находились рака Иосифа Аримафейского и легендарное захоронение короля Артура и его королевы. На этой земле объединились сюжеты об Артуре и Чаше Грааля, долгое время развивавшиеся самостоятельно.

Впервые Грааль в артуровский цикл вводит Кретьен де Труа в 1175 году. Чаша и копье звали к снятию заклатья с Заколдованного замка. Через полвека стараниями монахов-цистерцианцев тема Грааля стала основной. В «Вульгате» они поведали историю Святого Грааля от Христа до смерти Артура. Несмотря на то, что таким образом в цикле сложилось новое религиозное христианское ядро, в артуровском мифе осталось очень много языческих сказочных элементов.

¹⁷ Михайлов. С. 814.

¹⁸ Блейк, Ллойд. С. 23.

Что же ищут рыцари короля Артура? В христианской парадигме – благодати, которая снизойдет на них, когда они узрят Чашу Грааля. Но мотив поиска (квеста) и связанного с ним путешествия имеет древние корни, что позволяет говорить о его архетипической природе.

Первые мистические путешествия – это путешествия в потусторонний мир, к примеру, во время инициаций охотников. Подросток символически умирал, а затем воскресал к новой взрослой жизни. Древние воспоминания остались в сюжетах сказок о путешествиях в Тридевятое царство за жар-птицей, живой водой или молодильными яблоками.

Классические сюжеты античности – это поход аргонавтов, Троянская война и путешествие Одиссея. У кельтов – поиск волшебного котла Анвена, ради овладения которым герой отправляется в загробный мир. Во времена формирования и трансляции мифа об Артуре – Крестовые походы за отвоевание Гроба Господня.

Герой совершал квест на двух уровнях: внешнем и внутреннем. Двигаясь к достижению внешней заданной цели, он неосознанно преображался внутренне. И даже если внешняя цель не бывала достигнута, а герой менялся по сравнению с собой прежним, то можно сказать, что внутренний квест был совершен. На языке юнгианской психологии такой духовный квест называется процессом индивидуации, направленной на достижение Самости.

Идеалы героя со временем менялись. Языческий герой должен был быть бесстрашным воином, а современный – достойным гражданином.

Христианский герой поначалу мог быть мучеником, монахом или святым. Со временем, с введением мирского кодекса куртуазии к этим качествам прибавились вежливость, храбрость, любовь и щедрость.¹⁹

Герой, ищущий и совершающий на своем пути ошибки (или, в другой парадигме, грехи), всегда интереснее статичного благополучного. В этом смысле перед писателями всегда стояла проблема «положительного» героя. Он почти всегда оказывался менее интересным, чем злодей. У Мэлори гораздо достовернее выглядит фигура сэра Ланселота по сравнению с его сыном сэром Галахадом. Последний – совершенный рыцарь «без страха и упрека», заслуженно узревший Грааль и через некоторое время испутивший дух, не вынеся приземленности жизни. Ланселот – грешник, ему не дано лицезреть Грааль, он может лишь приблизиться к нему. Но это – живая фигура со всеми страстями: ненавистью к врагам, уважением к королю и любовью к королеве, с рыцарской удалью. Грех, ему вменяемый, состоит в том, что он воевал в неправедных войнах из тщеславия и ради мирских радостей. Но все же путь, пройденный Ланселотом от непобедимого рыцаря до монаха, впечатляет более, чем совершенство его сына, возникшее по Божьей воле.

В сюжете о квесте процесс не менее важен, чем результат. Ведь только пройдя через испытания, став совершеннее, герой достигает цели или приближается к ней. Такой поиск себя – процесс индивидуальный, который никто за героя пройти не может. Здесь мотив братства, команды отходит на второй план. Может быть, поэтому орден рыцарей Круглого стола так и не был учрежден Эдуардом III. Он фиксировал бы внешнее, почти карнавальное явление. О том, что идея рыцарского братства не рассматривалась как существенная, говорит тот факт, что взамен был учрежден одиозный орден Подвязки с его девизом «Позор тому, кто плохо об этом подумает». Ведь история создания этого ордена связана, скорее, с подвязкой графини Солсбери, нежели с сигналом к атаке в битве при Кресси.

В то же время, орден Золотого Руна, учрежденный через 80 лет французским королем и бургундским герцогом Филиппом Добрым, существует до сих пор. Архетипический мотив квеста как личного поиска оказался долговечным. Коллективные идеалы стали разбиваться об индивидуальные желания и стремления.

В этом смысле становится понятным пророчество короля Артура, что после поисков Грааля его рыцари уже не съедутся вместе в этом мире. Действительно, из квеста многие из них вернутся другими и «вырастут» из Круглого стола, словно из детской одежды.

Как же на внешнем уровне изменился мир после того, как избранным была явлена Чаша Грааля?

Согласно Мэлори, излечился от смертельной болезни Увечный король, исцелился некий немолодой старец, воинство ангелов унесло на небо душу Галахада, а рука – копье и Чашу Грааля.

¹⁹ Ле Гофф. С небес на землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII-XIII веков) //Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1991.

Согласно Кретьену де Труа, излечится от смертельной болезни Король-Рыбак, дед Персеваля, чтобы впоследствии умереть в мире; в его владениях не воцарится хаос. Спадут чары с заколдованного замка. Все это в будущем, потому что «Персеваль» Кретьена остался незаконченным.

В предложенной картине мира христианское начало возобладавало над языческим элементом. Явление Грааля избранным было нужно для того, чтобы они засвидетельствовали о его подлинном существовании. После чего Чаша была взята на небо вместе с самым чистым из избранных, Галахадом, к которому спустя некоторое время присоединились двое других. Град Небесный окончательно отмежевался от Града Земного, который погряз в распрях и войнах. Распался круг рыцарей Круглого стола, был убит король Артур. Но осталась мечта о поиске святого и подлинного в своей душе.

В мифологические времена Артура было лишь несколько человек, способных отправиться на такой поиск, и только трое нашедших себя. С каждым новым веком число людей, осознавших себя личностями, увеличивалось. Все больше их отправляется в духовный квест, что означает, что мостик между Градом Земным и Градом Небесным все еще существует.

Подводя итог, можно насчитать по крайней мере пять репрезентаций мифа об Артуре:

1. Индоевропейский, самый архаичный, относящийся к коллективному бессознательному и связанный с образом Артура как жестокого воина, возможно, персонифицированного бога войны.

2. Кельтский, распадающийся на валлийский, ирландский, галльский, относящийся к родовому бессознательному. Здесь – валлийские саги, наделяющие Артура магическими чертами, где он представитель загробного мира и король. Сюда же относятся галльские мифы о «диких охотниках» Артура.

3. Династический английский. Каждая новая династия (Нормандская, Плантагенеты, Тюдоры) ставила миф себе на службу. Миф о короле Артуре стал для Великобритании XIX века нациообразующим мифом. Символ – Эскалибур как знак легитимности власти.

4. Западный христианский. Крестовые походы, династические браки, книгоиздательская деятельность, киноиндустрия, ПК распространили миф об Артуре и рыцарях Круглого стола по всей Европе и Северной Америке. Это – миф «устроения мира», востребуемый на поворотах истории. Уход римлян из Британии, распад старых родовых отношений, христианизация Европы привели к одному из вариантов мифа о творении. В этом смысле миф глобализации, проповедующий общество равных возможностей, либеральные и демократические ценности в нем, также является его очередным вариантом и проходит под знаком круга как символа полноты и совершенства. Символ – Круглый стол.

5. Общечеловеческий. Человек рассматривается как личность, находящаяся на пути самопознания и самосовершенствования. Символ – Святой Грааль.

Вышеперечисленные репрезентации являются одновременно и ступенями лестницы, по которой движется социум в своем развитии. Переход на каждую новую ступень связан с кризисом идентичности и предполагает «воспоминание» истоков мифа для того, чтобы развить его дальше, выстраивая новые отношения в соответствии с идеями эпохи. Примерно об этом писал Мирча Элиаде, рассматривая функционирование мифов о происхождении: они проигрываются в ритуалах каждый раз, когда социуму необходимо обрести «твердую почву под ногами» для решения новой задачи.²⁰

²⁰ Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект; Парадигма, 2005. С. 21.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр МЕЛИХОВ

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

На первый взгляд, странно, что солидный том Леонида Млечина «Брежнев» (М., 2008) вышел в серии «Жизнь замечательных людей», — для нас, с позволения выразиться, интеллигенции, в Брежневе не было ничего замечательного, он был воплощением ординарности, лучшим подтверждением нашей утешительной уверенности, что мы неизмеримо умнее тех, кто наверху. И его подробная биография как будто с самого начала подтверждает это. После краткого пребывания в гимназии в качестве пригостишки — учащийся трудовой школы, затем кочегар, слесарь, студент землеустроительно-мелиоративного техникума, инженер-теплосиловик, курсант танковой школы — столько профессий освоить и ни на одной не задержаться, все тянуться к карьере «просто начальника»... Словом, типичный парработник, даже и своих кормильцев Маркса — Ленина не берущий в руки без крайней нужды. Мы же тогда не знали таких красивых слов, как профессиональный менеджер, профессиональный политик: где не сеют, не пахут и не пишут статей и книг, на наш тогдашний взгляд, ничего не делают. К чему с молодых ногтей и стремился Брежнев.

Конечно же, он тоже был молод, в кого-то влюблялся (в особу, подозрительную по поводу еще не набравшего силу пятого пункта), о чем-то мечтал, но — источники о романтике: об этих серых людях как правило и вспоминают такие же серые чиновники, почти ничего, кроме казенных штампов, изобразить и разглядеть не умеющие. Лишь чудом сохранилось **стихотворение** юного Леонида, посвященное гибели Вацлава Воровского, — подражание **Северяину!**

Это было в Лозане, где цветут геотропы,
Где сказочно-дивные снятся где сны.
В центре культурно кичливой Европы
В центре красивой, как сказка страны.

(Правописание сохранено в почтительной неизменности.)

Баллада слишком длинна, чтобы ее привести целиком, но концовкой предлагаю насладиться:

А утром в отделе под фирмой астрий
Посол наш, убит был, убийцы рукой
И в книге великой российской истории
Жертвой прибавилось больше одной!!!

Здесь и обериутам было бы чему поучиться!

К сожалению, подобные перлы огромная редкость в тщательно проработанной Л. Млечиным брежневiane, это мир постановлений, протоколов, служебных интриг, воспоминаний серьезных людей, мало чем интересующихся за пределами этого тусклого пятка. Определавшего, однако, жизнь, без преувеличений, целого мира. Нет, для историка все это очень познавательно, но для тех, кто представляет политическую жизнь по романам Дюма, не слишком захватывающе. И единственное дарование, которое среди всей этой рутины обнаруживает товарищ Леонид Ильич Брежнев, — умение ладить с людьми, поддерживать равновесие в системе власти. Явно стремясь обходиться минимальной дозой жестокости. Представляя собою некий идеал конформиста во главе страны, считавшейся одним из главных мировых агрессоров.

Л. Млечин уделяет немалое внимание и личной жизни Брежнева, однако и там, даже в столь пикантной сфере, как отношения с женщинами, все выглядит до крайности приземленным — ни взлетов на балкон, ни падений с моста. Да и какие могут быть страсти, если немолодой генсек,

судя по всему, предпочитал подручный материал женской obsługi, не смеющей противиться его ласкам, а может быть, о них даже и мечтающей.

Не любил, словом, человек создавать проблемы ни себе, ни другим. Как на личном, так и на государственном и даже международном уровне.

Иногда начинает даже казаться изощренной издевкой, что в государственном некрологе наш дорогой Леонид Ильич был назван великим революционером. Однако, страница за страницей читая Л. Млечина, понемногу с изумлением обнаруживаешь, что незабвенный «Леня» был носителем поистине революционной идеи перехода социализма из утопической в консюмеристскую стадию. В которой государство, оставаясь главным собственником, уже не претендует на мировое господство социалистической системы с целью установления всемирного братства, но всего лишь стремится к максимально спокойной и благоустроенной жизни.

Идея потребительского социализма и сегодня обладает серьезным политическим потенциалом – идея уничтожения экономической конкуренции не ради каких-то химер, но просто во имя спокойной жизни. Разумеется, ограничение личной инициативы требует какой-то идеологии, обосновывающей подавление экономической свободы, но совсем не обязательно ортодоксально марксистской – Брежнев, собственно, и нащупал центральные положения этой идеологии: благосостояние трудящихся и мир во всем мире. Знакомясь с многочисленными стенограммами, с удивлением убеждаешься, что для Брежнева эти лозунги вовсе не были чистой демагогией: среди наследников Ленина и Сталина он выглядит именно что представителем социализма с человеческим лицом.

В узком кругу он поговаривал и о реформах (мы же фронтовики, неужели нам занимать мужества?), но чехословацкие шаги к реальному социализму с человеческим лицом его отрезвили раз и навсегда. Покуда борьба в чехословацком руководстве шла на уровне идей, он считал это внутренней склокой, в которую нам лезть не с руки: пусть сами разбираются. Но когда возникла реальная опасность утратить санитарный кордон между Советским Союзом и Западной Европой, он понял, что на карте стоит – если и не безопасность страны, то его собственная карьера. «Если бы я потерял Чехословакию, мне бы пришлось уйти с поста генерального секретаря», – с полной откровенностью вспоминал он впоследствии.

Но и в те дни в откровенном разговоре с чехословацкими лидерами он приводит лишь военно-стратегические соображения: «Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы Второй мировой войны освободил советский солдат. Границы этих территорий – это наши границы. Мы имеем право направить в вашу страну войска, чтобы чувствовать себя в безопасности в наших общих границах». Как видите, о социалистических идеалах ни слова.

Он и вообще марксистскую схоластику в узком кругу по-свойски называл тряхомудией, гонку вооружений пытался притормаживать и даже евреев старался не раздражать без особой надобности. Однако, наталкиваясь на сопротивление догматиков и ястребов, чаще всего отступал: как всякий консюмерист, Брежнев не желал ради каких бы то ни было общих идей рисковать личным благополучием. В этом и заключается слабость консюмеризма – ему трудно соперничать с романтическими идеологиями, порождающими в своих носителях жертвенность и готовность к риску. Но если бы социализм дождался естественной убыли последних, уже смехотворных наследников романтического большевизма, кто знает, может быть, он и обрел бы сколько-то человеческое лицо: вместо ракетных шахт принялся строить дома, вместо танков автомобили, вместо кирзовых сапог ботинки...

Разумеется, неустрашимые пороки социализма сохранились бы и тогда: ботинки, равно как и машины, были бы низкого качества, но зато стоили дешево и были всем доступны; за работу платили бы меньше, чем на Западе, зато много и не требовали; ведомства бы в еще большей степени диктовали обществу свою волю, но, по крайней мере, переводили его труд и природные ресурсы, не подвергая опасности мировой войны...

Я думаю, довольно многие и сегодня хотели бы видеть Россию именно такой – **стабильной**. Как ни странно, Брежнев, похоже, и впрямь опережал свое время и лучше нас понимал свою страну.

Есть у Млечина такой, почти трогательный, эпизод. Брежнев спрашивает у более искушенного знатока международных отношений, почему американские президенты не строят свою избирательную кампанию на борьбе за мир – ему было трудно поверить, что за идеей разоружения американские массы вовсе не обязательно побегут, задрвав штаны...

А если бы побежали, Брежнев наверняка охотно пошел бы им навстречу. Ибо в военном деле он любил только парады, ордена и мундиры, а страдания, смерть и всяческие треволнения ему

были явно неприятны. Правда, не настолько, чтобы сделаться пацифистом — он не любил крайностей ни в чем. Он был готов на мягкую международную политику в той степени, в которой это не слишком раздражало ястребов: в серьезные конфликты с ними он никогда не вступал — консюмеризм и сегодня остается медлительным беспозвоночным среди стремительных хищников.

В последние годы Брежнев, подсевший на наркотики, производил впечатление смертельно уставшего человека — не хотел ни напрягаться, ни отойти от власти. Впрочем, он хорошо знал, в какое ничтожество низвергается с советского олимпа отработанный человеческий материал — контраст оказывался, пожалуй, даже более разительным, чем у простого советского пенсионера...

Но последняя приключившаяся с ним история, вызывает прямо-таки уважение: на Ташкентском авиационном заводе на генсека рухнули строительные леса, на которые набились любопытствующие рабочие. Чудом оставшись в живых, со сломанной ключицей Брежнев связывается с Андроповым и просит не рубить голов: я сам виноват. Наш дорогой Леонид Ильич и впрямь воцарил консюмеризм с человеческим лицом.

Борис ВАЙЛЬ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ...

Проблемы истории Русского зарубежья: Материалы и исследования. Вып. 1. Москва: Наука, 2005, 454 с.

Научное изучение эмиграции началось в России после краха коммунизма. К настоящему времени книг на эту тему наберется на одну небольшую этажерку. Рецензируемое издание выделяется из многих других серьезным подходом, недаром же оно издано под эгидой Института всеобщей истории Российской Академии наук. Хотя в книге не хватает именного указателя и нет справки об авторах сборника. Порой авторам статей не достает академической нейтральности в подходе к темам, связанным со злободневными проблемами. Вот, скажем, в предисловии ответственный редактор книги Н. Т. Энеева пишет об «украинском сепаратизме» (речь идет о периоде после 1917 г.). Что бы это могло значить? Возможно ли говорить о польском или эстонском «сепаратизме»? Означает ли это, что Н. Т. Энеева не признает современное украинское государство? Крайне странно слышать такое, да еще в научном издании.

Энеева пишет в предисловии, что редколлегия сборника не разделяет точки зрения одного из авторов (итальянца), но «считает представленный в статье фактический материал интересным. В частности он свидетельствует о тесных контактах украинских сепаратистов с итальянскими протофашистами...». Т. е. украинские «сепаратисты» должны быть скомпрометированы их связями с итальянскими протофашистами. Однако в этом же самом сборнике помещена вполне серьезная статья Ю. Цурганова «Формирование прогерманского крыла российской военной эмиграции». И всем известны связи правого крыла российской эмиграции не только с Муссолини, но и с Гитлером. И если российские эмигранты в своей борьбе с большевизмом хотели бы опереться на Гитлера, то разве удивительно, что того же хотели «националистические движения российских окраин» (цитата из предисловия Энеевой)?

Вообще Энеевой принадлежат две статьи и четыре публикации в данном сборнике. Все они касаются религиозных тем, и это, разумеется, оправдано, поскольку многие в «русском зарубежье» — но, конечно, далеко не все — считали себя православными. Вообще, в первом выпуске «Проблем...» нет статей ни об эсерах, ни о меньшевиках, ни о кадетах в эмиграции, хотя весь выпуск посвящен первой волне эмиграции. Но это вполне может быть закономерно, поскольку это всего лишь выпуск 1-й. Мы ожидали последующих выпусков, но по не зависящим от редакции причинам их не появилось, хотя у редакции скопилось материалов на несколько томов...

Разделы данного выпуска таковы: «Церковь», «Дипломатия и общественные организации», «Философия и культура», «Идеология и национальные течения», «Публикации», «Портреты историков», «Рецензии» и «Анонсы».

В разделе «Дипломатия и общественные организации» обращают на себя внимание две статьи Елены Мироновой о российских дипломатах в изгнании. Речь идет о тех дипломатах России, которые были назначены царским правительством — или затем Временным — и не подчинились большевикам. Троцкий — первый советский наркоминдел — всех их уволил даже без предоставления пенсии (всего лишь два дипломата отозвались на призыв Троцкого поддержать

Совнарком). Российские дипломаты продолжали официально функционировать за границей вплоть до 1924 г. – пока западные страны не признали СССР. Они организовали в Париже Совершенно послов, – переименованное затем в Совет послов, – единственное правительственное учреждение, оставшееся от прежней России. После 1924 г. «старые» российские посольства за границей занимались помощью соотечественникам (оформляли их юридические документы), помогали им материально, являлись посредниками между ними и властями страны пребывания. Российские юристы при Советании послов внесли свой вклад в разработку документа, утвержденного Лигой Наций, – так называемого «нансеновского» паспорта, признанного к 1923 г. тридцать одним государством.

Несколько статей посвящено жизни русских эмигрантов в Германии, Чехословакии и в Италии в 1920-е гг. Статья Н. П. Комоловой рассказывает о жизни в эмиграции Павла Муратова (1881-1950), автора известной книги «Образы Италии».

Много нового узнает читатель из статьи Т. М. Симоновой «Концепция “прометеизма” и политика Польши в отношении эмиграции из России (1920-1930)», написанной по архивным материалам, в том числе – из Российского государственного военного архива. «Прометеизм» происходит от названия клуба «Прометей» и одноименного журнала, созданных в 1926 г. в Польше. В основе «прометеизма» лежит идея мессианской роли Польши, отделяющей «варварский» Восток (Россию) от «цивилизованного» Запада. Т. Симонова пишет, что «лозунг „за нашу и вашу свободу“, утвердившийся в сознании нескольких поколений поляков, отражал их специфическое восприятие своей мессианской роли в истории – быть опорой и оказывать поддержку всем угнетенным и борющимся за свое национальное освобождение народам. (Заметим здесь в скобках, что с лозунгом «**За нашу и нашу свободу!**» вышли в августе 1968 г. Павел Литвинов, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская и другие на Красную площадь, протестуя против вторжения СССР в Чехословакию...)

Из статьи Т. Симоновой мы узнаем, как польские власти на протяжении 1920-1930-х гг. сотрудничали с антибольшевистскими силами: прежде всего с Б. Савинковым, создавшим в 1920 г. в Польше Российский политический комитет. Этот комитет сотрудничал с Белорусской народной республикой (БНР) и Украинской народной республикой (УНР), а также и с Кубанской республикой. С 1920 г. казаки «целыми военными формированиями» стали переходить из Красной армии на сторону поляков. При активном участии Б. Савинкова был разработан проект создания из русских казаков польского пограничного корпуса.

В Польшу направлялись также грузины-эмигранты для обучения в польских военных школах. Грузинским меньшевикам Польша платила пособия. Ежемесячные пособия получали и четыре лидера азербайджанской эмиграции в Польше. На средства польского генштаба издавался журнал кавказских горцев, равно как и издания татарской эмиграции. Но главным направлением польского «прометеизма» была, естественно, Украина.

Все это – скажет читатель – дела давно минувших дней. Не совсем так. Ныне, когда Польша вошла в Европейский союз, она борется за то, чтобы и Украина сотрудничала с ЕС.

Итак, рецензируемый сборник – существенный вклад в историю российской эмиграции. Правда, не всегда здесь речь идет об эмиграции как таковой. Например, статья Н. П. Комоловой «Профессор Ренато Ризалити. В России и о России». Повествует она об одном итальянском историке, об эволюции его взглядов на Россию. Сама по себе эта статья насыщенная и интересная, но разве она об эмиграции? Это уже совершенно иная тема: иностранные слависты и советологи «в России и о России».

Жаль, что тираж данного издания делает его малодоступным – всего лишь 560 экземпляров.

«ПАТРИОТ-ИЗМЕННИК»

Mikkel Kirkæbæk. Schalburg – en patriotisk landsforræder. København: Gyldendal, 2008, 511 s. (Миккель Киркебек. Шальбург – патриот-изменник. Копенгаген: Гюльдендаль, 2008, 511 с.)

Кто в России знает о Кристиане (Константине) Шальбурге (1906-1942)? Кроме небольшого числа почитателей СС и неонацистов – пожалуй, никто.

В Дании же имя Шальбурга до сих пор вызывает у большинства отвращение. Это связано, прежде всего, с деятельностью «Корпуса Шальбурга», боровшегося с Движением сопротивления во время немецкой оккупации. Однако сам корпус возник почти через год после смерти Шальбурга.

В датских энциклопедиях мы найдем только «Корпус Шальбурга», а в статье о Корпусе – лишь имя Шальбурга и годы его рождения и смерти. Ну прямо как в Большой Советской Энциклопедии: есть «троцкизм», а Троцкого – нет!

Когда автор данной книги М. Киркебек собирал сведения у тех, кто еще помнит Шальбурга, то он позвонил, в частности, одному бывшему лейб-гвардейцу, знавшему Шальбурга (сам Шальбург долго служил в датской лейб-гвардии). Тот ответил так: «О биографии человека, в такой степени предавшего свою страну и офицерский корпус Королевской лейб-гвардии, – о нем у меня нет интереса рассказывать. Для меня он – несуществующая личность».

Хорошо еще, что многие другие сослуживцы и однопартийцы Шальбурга откликнулись на просьбу автора и, вспоминая о нем, пытались быть объективными.

Кристиан Шальбург родился в 1906 г. в Змеиногорске, на Алтае. Его отец – как и другие предприимчивые датчане – поехал в Сибирь как бизнесмен. Шальбург мог себя считать дворянином: семейство Шальбургов знает своих предков с 13 века. Тогда они были немцы, а в 18 веке одна ветвь фон Шальбургов переселилась в Данию. В России он женился на дворянке Елене Старицкой – из известного старинного рода.

Таким образом, Кристиан Шальбург – наполювину русский, что и объясняет некоторые черты его личности, нехарактерные для датской ментальности. Дома у Шальбургов говорили по-русски, так что родной язык Кристиана – русский.

О жизни этой семьи в России, о переезде в Царское Село и затем в Петроград – автор книги имеет мало сведений. Сообщения самого Шальбурга – в его автобиографии при поступлении в СС – довольно расплывчаты и иногда противоречивы, а то и вовсе не подтверждаются другими документами. Можно сказать одно: Кристиан Шальбург, уехавший из России в 11 лет, воспринимал свою – и своей семьи – жизнь в России как «потерянный рай». Вспомним, что таково было и отношение к дореволюционной России Владимира Набокова, при всей разнице этих фигур. Разница между ними еще и в том, что отца Набокова убили в 1922 г. люди, идеологию которых исповедовал Шальбург.

Ибо Шальбург, мальчишкой приехавший на родину отца, стал монархистом в самом крайнем варианте. В годы отрочества у него сформировалось убеждение, что в царской России все было идеально: народ любил своего царя, народ шел за царем, Россия была раем, но в этом раю был свой Змей... В 11 лет Шальбургу один из его кузенов дал почитать «Протоколы Сионских мудрецов». С тех пор он понял, что все зло – в евреях. Как полагал впоследствии Шальбург, евреи – виновники обеих мировых войн. Как отмечает М. Киркебек, Шальбург часто употреблял термин «жидо-большевизм».

Поэтому утверждение Константина Залесского (в книге: Константин Залесский. Командиры национальных формирований СС. Москва: АСТ-Астрель, 2007, с.92), что «против большевиков Шальбург боролся всю свою жизнь», не совсем точно: Шальбург, по его словам, боролся с евреями, а большевики были лишь одной из ипостасей международного еврейства. Так что тут евреи на первом плане, а большевики – на втором. Даже в письмах жене с восточного фронта он писал, что идет воевать с евреями.

Вообще Шальбург интеллектом не блистал. По сравнению с ним другой бывший монархист и выходец из России Альфред Розенберг – прямо-таки, как говорил Остап Бендер, «гигант мысли». Впрочем, Розенберга Шальбург недолюбливал: он называл его – чисто по-марксистски – «мелким буржуа». Это потому, что Шальбург считал себя дворянином и потомком Рюрика, а кто такой Розенберг? Сын сапожника (или купца).

Однако вернемся назад – к молодости Кристиана Шальбурга. Еще в России ему покровительствовала особа из царской семьи. Речь идет о сестре Николая II вел. княгине Ольге. По-видимому, это покровительство возникло через мать Кристиана Шальбурга – Елену Старицкую. И вот после революции 1917 г. в Дании оказались и вдовствующая императрица Мария Федоровна, и ее дочь вел. кн. Ольга, и семейство Шальбургов. В 1924 г. Кристиан Шальбург решил креститься в православие, и вел.кн. Ольга была его крестной матерью (она же была крестной матерью его сестры Веры и его сына Александра, родившегося в 1934 г.). В русской православной церкви в Копенгагене он зарегистрирован как Константин Феодорович Шальбург. Интересно, что его товарищи и по партии, и по гвардии считали его более русским, чем датчанином. Шальбург имел некоторые связи и с датским королевским двором.

В 1925 г. Шальбург решил посвятить себя военной карьере. Это он объяснял тем, что он хочет бороться с коммунизмом. В 1930 г. он записал в своем дневнике: «Мы считаем, что вера в

Бога, верность царю и любовь к Родине – единственное, что спасет нашу страну... Мы все виноваты в том, что царь был убит. Мы искупим свою вину, положив свои жизни за Родину. Мы просим Господа простить нас за ту кровь, которую мы прольем, и мы молим его о победе креста над Антихристом».

С 1925 года начинается служба Шальбурга в королевской гвардии. Он числился в ней до самой своей гибели под Демянском (Новгородская обл.) в 1942 г.

В 1929 г. Шальбург женится на дворянке Хельге фон Бюлов – она была полудатчанка-полунемка. Дома они теперь говорили по-датски. Венчание состоялось в той же русской церкви, где Шальбург крестился. Вообще, автор книги считает, что Шальбург был глубоко верующим человеком, притом до конца своих дней. Жене Шальбург сказал, что борьба за освобождение России для него превыше всего, и что она должна смириться с этим.

В том же 1929 г. Шальбург становится офицером. Во второй половине 1930-х годов он возглавил молодежное движение Датской национал-социалистической рабочей партии. Автор – на основании многочисленных свидетельств – отмечает, что датская нацистская молодежь любила его. Вечерами, у костра, он рассказывал подросткам о России, о большевиках, о евреях... Некоторые воспитанники Шальбурга еще живы, и они до сих пор боготворят своего наставника. М. Киркебек считает – на основании собранных им свидетельств, – что Шальбург был харизматической личностью.

В 1938 г. Шальбург вступил и в эмигрантскую организацию – с центром в Германии, под контролем гестапо – «Российское Национальное и Социальное Движение». Но эмигрантские организации его мало интересовали. Он жадно ждал военных действий. И дождался: в конце 1939 г. СССР напал на Финляндию. Из Европы добровольцы ехали в Финляндию – помогать финнам. Шальбург оказался в Финляндии с некоторым опозданием: вскоре после его приезда было заключено советско-финское перемирие. В Финляндии Шальбург обучал датских добровольцев, среди которых было много лейб-гвардейцев, и далеко не все были национал-социалистами, а некоторые потом участвовали в Движении сопротивления в Дании. Здесь, в Финляндии, его настигла весть о том, что немцы оккупировали Данию. Он был очень возмущен тем, что датская армия практически не оказала сопротивления немцам. Шальбург считал это национальным позором. Каким образом это совмещалось с его нацистскими взглядами и с тем, что в сентябре того же 1940 года он вступил в СС и стал носить немецкую форму? Казалось, он должен был приветствовать немецкую оккупацию. Но в тот момент он прежде всего считал себя датским патриотом и готов был – по его собственным словам – воевать с немцами. С другой стороны, Германия, считал он, была единственной страной-оплотом борьбы с коммунизмом.

С осени 1940 г. Шальбург связывает себя с СС – сначала дивизия «Викинг», которая – с 22 июня 1941 г. – действовала на Украине. Здесь Шальбург храбро воевал и получил два Железных креста – сначала второй, а затем первой степени. Приехав в отпуск в Данию, Шальбург обнаружил, что люди на улицах плюются, когда видят датчан в форме СС. Это его поразило. К тому же многие друзья от него отвернулись, а дети вел. кн. Ольги – Гурий и Тихон – не поддались настойчивым уговорам Шальбурга служить в дивизии «Викинг». (Правда, ни вел. кн. Ольга, ни ее дети не осуждали Шальбурга за службу в СС.)

Затем немцами был сформирован добровольческий корпус «Дания», брошенный на подкрепление своих, окруженных в Демянском котле, войск. Там Кристиан Шальбург и погиб 2 июня 1942 г. в чине штурмбаннфюрера СС. Руководитель СС Гимлер – который знал Шальбурга лично – присвоил ему посмертно – и задним числом с 1 июня – звание оберштурмбаннфюрера.

Книга М. Киркебека написана на основании датских и немецких архивов, в том числе и архива семьи Шальбургов, а также многочисленных бесед автора с участниками событий. После выхода в свет книга получила в Дании хорошие отзывы в прессе и радио и долго числилась в списке бестселлеров как номер один. Одна из моих знакомых датчанок, прочитав книгу, сказала: «Книга – хорошая, но сам Шальбург – какой-то противный».

Другого мнения участники Движения сопротивления, лично знавшие Шальбурга (их высказывания приведены в книге): все они – разумеется, не разделяя взглядов и поступков Шальбурга, – подчеркивают, что он был человек привлекательный и хороший офицер.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Лариса ЩИГОЛЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШУТОЧКИ

* * *

Поэзия – она такая вещь:
В живую плоть вгрызается, как клещ,
Пугает, ноет, чешется, болит –
И уповай, чтоб не энцефалит.

А не шныряй в пленительном лесу,
Не ковыряй в сомнительном носу,
Не посягай на тёмный смысл вещей,
А помогай охоте на клещей.

С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ – ГЕКЗАМЕТР

Пuls, непрерывно стучащий в виски, – это только гекзаметр,
Тот, кто сумеет расслышать гекзаметр, – возможно, поэт.
Боги довольно легко принимают дипломный экзамен,
Ибо работы по этой специальности в принципе нет.

Жизнь – это, видимо, некое время и место, откуда
В тщетный за мёртвой возлюбленной можно отправиться путь.
Амфоры с их персонажами стройными – просто посуда,
Функции коей бездарно утрачены, – в этом и суть.

ЕЩЁ ГЕКЗАМЕТР

Вдвое и втрое не любит нас осенью Гелиос ярый –
Паки и паки минует претящих его колесница.
Зримы осадки. Опять не пойду в магазин и на почту.
Гнев, о богиня, воспой... ахинея: не в маму, а в сына.

* * *

Александр Сергеич Пу
Провоцировал толпу,
Сообщал, что он угрюм
И для жизни выбрал трюм.

Но толпа порой умней,
Чем ругающийся с ней,

И как только перестал –
Вознесла на пьедестал.

* * *

Ура! И музы здравствуют, и разум!
Вот только жизнь – накрылась медным тазом,
И где уж хрупким дамам приналечь,
Чтобы оттуда что-нибудь извлечь.

...А там, под тазом, тишина и мрак
И пишется как слышится: никак (дурак).

* * *

Быть знаменитым – кака,
Резон – исчадьё мрака.
Сомнительно. Однако
Нет-нет – да и куплюсь.
Красивые стерлядки
Без низменной оглядки
Плывмя-плывут на блядки –
И попадают в шлюз.

* * *

... и надо жить, не клеветца,
Не мясо из борща таща,
Геенны пуще трепеща
Неисторических учений,
Хотя, в отличие от хлыща,
Себе на задницу прыща
И, по возможности, ища
На тот же орган приключений.

* * *

А. Г.

Лауреаты невозможных премий
И члены неизвестных академий
Одолевают, ё-кэ-лэ-мэ-нэ,
Тебе й мене.

Пенклубов и союзов, просто члены
Без мыла лезут, будь они нетленны,
Ведут подкоп под то, на чём стоим, –
А тряся їм!

Журнал же... он, того... не фунт изюму.
Теперь сиди в ночи и думай думу...
Авжеж, колего, збережу нору
І в ній помру.

На спящий город пал ночной туман.
В тумане затаился графоман –
С ножом, удавкой, ядом и обрезом –
Не выходи ни пьяным, ни тверезым,

А то, что сочинилось, уничтожь.
Ото ж.

* * *

А верлибристам Сталин дал приказ:
А верлибристы, зовёт Отчизна вас!
Из сотен тысяч батарей
Похерим дактиль и хорей,
По амфибрахию – огонь! огонь!

ПАМЯТИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

Ехавши в поезде, шляпа упала
Под заунывную песню колёс.
Ветер, о шпалы трепля как попало,
Оную шляпу в безвестность понёс.

Вслед ей махали еловые лапы,
Слали приветствия речка и луг...
Ехавши далее вовсе без шляпы,
Грустною думой задумался вдруг:

Может быть, сельских достигнет окраин,
Где и поймает её попадаья...
Что ли юдоли своей ли хозяин?
Шляпе ли ветреной? Бог ей судья...

* * *

Утро красит нежным цветом,
Человека красит место,
Красят избы пирогами –
И выходит перебор.
Человек же красить место
Не желает в знак протеста,
А желает красить вместо
Табуретку и забор.

ПЕСЕНКА О ГОРОДЕ М.

Любимому городу фюрера посвящается

В далёкий край товарищ почему-то
К итогу жизни кости поволок –
И обнаружил странный для маршрута,
Зато любезный сердцу уголок:

Там в глубине каштановой аллеи
На холмике над Изаром-рекой
Скучает в тесной клетке Лорелея,
И Тютчев стережёт её покой.

Товарищ напрягался, память вспучив
(Фронты фронтами и война войной...),

Но всё-таки допёр, при чём здесь Тютчев
И Лорелея за его спиной:

А на границе – тучи ходят хмуро,
А за границей – край сплошной зимы,
И в том краю живёт Литература,
У коей этот автор взят взаймы,

И может, он не часовой – конвойный,
И за собой ведёт девятый вал
В любимый город, могший спать спокойно,
А он не спал. И прочим не давал.

НОВАЯ СТАРАЯ ПЕСНЯ

Тю-тю Александровск
И Харьков – тю-тю,
Но поезд стоит
На запасном пути,
И чтоб не заржавел
Он там навсегда,
Его бы, пожалуй,
Направить куда.

А так как известно
Доныне и днесь,
Откуда у парня
Имперская спесь,
Пойдём куда надо
И песню споём,
И щит на ворота
Царьграда прибьём.

Куда до Царьграда
Испанской мечте,
И сколько же можно
Лежать на щите?
Не надо, не надо,
Не надо, друзья:
Член НАТО она,
Византия моя.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ С.

Спят медведи и слоны
Из когдатой страны,
Черепашки спят в песках,
Волки-зайчики в лесках.

Спит червяк в сырой земле,
Кочет спит на вертеле –
Только мы с тобой не спим,
Всё кейбордиком скрипим.

Баю-баюшки-баю,
Спать ложись – а то убью!

* * *

Вороне как-то Бог... Припомнили ворону? –
Послал... да нет, не сыр – имперскую корону.
Ворона же, заслушавшись лису,
Да и держа корону на весу...
А дальше всё пошло совсем как в басне –
Но завершилось не в пример опасней.
Мораль... Да что – мораль? Увы, итог:
Не посылай корон воронам, Бог!

* * *

Вороне как-то Бог
Нисколько не помог,
А помогать Лисе
Хотят и могут все.

ЭПИТАФИЯ

А не кури. А не сори.
А не живи по лжи.
Чужое слово? Не бери,
На место положи.

А если взял, так уж держи,
Не отдавай другим.
И свет гаси. И не лежи,
Когда играют гимн.

А если лёг, так уж не встань,
Совсем и никогда –
Не будешь брать чужую дрянь:
Слова и города.

* * *

Поэт в России больше... нет, скорей
Русскоязычьем взысканный еврей.
Поэт в России меньше... нет, скромней,
Чем кровью-почвой связанные с ней.

А потому герой, о коем речь,
Её гражданством вправе пренебречь
(Хоть им порой пожизненно наказан),
Но уж поэтом – дудки! – быть обязан.

Коротко об авторах

Владимир Берязев Поэт, прозаик, эссеист. Родился в г. Прокопьевск в Кузбассе в 1959 году. Закончил Новосибирский институт народного хозяйства и Литературный институт им. Горького в Москве. Сопредседатель Ассоциации писателей Сибири, главный редактор журнала «Сибирские огни». Автор шести книг и множества поэтических и прозаических журнальных публикаций. Живёт в Новосибирске.

Борис Вайль Писатель, известный правозащитник, участник марксистских организаций 1950-х годов и правозащитного движения 1960-70-х годов. Родился в 1939 в Курске. В 1957 г., будучи студентом Ленинградского библиотечного института, был осуждён на шесть лет лишения свободы за «антисоветскую деятельность», в лагере ему добавили ещё два с половиной года. В 1970 г. арестован во второй раз за хранение и распространение самиздата. Был приговорён к 5 годам ссылки, которую отбывал в Западной Сибири. Эмигрировал в 1977 г. в Данию, работал (1978-2001) в Королевской библиотеке. Автор ряда рассказов и эссе, опубликованных в России и за рубежом, а также автобиографической книги «Особо опасный» (Харьков, 2005). Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Живет в Копенгагене.

Леонид Гиршович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, с 1979 г. – в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Букеровской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Наталья Заякина Прозаик, драматург, актриса. Родилась в 1949 году в семье военнослужащего, жила на Дальнем Востоке и в Германии, среднюю школу закончила в Кирове. Высшее образование получила в Училище им. Щукина в Москве. Работала в драмтеатрах Кирова, Нижнего Новгорода (сначала – Горького), шестой сезон работает в московском Ленкоме по приглашению Марка Захарова. Публикации в известных российских газетах и литературных и театральных журналах. Живёт в Москве.

Александр Иличевский Прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1970 в г. Сумгаит, Азербайджан. Окончил Московский физико-технический институт, занимался научной работой в Израиле и Калифорнии. Автор нескольких прозаических и поэтических книг и множества публикаций в российской и зарубежной периодике. Лауреат Букеровской премии за 2007 г., первое место в номинации «Поэзия» литературного конкурса «Дварим» (2005), лауреат премий журнала «Новый мир» (2005), имени Юрия Казакова за лучший рассказ (2005 г.) и IV Международного литературного Волошинского конкурса, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2005 г.) и Бунинской премии 2006 г. – Серебряная медаль за книгу «Бутылка Клейна». Живёт в Москве.

Сергей Луцкий Прозаик, эссеист. Родился в 1945 году в Украине. Окончил Черновицкий индустриальный техникум и Литературный институт им. Горького. Рассказы и повести публиковал в журналах «Юность», «Октябрь», «Роман-газета», «Урал», «Сибирские огни» и др. Автор пяти сборников прозы. Лауреат Всероссийской премии им. Мамина-Сибиряка и премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по литературе. Живет в селе Большетархово под Нижневартовском Тюменской области.

Алексей Макушинский Поэт, прозаик, историк литературы. Родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог, кандидат наук. Автор романа «Макс». Публикуется в русских литературных журналах и многочисленных научных немецких изданиях. Член редколлегии журнала "Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte" и его русской сетевой версии «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры». Сотрудник кафедры Восточноевропейской истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Лариса Миллер Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в 1940 г. в Москве. Окончила в 1962 г. Московский институт иностранных языков. Автор четырнадцати книг стихов и прозы, а также множества журнальных и газетных публикаций. Номинант 1999 года Государственной премии Российской Федерации по литературе и искусству по представлению журнала «Новый мир». Живёт в Москве. С творчеством Ларисы Миллер можно ознакомиться на ее странице в Интернете: <http://www.larisamiller.ru>

Александр Руденко Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1953 г. в Москве. Закончил Литературный институт им. Горького и аспирантуру при этом институте. Автор нескольких книг стихов, прозы и переводов. Пишет по-русски и по-болгарски. Произведения переводились на английский, французский, испанский, немецкий, болгарский и другие языки. При соавторском участии А. Руденко в 1999 г. издана эзотерическая книга его сына – целителя и духовного учителя – Зора Алефа «Ответы непосвященному», ставшая широко известной. Живёт в г. Видин, Болгария.

Елена Травина родилась и живёт в С.-Петербурге. Окончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Восточно-Европейский институт психоанализа. Кандидат философских наук. Автор нескольких книг и ряда научных статей. Публикуется в еженедельнике «Дело» и журнале «Звезда».

Александр Ушаров Прозаик, поэт. Родился в Ташкенте в 1969 году, по окончании десятилетки учился в Сельскохозяйственном институте, работал ювелиром. Срочную службу проходил в рядах Северной группы войск в Польше. В Германии делал репортажи для газеты «Badische Zeitung», работал с трудными подростками в «Diakoniewerk» города Лар. Пишет по-русски и по-немецки. На русском языке публикуется впервые. Живёт в Штутгарте.

Баадур Чхатарашвили Прозаик. Родился в 1952 г. в Тбилиси. По профессии архитектор-строитель, окончил Грузинский политехнический институт и аспирантуру Московского инженерно-строительного института, много лет работал по полученной специальности в самых разных местах Советского Союза. В настоящее время предприниматель, владелец небольшой строительной фирмы. Прозу начал писать недавно, так что публикаций пока немного. Живёт в Тбилиси.

Рафаэль Шустерович Поэт, переводчик. Родился в 1954 году под Москвой. Закончил физический факультет Саратовского университета. Инженер-электронщик. До 1993 г. жил в Саратове, сейчас – в Израиле. Публикации в израильских, российских и международных журналах. Финалист Гумилевского конкурса «Заблудившийся трамвай» 2007 г. Живёт в городе Ришон-ле-Цион.

Лариса Щиголь Поэт. Родилась во время Второй мировой войны в иркутской эвакуации. По образованию финансист, много лет работала по этой специальности. Большую часть жизни прожила в Киеве. С 1997 г. живёт в Германии (Мюнхен). Публикации в журналах «Знамя», «Новый мир», «Нева», «Интерпоэзия», «Сибирские огни» и др. Соредактор журнала «Зарубежные записки».

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: д-р Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 12.02.2009

Адрес: Partner MedienHaus GmbH & Co. KG
Märkische Str. 115
44141 Dortmund, Germany
Тел.: +49 231 952 973 0 (общий)
+49 231 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 123 10 75
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (Partner MedienHaus GmbH & Co. KG, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 231 952 973 16

АНОНС

Читайте в восемнадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Наталии Толстой (Санкт-Петербург),
Нины Горлановой (Пермь),
Людмилы Агеевой (Мюнхен),
Арсения Березина (Санкт-Петербург),
Михаила Письменного (Москва),
Сергея Жадана (Харьков),
Баадура Чхартарашвили (Тбилиси),
Каринэ Арутюновой (Тель-Авив),
Владимира Шубина (Мюнхен)

Стихи

Ники Батхен (Москва),
Андрея Грицмана (Нью-Йорк),
Павла Лукаша (Бат-Ям, Израиль),
Аркадия Кайданова (Валенсия, Испания)

Публицистику и эссеистику

Самуила Лурье (Санкт-Петербург),
Ильи Фаликова (Москва),
Леонида Гиршовича (Ганновер),
Елены Скульской (Таллинн),
Александра Мелихова (Санкт-Петербург),
Елены Краснухиной (Санкт-Петербург)

